

ВСЕРОССИЙСКАЯ МЕМУАРНАЯ БИБЛИОТЕКА



**ПОЖИВШИ  
В ГУЛАГЕ**



## Annotation

Авторы сборника — люди, прошедшие через ГУЛАГ. Через тюрьмы, допросы, издевательства, карцеры и камеры смерти, этапы и лагеря. Они работали на лесоповале и в рудниках, голодали, болели, теряли товарищей. Но в нечеловеческих условиях, при любых обстоятельствах — будь то стычки с лагерным начальством или конфликты между политическими и уголовниками — они умели отстоять свое достоинство.

Составитель: Александр Солженицын.

---

- [Поживши в ГУЛАГе](#)

- [В. М. Лазарев](#)

- [Глава 1](#)
    - [Глава 2](#)
    - [Глава 3](#)
    - [Глава 4](#)
    - [Глава 5](#)
    - [Глава 6](#)
    - [Глава 7](#)
    - [Глава 8](#)
    - [Глава 9](#)
    - [Глава 10](#)
    - [Глава 11](#)
    - [Глава 12](#)
    - [Глава 13](#)
    - [Глава 14](#)
    - [Глава 15](#)
    - [Глава 16](#)

- [Н. Н. Болдырев](#)

- [Глава 1](#)
    - [Глава 2](#)

- [Глава 3](#)
- [Глава 4](#)
- [Глава 5](#)
- [Глава 6](#)
- [Глава 7](#)
- [Глава 8](#)
- [Глава 9](#)
- [Глава 10](#)
- [Глава 11](#)
- [Глава 12](#)
- [Глава 13](#)
- [Глава 14](#)
- [Глава 15](#)
- [Глава 16](#)
- [Глава 17](#)
- [Н. М. Игнатов](#)
  - [Глава 1](#)
  - [Глава 2](#)
  - [Глава 3](#)
  - [Глава 4](#)
  - [Глава 5](#)
  - [Глава 6](#)
  - [Глава 7](#)
  - [Глава 8](#)
- [А. П. Буцковский](#)
  - [Глава 1](#)
  - [Глава 2](#)
  - [Глава 3](#)
  - [Глава 4](#)
  - [Глава 5](#)
  - [Глава 6](#)
  - [Глава 7](#)
  - [Глава 8](#)
  - [Глава 9](#)
  - [Глава 10](#)
  - [Глава 11](#)

- [Глава 12](#)
- [Н. Р. Копылов](#)
  - [Глава 1](#)
  - [Глава 2](#)
  - [Глава 3](#)
  - [Глава 4](#)
  - [Глава 5](#)
  - [Глава 6](#)
  - [Глава 7](#)
  - [Глава 8](#)
  - [Глава 9](#)
  - [Глава 10](#)
  - [Глава 11](#)
- [В. В. Горшков](#)
  - [Глава 1](#)
  - [Глава 2](#)
  - [Глава 3](#)
  - [Глава 4](#)
  - [Глава 5](#)
  - [Глава 6](#)
  - [Глава 7](#)
  - [Глава 8](#)
  - [Глава 9](#)
  - [Глава 10](#)
  - [Глава 11](#)
  - [Глава 12](#)
  - [Глава 13](#)
  - [Глава 14](#)
  - [Глава 15](#)
  - [Глава 16](#)
- [А. Е. Кропочкин](#)
  - [Глава 1](#)
  - [Глава 2](#)
  - [Глава 3](#)

- [Глава 4](#)
  - [Глава 5](#)
  - [Глава 6](#)
  - [Глава 7](#)
  - [Список сокращений](#)
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)
  - [7](#)
  - [8](#)
  - [9](#)
  - [10](#)
  - [11](#)
  - [12](#)
  - [13](#)
  - [14](#)
  - [15](#)
  - [16](#)
  - [17](#)
  - [18](#)
  - [19](#)
  - [20](#)
  - [21](#)
  - [22](#)
  - [23](#)
  - [24](#)
  - [25](#)
  - [26](#)
  - [27](#)
  - [28](#)
  - [29](#)
  - [30](#)

- [31](#)



# **Поживши в ГУЛАГе**

## **Сборник воспоминаний**

**В. М. Лазарев**

## **1937 год глазами очевидца**

*Сейчас, когда я пишу свои воспоминания, мне исполнилось шестьдесят лет, из которых десять я прожил на Колыме.*

*Тогда, в наиболее тяжелые дни и годы, проведенные в ледяных концлагерях на краю света, часто думалось: только бы дожить, рассказать людям правду о том, что было. Не может быть, чтобы люди, узнав эту страшную правду, заглянув за лживый фасад «счастливой и радостной жизни», не пришли в ужас, не поняли, что так жить дальше нельзя, что нужна очистительная гроза, которая бы смыла эту грязь с России, оправдала невинных и разметала партвельмож и их пособников — палачей народа.*



## **Глава 1**

### **Увольнение**

В этой квартире мы поселились полгода назад, когда я приехал сюда, в Ступино, и поступил на работу в отдел главного механика строившегося крупного авиационного завода — Комбината 150.

Осенью 1936 года меня неожиданно вызвали в отдел кадров Каширской ГЭС, где я в то время работал, и предложили уволиться. Заместитель директора тов. Орлов сказал, что меня могут уволить с формулировкой «по собственному желанию» или «по сокращению штатов» — как я хочу. Я выбрал последнее, так как в этом случае полагалось выходное пособие, а никаких сбережений у нас с женой не было, и мы с трудом тянули от получки до получки. За два года до этого я женился, и у нас с Женей была уже пухлая и здоровая дочка Лидочка, которая только-только начала ходить и болтать. В обеих я не чаял души. Мне тогда исполнилось двадцать девять лет, я был полон сил, и трудности жизни того периода сносились легко. Я жил с уверенностью, что дальше станет лучше. Женя была на два года моложе меня; когда мы познакомились, она работала копировщицей, а потом секретаршей бюро ИТР при завкоме. Она считалась одной из первых красавиц в Кашире; у нее было много поклонников, а местные хозяйки не слишком лестно отзывались о ее поведении.

Я был тогда совершенно неопытен в обращении с женщинами, боялся их, и красавиц в особенности. Но судьба, видно, толкала нас в то время друг к другу. Мы каждый день виделись на работе, иногда по одной дорожке шли домой.

Когда она на меня обращала внимание, все во мне ликовало и я становился немного хмельной от радости. Вскоре мы поженились. Однако рука судьбы уже переводила стрелки, и наши пути разошлись на многие годы.

Почему после Каширской ГЭС я поступил на авиационный завод? При увольнении мне прямо не сказали, но дали понять, что я попал в разряд «неблагонадежных». Между тем никакой конкретной вины я за собой не знал и, чтобы проверить, действительно ли меня внесли в «черный список», я решил поступить на военный завод — кстати, он был на двадцать километров ближе к Москве.

Там меня приняли сразу, без разговоров. Правда, начальник отдела кадров Каширской ГЭС мне советовал уехать в какую-нибудь другую область; но я в то время не понял значительности этого совета, да и на дальние поездки в поисках работы не было денег. На Каширской ГЭС ко мне, вообще, относились хорошо, и все жалели о моем увольнении, однако, видимо, был нажим извне. Директор ГЭС М. Г. Первухин дал машину для вещей, и мы переехали в Ступино.

Завод строился огромный, директором был племянник Серго Орджоникидзе — Вазирян.

## Глава 2

### Арест

Субботний вечер. Попьем чаю — и спать, а завтра собираемся пойти в лес, за цветами. Стол накрыт к чаю, весело поблескивает новый электрочайник — в то время чуть ли не предмет роскоши.

Стук в дверь. Входят двое незнакомых мужчин и один сосед:

— Здравствуйте! Разрешите проверить документы!

Подаю паспорт.

— Фамилия? Имя? Отчество?

— Ознакомьтесь!

Высокий протягивает какую-то бумажку, на которой крупно напечатано сверху: «Ордер на обыск и арест». Остального текста не различаю.

Высокий направляется к этажерке с книгами. Я сажусь около стола и довольно некстати предлагаю остальным:

— Не хотите ли чаю? Садитесь.

Те отказываются. Сосед не знает, куда девать глаза и руки, — ему эта роль явно не по душе, и он притащен сюда насилу. Лицо второго ничего не выражает — ему не впервой.

Жена стоит около стола с ребенком на руках и растерянно улыбается.

Обыск, как видно, только формальность: слегка порывшись в этажерке, высокий забирает с собой две книги — Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир» и А. О. Авдеенко «Я люблю».

— Одевайтесь!

Накидываю легкое серое демисезонное пальто, наскоро обнимаю Женю и целую сонную Лидочку.

— Ты надолго?

— Не знаю, возможно, месяца на три.

— До свидания!

— До свидания!

Темно. Сажусь в кузов бортовой машины — поехали! На минуту мелькает мысль: «А может быть, прыгнуть по дороге и удрать? Но куда?»

Страну в то время все больше затягивала черная паутина НКВД. После охоты на «бывших» взялись за раскулачивание крестьян, потом за оппозиционеров и всех сомневающихся в гениальности «вождя», потом за инженеров — недавно прошел Шахтинский процесс, и слово «инженер» все еще звучало как «вредитель».

Много инженеров, особенно крупных, забирали и сейчас; среди них были и такие, с которыми мне приходилось встречаться и вместе работать.

Заместителем директора по капитальному строительству у нас работал А. С. Голубцов. Выходец из рабочей семьи, он окончил рабфак, стал инженером и все силы отдавал строительству электростанции.

Незадолго перед этим он вернулся из Германии, куда был командирован по вопросам поставки турбин для нас. Не был дома больше года. Жена ему приготовила по приезду самовар, а он, не дожидаясь чаю, вечером примчался на ТЭЦ — соскучился по Кашире. Я еще был в машинном зале — он поздоровался, спросил, как идут дела, и на мою воркотню насчет каких-то неполадков похлопал меня по плечу и сказал: «Это пустяки; молодцы, вы так много сделали, — я не ожидал!»

А ночью его забрали. Через несколько месяцев он все же был выпущен, и его выслали строить Березниковскую ТЭЦ — на Северном Урале. По тем временам эта ТЭЦ считалась высокого давления (60 атмосфер), и строительство ее было связано с большими трудностями. Там он и погиб впоследствии.

Были случаи, когда некоторых людей после двух-трех месяцев ареста отпускали, — вот откуда у меня вырвалось: «Месяца на три».

То, что произошло со мной, поначалу меня не очень волновало; я даже подумал: «Ну и черт с ними, пусть проверят, разберутся, и после этого я буду очищенный — без подозрений».

По глупости своей я тогда еще верил, что НКВД занимается серьезными делами и государственными преступниками, и мне было даже как-то неловко, что вот из-за такой мелкой личности, как я, люди отрываются от больших дел и напрасно теряют время.

Около полуночи меня привезли в Каширскую тюрьму и сдали с рук на руки начальнику охраны. Обыск, коридор, закрытый железной дверью, еще железные двери — отвратительно лязгали ключи в замках.

Разум не может смириться с тем, что человек держит себе подобных в железных клетках, — это противостоит природе.

На стене тюремной канцелярии висит портрет Сталина — «Утро нашей Родины». Как во всяком учреждении — Государственный герб с лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Действительно...

## Глава 3

### Соседи по тюрьме

В камере нас шестеро. В узком проходе между кроватями, как затравленные волки, взад и вперед бегают два вора — *уркаганы* (по-блатному); они оживленно обсуждают, почему и как «погорели» и кто «продал». Разговор идет на блатном языке, звучат непонятные слова — «фараоны», «шкеры», «кожа», «сметана», «фраер» и т. п.

Около двери справа — койка рыжего высокого парня. Он — кузнец какой-то мелкой мастерской в Кашире; жил по какой-то случайности в домике, рядом с которым стоял дом начальника райотдела НКВД.

На почве соседских стычек по ведению хозяйства — то куры заберутся в соседский огород, то свинья разломает палисадник и выроет картофель, то белье упало — между их женами происходили иногда стычки. Кроме того, обе не могли поделить сад, который лежал между их домиками. В результате Вася угодил в тюрьму как «троцкист».

Следующую койку занимал мрачного вида пожилой поляк П-ский, с нездоровым видом одутловатого лица. Он был начальником почты в нашем поселке ГЭС, который назывался «город Каганович». Его родители жили где-то под Варшавой, в Польше. Он был призван на службу во время германской войны 1914–1918 годов и, когда в результате войны и революции Польша стала самостоятельным государством, оказался в России, т. е. «за границей». Вся его вина заключалась в том, что, тоскуя по родине, он начал наводить в Москве справки, на каких условиях он мог бы, хотя бы временно, съездить домой и навестить умирающую мать. В результате в Польшу он не попал, а попал в тюрьму —

по обвинению в «связи с заграницей» (статья 58, пункт 4, которая ничего хорошего ему не сулила).

Воры занимают «лучшие места» — у окна. Мне, как последнему прибывшему в камеру, досталось худшее место — около двери.

Рядом со мной располагался молодой, очень нервный парень.

Его история довольно необычна: он работал журналистом, кажется, в Голутвине или Озерах, недавно женился, был молод, горяч и полон сил, в голове у него все время возникали разные идеи. Он решил стать писателем и выбрал для своего романа тему, по которой его герой должен был попасть в тюрьму. А для того чтобы узнать нравы и порядки в наших тюрьмах (об этом ведь нигде ничего не писалось), он стал добиваться у властей разрешения посетить тюрьму и побеседовать с заключенными (Лев Николаевич Толстой, когда писал «Воскресение», так делал). Власти, конечно, выгнали его за дверь, но взяли под подозрение. Тогда он решил попасть в тюрьму «временно» на законном основании. Для этого он приехал в Москву и в чайной около Зацепского рынка начал громкие разговоры о своих «блатных похождениях», надеясь завязать знакомство с жуликами. Однако те сразу же его раскусили, и никаких знакомств он завести не смог. Тогда, уже к вечеру, он начинает говорить, что только что приехал из-за границы и не знает, где остановиться. Ну, тут, конечно, нашлись «бдительные», и он попал в Каширскую тюрьму, так как, не имея места, где заночевать, сел в ночной поезд на Каширу, где его и сняли. Первый день ему было интересно, на второй он возмущался порядками, на третий — требовал прокурора, но все было напрасно. Следователь ему заявил: «Знаем-знаем, мы за вами давно следили».

Дома он оставил запечатанное письмо — на всякий случай, если задержится, — чтобы жена его отнесла прокурору: там он объяснял мотивы своего желания узнать тюремные порядки. Однако это ему не помогло. Тройка НКВД дала ему 5 лет по статье «СОЭ» — что значит «социально опасный элемент». Так что материала — и самого сенсационного — он мог собрать вволю, а вот написал ли что-нибудь? Вряд ли...

Надо было видеть, как убивалась и плакала его жена, когда его отправляли по этапу!

Все эти истории я узнал, конечно, после. Этой же ночью меня вызвали на первый допрос.

Лязг замка. Толкают в плечо: «Лазарев? Одевайтесь!»

Конвоир ведет по длинному коридору, потом наверх.



## Глава 4

### На допросах

Допросы, как правило, проводились по ночам. Человеку давали заснуть, потом через час-два его будили и, не давая опомниться, вели на допрос.

О чем же пытались дознаться работники «славных органов»?

— С кем были знакомы? Когда, где встречались? О чем говорили? — Речь шла, как правило, о тех, с кем приходилось сталкиваться по работе.

— Знали ли вы такого-то инженера?

— Да, знал по работе.

— Что он вам говорил о своей контрреволюционной деятельности?

— Я не замечал за ним никакой такой деятельности!

— Значит, по-вашему, органы арестовывают невинных людей?

— Я этого не знаю.

— Подпишите, что вы считаете, что НКВД обвинил гражданина N напрасно. Мы хотим, чтобы вы помогли следствию. Сознайтесь в вашей контрреволюционной деятельности, вам будет легче!

Один раз меня вызвали днем, провели по улице в здание районного НКВД.

Лето. На столе у следователя цветы. Во время допроса он непрерывно снимает трубку телефона, говорит с женой, условливается с приятелями о рыбалке, купанье, танцах. Заказывает билеты в театр и т. д. Вся эта игра имеет целью заставить меня «выдать сообщников» — то есть написать донос или оговорить невинных людей. За это обещается ряд льгот: переписка, свидания, передачи и т. п. Однако для меня

это слишком дешевая постановка, и я быстро ее разгадываю.

Многие же клевали на эту наживку и помогали НКВД «выполнять план».

А план был. Было и соревнование. Если в одном районе «брали» за неделю сто человек, а в другом только пятьдесят, считалось, что последний район — отстающий, а начальник райотдела НКВД «потерял бдительность», что, в свою очередь, грозило расправой. «Великий мудрый вождь» в одной из своих «теоретических» статей указал, что среди крестьян примерно 7 % — подкулачники и люди, сопротивляющиеся строительству социализма. Эти семь процентов нужно было представить — иначе ставилась под сомнение, подрывалась теория «мудрейшего отца», что, конечно, не допускалось. В «дичи» недостатка не было. Кроме недовольных порядками или подозреваемых в инакомыслии хватали родственников, знакомых и сослуживцев ранее арестованных людей, хватали за ссору с евреем — за «антисемитизм», хватали и самих евреев — за «троцкизм», за «связь с заграницей». Один из пунктов статьи 58 гласил: «Знал, но не донес». Под этот пункт можно было подвести кого угодно — мужа соседки, приглянувшейся следователю или, наоборот, поругавшейся с его женой, — любого, кому захотелось отомстить или просто напакостить ближнему, и т. д.

НКВД везде имел своих осведомителей, *сексотов* (секретных сотрудников). Если от них не поступало доносов, считалось, что данный сексот скрывает, способствует и т. д., и его постигала печальная участь жертвы. Возникала своеобразная цепная реакция — чем дальше, тем больше.

«Мудрейший из мудрейших», кстати, выдвинул теорию, по которой чем большие победы одерживал социализм, тем яростнее становилось сопротивление

умирающего мира и тем больше оказывалось внешних и внутренних врагов. Несмотря на вопиющую глупость и нелогичность такой теории, никто, конечно, в ней не смел усомниться. В каждой парторганизации были официальные осведомители, для которых шпионаж и доносы на своих товарищей по работе являлись официальным партийным поручением.

Методы допросов были разными. После нескольких сеансов «предварительного прощупывания», не добившись от меня желаемых результатов, перешли на круглосуточный допрос. Этот способ называли «конвейером», и суть его была в том, чтобы не давать человеку заснуть. Следователи, конечно, менялись. За сутки мне дали вздремнуть только два раза по полтора часа, остальное время я сидел за столом против следователя, под слепящим светом яркой лампы.

Когда глаза начинали слипаться и голова падала на стол, слышался окрик: «Встать! Что вы, спать сюда пришли?!» и т. п. На столе у следователя лежала свернутая в трубку газета. Если сразу ты не мог вскочить, он стучал этой трубкой по голове или по чему попало. В трубке с газетой был завернут какой-то железный предмет, и от такого удара ты или приходил в себя, или без памяти валился на пол. К концу вторых суток я уже ничего не соображал, голова шла кругом, хотелось только спать. Когда после очередного получасового перерыва (водили в умывальник и уборную) меня опять привели к следователю, я без разговоров снял пиджак, расстелил его на полу и повалился на него под вопли сначала опешивших следователя и майора — какого-то чина из НКВД:

— Вы что? Органов не уважаете?! Встать!

Уже засыпая, слышу:

— Ну, все! Надо с ним кончать! Убрать!

Как меня волокли в камеру, я уже не помню — тут я сразу провалился в сон.

Двое суток меня не трогали и не вызывали. Ночной вызов на третьи сутки выглядел как-то необычно. Кроме конвоира явился еще один энкавэдэшник. Заглядывая в какую-то бумагу, проверяет:

— Фамилия? Имя? Отчество? Год рождения?

Не давая одеться, выводят в коридор:

— Следуйте вперед! Не оборачиваться!

Против обыкновения, ведут не в коридор, где расположены комнаты следователей, а вниз, в полуподвал. Из разговоров в камере слышал, что направо расположены карцеры — каменные мешки без света и отопления, а налево — водят расстреливать.

Идущий впереди сворачивает... влево! Еще несколько шагов — останавливаемся около обитой железом серой двери.

Один холуй останавливается справа от двери, второй остается сзади. Раздается команда:

— Следуйте вперед, не оглядываться!

Дверь распаивается. За ней — длинная узкая комната вроде коридора: четыре шага в ширину, шагов двадцать в длину. Залита ослепительным светом. Четыре стены, цементный пол, в противоположном конце — дверь. Окон нет. Две ступеньки вниз. Ослепленный светом после полутемного коридора, останавливаюсь. Сзади резко кричат:

— Вперед, не оглядываться!

В голове вдруг становится необычайно светло и ясно.

Тело напряжено, шаг твердый и уверенный.

Наверное, стрелять будут, когда я дойду до середины. Думается: ну и черт с ними, надоело! Однако коридор кажется бесконечно длинным. Десяток шагов до середины кажутся большой длинной дорогой. Чем ближе к противоположной двери, тем идти труднее. Что же вы тянете, сволочи?! Ноги начинают заплетаться; к

двери подхожу из последних сил и с бешено стучащим сердцем. Поднимаюсь на две ступеньки...

Дверь распахивается:

— Проходите!

Опять полутемный коридор, поворот направо, по лестнице вверх, — и вот я в комнате следователя. Дрожат колени, одышка, язык не ворочается.

— В каком виде вы являетесь?! Почему не одет? Убрать!

Ведут обратно в камеру, надеваю штаны, пиджак и предстаю пред светлые очи представителя «славных органов».

Представление окончено. Опять знакомые слова:

— Расскажите подробнее о ваших связях с врагами народа.

Однако мне не до рассказов. Режиссеры хоть и бездарны, но постановка произвела на меня сильное впечатление. Мне ведь было тогда двадцать девять лет, и я только два года как женился.

## Глава 5

### Разговоры арестантов

На время меня оставили в покое. Медленно тянутся бесконечные, похожие один на другой дни.

Ни книг, ни писем, ни свиданий не разрешается. Конец июня. В камере страшная духота. В окошко виден кусок тюремного каменного забора; при попытке с помощью товарищей подняться и заглянуть в окно — стреляют.

Впрочем, и это зрелище было вскоре признано Москвой недопустимым, и на всех тюремных окошках по всей России срочно надстроили «кормушки» из кровельного железа. Свет в «кормушку» проникал только сверху, через узкую щель. Говорят, в проклятое царское время к заключенным на окна прилетали голуби, которых они кормили. С таким «пережитком», конечно, нужно было бороться. Кровельного железа в стране не хватало, крыши у всех текли, а в каширской школе над партами подвешивались куски фанеры — иначе во время дождя тетрадки заливало. Это называлось «трудности роста».

Не могу вспомнить, о чем говорили в камерах. Во всяком случае, серьезных разговоров не было. Рассказывались анекдоты, очень подробно толковались сны. Считалось, увидеть во сне церковь — к освобождению. Каждый старался, чтоб она ему приснилась, но никому почему-то не выпадало счастье.

Уркаганы хвастливо рассказывали о своих успехах и делах «на воле». С удивлением я впервые услышал похвалу: «Хороший вор». Так звали тех, кто не мелочился и не попадался — будь то *карманник*, *домушник*, *скачок*, *майданщик*, *фармазонщик* и т. д. Зато с презрением отзывались об *авосьниках* (тащили

авоськи с продуктами), *сосочниках* (эти грабили детей) и т. п.

Большинство рассказов сильно приукрашивалось, и рассчитаны они были на то, чтобы «произвести впечатление». Позже я узнал, что настоящие, крупные уголовники по большей части неразговорчивы и уж почти никогда не говорят о себе. В камере, особенно к новеньким, стали подсаживать *наседок*. Это были провокаторы, главным образом тоже из заключенных, но иногда и с воли. Они пытались заводить разговоры на политические темы, иногда передавали приветы от знакомых и незнакомых людей, предлагали способы пересылать весточку на волю и т. п. Я их почему-то узнавал с первого взгляда и сначала держался подальше, а когда они очень приставали, переводил разговор на женщин и, таким образом, казался «несерьезным».

Из камеры нас выводили только к следователю (поодиночке) или в уборную (всей камерой). В уборной иногда можно было узнать какие-нибудь новости: обнаружить клочок газеты, обрывок бумаги, надпись на стене, услышать какую-нибудь фамилию. При полном отсутствии сведений с воли эта информация казалась очень важной и позволяла строить много предположений.

## **Глава 6**

### **Прощай, Москва!**

К следователю вызвали меня еще два раза. Первый раз он дал подписать протокол допроса и сообщил, что следствие закончилось (для этого должно пройти определенное время — не меньше двух-трех месяцев — и исписаться определенное количество листков «допросов», хотя бы в них и была явная пустота). Это дает основание считать следствие проведенным «на уровне». К тому времени мы с ним уже достаточно познакомились и иногда разговаривали на посторонние темы: вот прошел град, побило окна на заводе, вышли из строя линии электропередачи... Я иногда рассказывал что-нибудь из истории техники, чем следователь почему-то интересовался. В такой беседе проходили положенные два-три часа, на протоколе ставились пометки: «Допрос начат в ... час. ... мин., закончен в ... час. ... мин.». Оба оставались довольны друг другом.

Второй раз следователь вызвал меня в начале августа, вынул из папки и положил передо мной узкую полоску бумаги — вырезку из какого-то большого протокола. Читаю: «По решению Особого совещания при НКВД СССР по Московской области гр. Лазарева Вл. Мих., 1907 г. рождения, за контрреволюционную пропаганду приговорить к 5 годам лишения свободы в Исправительно-трудовых лагерях, с зачетом срока предварительного заключения».

Смысл всего этого как-то до меня не доходит. Никакого суда, никаких речей, никаких обвинений и — никаких оправданий.

Просто несколько строчек машинописного текста, напечатанного под копирку.



— Распишитесь на обороте!

— Не буду!

— Но ведь вы расписываетесь только за то, что вам объявлено постановление!

— Все равно не буду!

Еще несколько минут торговли, потом бумажка убирается в «дело».

— Идите!

Через несколько дней нас, получивших срок, с вещами выводят во двор, выстраивают по пятеркам во дворе тюрьмы. Перекличка, проверка, подсчет. Конвой предупреждает:

— Не останавливаться, не разговаривать! Шаг вправо, шаг влево — считается за побег! Стреляем без предупреждения! Пошли!

Пошли. Редкие прохожие жмутся к заборам, скрываются в калитках. На них кричат:

— Проходить! Не останавливаться!

Всхлипывают какие-то незнакомые женщины — видимо, их родных уже угнали раньше.

Подходим к вокзалу, и нашу группу останавливают на маленькой площадке, справа от вокзала. За деревянным забором идут пассажиры с прибывшего поезда, наши, с ГЭС, вопросительно смотрят в нашу сторону. Замечаю знакомого Васю — поднимаю руку с пятью растопыренными пальцами. Понял. Кивает. Передаст.

Подходит вагон, нас грузят в него по списку. На окнах — решетки, на площадках конвой. Начальнику конвоя понравился мой бумажник — кожаный. Кладет к себе в карман:

— Не положено!

Впрочем, в бумажнике ничего нет. Весь мой капитал — что-то около двух рублей — рассован по карманам.

Гудок. Поехали. На Павелецком вокзале к вагону подают «черный ворон». Грузимся, двери закрывают —

темно, душно. Автобус несется через Москву.

Может быть, раскочаить машину, опрокинуться и — кто куда? Где-то на задворках Казанского вокзала нас грузят в столыпинский вагон. Интересно все-таки: якобы злейший реакционер Столыпин, а его изобретение пережило и его самого, и царя и благополучно вросло в социализм. Неисповедимы пути Твои, о Господи! Вагон довольно долго толкают по путям и наконец прицепляют к какому-то поезду. В узкое зарешеченное окошко иногда видно пробегающих пассажиров, провожающих, носильщиков. Обычная суета.

Гудок. Тронулись. Последнее, что я вижу в окно, — красные пламенеющие канны на клумбе перед вокзалом.

Прощай, Москва!

Увидеть ее вновь мне будет суждено только через десять лет — но каких лет!

Только теперь я вдруг понял, что произошло со мною. Проживут ли без меня Женя и Лидочка? Кто им поможет? Сознывая свою вину перед ними и бессилие помочь, я со слезами уткнулся в изголовье.

## **Глава 7**

### **Этап Москва — Владивосток**

Столыпинский вагон — нечто вроде купейного. Вместо дверей купе — решетки, окна только на уровне верхних полок, маленькие, тоже с решетками. По обоим концам вагона — конвой. Выходить из купе не разрешается.

На одной верхней полке лежу я, на другой — молодой парень в тельняшке — вор-рецидивист, уже знакомый с лагерной жизнью. Внизу сидит грузный старый человек, похожий на Собакевича — но только внешне. Биография его довольно интересна. В царское время он служил в полиции, был участковым в деловом районе Москвы — около Лубянки. По характеру этого района, с населением он почти не сталкивался, а имел дело с конторами, фирмами и транспортом. Когда был молод, ему поручили поехать в Ясную Поляну и вручить какую-то бумагу Льву Толстому; какую — он толком сказать не мог, но, по-моему, это было что-то связанное с отлучением Толстого от церкви. Толстой принял бумагу, достал с полки одну из своих книг и написал на ней: «Молодой человек, желаю Вам постараться понять эту историю», подписался, вручил ему и выпроводил.

Начиная с этой книги, он потом прочел всего Толстого и прекрасно все помнил до сих пор. Удивительнее всего то, что, кроме Толстого, никаких других писателей он, видимо, не читал — во всяком случае, никогда не вспоминал.

Так как он ни в каких делах с революционерами не был замечен, то и после революции мирно продолжал служить в Моссовете, пока наконец в 30-х годах не вспомнили о его прошлом, признали СОЭ и закатали в один из протоколов Тройки.

Среди ночи в крайнее купе нашего вагона посадили какого-то человека, лет тридцати пяти, которого окружало плотное кольцо конвоя с оружием наперевес. Видимо, это было где-то около Казани. Однако через несколько станций его высадили. Кто он? Куда его везли? На расстрел? На пытки? В одиночную камеру тюрьмы?

Через три дня мы были в Свердловске. Нас погрузили в открытую грузовую машину и привезли во двор тюрьмы, усадив на землю. В другом конце двора также находилась группа человек в сто — сто двадцать.

Сидим. Ждем. Двор замыкается в виде буквы «П» огромными тюремными корпусами.

В одном из углов этого двора протоптана кольцевая дорожка диаметром метров двенадцать, с внешней ее стороны — два грибка, под которыми стоят солдаты с винтовками. По кругу, с руками, заложенными за спину, на расстоянии метра друг от друга идут женщины. «Прогулка». Вдруг этот порядок нарушается. Грубые окрики, женский пронзительный крик, плач ребенка, выстрел. Что такое? С одной из заключенных женщин был мальчишка лет четырех; среди камней, на земле, что-то привлекло его внимание. Он крикнул: «Ма, стеклышко!» — и выбежал из строя. К нему с прикладом наперевес бросился охранник. Мать обернулась, закричала и бросилась к малышу. Строй спутался, охранник на другом конце пяточка то ли со страху, то ли по инструкции дал выстрел вверх. Налетела охрана, женщине скрутили назад руки и всю группу пинками и прикладами стали загонять в тюрьму.

Много лет позже, когда стали писать о гитлеровцах, мы и не такое слышали, но тогда это нам было в новинку и произвело тяжелое впечатление.

К ночи нас погрузили в телячьи вагоны специального арестантского поезда.

В товарном вагоне справа и слева были оборудованы двухъярусные деревянные нары. Грузили нас по сорок человек — на каждом ярусе ложилось человек восемь — десять. Лежать можно было только на боку, и поворачиваться на другой бок могли все только враз — иначе не размещались. Откидная дверь снаружи запиралась на засов, вторая была намертво заделана. На полу стояла параша. Ни тюфяков, ни соломы не полагалось. Воды — тоже.

Почему-то память плохо сохранила воспоминания об этом долгом путешествии через Сибирь. Не могу вспомнить, кто были мои соседи, как было организовано кормление арестантов и многое другое.

О чем разговаривали?

Друг о друге узнавали только: статья, срок, как зовут, из какой тюрьмы.

Всех, конечно, интересовал главный вопрос: куда же нас везут? Но это было неизвестно. Долго стояли в Мариинске (между Новосибирском и Красноярском). Здесь крупный распределительный лагерный центр. Однако ночью поехали дальше. Кто-то говорит о Горной Шории — стране рудников, гор и лагерей — и о произволе, который там царит. На вопрос, куда нас везут, ответа не находится. Зато гораздо проще узнать, сколько нас везут.

Когда поезд начинает петлять, вползая в горы, лежащий у верхнего окошка может подсчитать число вагонов. Их оказывается не менее семидесяти. Если даже десять вагонов сбросить на конвой, кухню и т. п., то получается, что каждый такой поезд забирает не менее двух с половиной тысяч арестантов.

Несмотря на то что маленькие окошки товарных вагонов зарешечены, выглядывать из них или даже просто приближаться к ним опасно: стреляют без предупреждения. Тем не менее это единственная связь

с внешним миром, и лежащий у окошка должен рассказывать остальным, где мы едем и что он видит.

Право на это место сохраняется в зависимости от таланта рассказчика, а иногда от его уверенности в наличии такового. Снаружи, на тормозных площадках вагонов, расположились *архангелы*, или *черти*, *фараоны* и т. п. Это вооруженные винтовкой и... деревянной кувалдой солдаты-охранники. Чем дальше мы подвигаемся на восток, тем страшнее и безобразнее становится их вид: на шинелях дыры, прожженные случайной искрой или папиросой, лица небритые, все в саже и грязи, руки почернели, человеческие нотки в голосе исчезли — если они открывают рот, несутся какие-то нечленораздельные звуки. Мы им не завидуем и даже жалеем: нелегко, особенно ночью, трястись под пронизывающим ветром, в любую погоду на площадке, где негде укрыться, да еще нужно держать винтовку... Все они простужены, смертельно устали и издерганы. В то время как мы сладко спим, они, если только не в наряде, проводят всякие проверки, тренировки и политучебу — изучают биографию Сталина, историю ВКП(б) и т. п.

Ну, а что ждет неуспевающих — стоит только посмотреть на длинную цепочку вагонов. У тех вагонов, у которых тормозные площадки не предусмотрены, с торца над буферами сделаны временные, из брусьев и с ограждением из колючей проволоки. Это грубейшее нарушение правил эксплуатации железных дорог, и солдат, едущий на такой площадке, в сущности, мало чем отличается от смертника. Но такова воля НКВД. Человек — это только винтик в государственной машине. Если солдат погибнет, матери сообщат: «Погиб при исполнении боевого задания». Пусть думает, что защищал Родину. А может быть, в этом вагоне везли его отца или брата?

На остановках архангелы соскакивали на землю и отгоняли от поезда зрителей.

Не допускалось выбрасывать из вагонов какие-нибудь письма, поэтому если это и делалось, то только тогда, когда поезд трогался и архангелы, подбежав немного, прыгали на свои насесты на площадках.

Помню, однажды такой выкинутый из окна треугольник подобрал замызганный русоголовый мальчишка лет шести-семи и отбежал с ним метров на десять от железнодорожных путей. Поезд почему-то вдруг дернулся и встал. Один из архангелов соскочил и стал кричать мальчишке: «Мальчик, давай сюда письмо, сейчас же!» Однако тот нисколько не испугался, а засунул письмо за пазуху и продолжал стоять. В это время паровоз дал гудок, архангелы бросились на насесты, а мальчишка торжествующе закричал: «Ис цего захотель! Письмо? Накось выкуси!» Расстегнул штаны и показал солдату, что полагалось показывать в этом случае, под сочувственный хохот нескольких баб — свидетелей.

Поезд медленно набирал скорость, и на этого мальчишку многие из нас успели посмотреть, пока над окном не просвистела пуля.

На стоянках, особенно по ночам, устраивались дикие проверки — *шмоны*.

С лязгом открывалась дверь, подавалась команда:

— Перейти вправо!

В вагон врывались двое охранников и начинали лупить деревянными кувалдами по полу и стенам вагона. Потом людей перегоняли на другую сторону, пересчитывали, простукивали эту часть вагона. Все это происходило при свете факелов, которые держали охранники снаружи, а около дверей рычажи, натягивая поводки, специально натренированные для охоты на людей немецкие овчарки. Кроме этого, если не было достаточно длинных остановок, молотьба деревянными

кувалдами по стенам и крышам вагонов практиковалась по ночам и на более коротких остановках.

Как мы потом узнали, это проделывалось с целью предупредить побеги через подпиленные доски.

Как-то днем на одной из крупных станций, где-то в районе Мариинска, после раздачи баланды дверь вагона, против обыкновения, не закрыли, чтобы показать, что ждет беглецов. Вдоль поезда вели двух молодых ребят — как видно, бежавших из каких-то лагерей. На них страшно было смотреть. Одежда была изорвана в клочья — видимо, собаками. У одного все лицо представляло сплошную кровавую маску, и на ходу он все время сплевывал кровь. Второй с трудом волочил разбитую, окровавленную ногу. На голове у него запеклась кровь, волосы свалялись в грязный кровавый комок, на плече и спине виднелась кровоточащая рана. Их гнали вдоль вагона прикладами, с обеих сторон на поводках вели огромных собак. Несмотря на это, из каждого поезда по дороге во Владивосток кто-нибудь всегда бежал.

Страшно было ехать вокруг Байкала — поезд шел, не сбавляя хода, вагоны бросало и качало, а внизу, под откосом, на берегу озера и в воде, часто можно было видеть сорвавшиеся раньше вагоны. Все эти потери мало кого беспокоили, и уж, во всяком случае, не НКВД, который их организовал.

В вагоне я близко подружился с мастером из Казани — П. Батуровым. Ему было лет сорок; очень красивое, с ярко выраженными чертами лицо, спокойный, уверенный характер и природная порядочность и честность. Он был коммунистом, участником Гражданской войны, где получил тяжелое ранение в позвоночник. Ему сделали операцию в Казани — вставили серебряные пластинки, однако ему угрожал туберкулез костей, и по совету врачей он поступил на маслозавод, где изучил специальность и стал мастером



— маслоделом и сыроваром. Это спасло его от туберкулеза. Ко мне он относился как к младшему — немного покровительственно; старался помочь и поделиться чем мог. На Колыме он потом работал плотником.

В октябре мы приехали во Владивосток и были размещены в большом транзитном лагере, где-то в районе Первой речки. (Владивостока я не знаю.) Далеко впереди виднелся залив, справа на прибрежном холме — японский крематорий, сзади — горы. Внутри лагеря было сделано еще несколько отгороженных колючкой зон: для *КОНТРИКОВ* — «врагов народа», для женщин и РУР (рота усиленного режима) — для штрафников всякого рода. Из зоны в зону переходить было нельзя, а внутри зоны завязывались знакомства и налаживались связи. Пользуясь теплой погодой, люди снимали рубахи и били вшей на солнышке. Организовывались самодеятельные парикмахерские. У уголовников нашлись припрятанные лезвия и кусочки мыла, и они брили желающих за небольшую плату. У кого не было денег, брились осколками бутылочных стекол.

Кормили нас, конечно, по этапным нормам, то есть впроголодь: хлеба выдавали по 400 граммов и баланду с гнилыми овощами. Сахару не полагалось. Здесь мы прожили около десяти дней — как оказалось, в ожидании парохода. Однако в то время мы ничего не знали, и в лагере возникали всякие слухи, например: «Приказ о прекращении этапирования! Нас изолировали в связи с предстоящими выборами по новой конституции» и т. д.

В это время как раз рождалась и утверждалась сталинская конституция (как оказалось позже, автором ее был «враг народа» Бухарин). Многие уверовали в то, что после выборов нас «разгонят» по домам.

Всякие слухи и «теории» особенно воспринимались и распускались обывательской частью интеллигенции —

служащими, рядовыми инженерами, политдеятелями районного масштаба и ниже. Все это мне очень напоминало разговоры «пикейных жилетов», так талантливо описанных И. Ильфом и Е. Петровым в «Золотом теленке». Эта изумительная книга была и остается до сих пор непревзойденной летописью нашего общества.

В лагере было довольно много интересных людей. Здесь встретился мне Д. А. Самойлов — известный инженер-энергетик, редактор журнала «Мосэнерго». Меня рассмешило, когда он с тревогой справился у меня, успел ли я прислать им в редакцию обещанную статью (я у них уже печатался). Здесь же оказался Костя Солоухин — старший диспетчер Каширской ГЭС, очень способный молодой инженер. Пользуясь свободным временем и, очевидно, под влиянием прочитанных книг о поведении политзаключенных в царское время, некоторые ученые проводили в бараках лекции на научные темы.

Князь Святополк-Мирский, известный пушкинист, литературовед, читал лекции о Пушкине и Байроне, цитируя на память целые страницы из их произведений. Образованность этого человека была так высока, что он читал курс английской литературы в лучшем английском учебном заведении — Оксфордском университете. В Советский Союз он приехал по приглашению советского правительства (тов. Сталина) и через короткое время был посажен.

Не имея рабочей специальности и физических навыков, на Колыме он использовался на тяжелых работах, голодал, в качестве *доходяги* попал на дорожные работы в поселок Атка, где и погиб от холода, голода и издевательств лагерных *придурков* (так называли административно-хозяйственный лагерный персонал, набравшийся, как правило, из уголовников).

Был еще один старик — астроном из Пулкова. Фамилии его я не помню, он был специалистом по малым планетам и рассказывал много интересного о Солнечной системе: своими трудами он был хорошо известен за границей. Это его и погубило: в 1935 или 1936 году один его немецкий почитатель открыл очередной астероид — и назвал в честь своего учителя его именем. За такую «связь с заграницей» ему дали 5 лет.

Один крупный геолог (фамилии не помню) интересно рассказывал о «кладах» земли, рудах, горах и т. д.

Много было врачей, в том числе и очень крупные специалисты; отдельными, обособленными группами держались кадровые военные.

Основную массу контриков составляла средняя интеллигенция и крестьяне-«семипроцентники», попавшие в счет выполнения плана сталинской нормы на наличие у нас 7 % кулаков и подкулачников. Некоторых из них хватали прямо в поле или дома — сразу же после прихода с работы: они были в рваных соломенных шляпах и самодельных чунях; холщовые брюки и рубашка под поясok часто составляли их единственную одежду.

Я тогда еще не представлял себе масштабов разорения деревни, уничтожения крестьян-тружеников. Это безумие началось еще в 1930 году; даже в Москве ощущали недостаток продуктов, а по всей России был настоящий голод. На Украине дело доходило до людоедства. И вплоть до наших дней — Россия уже не может себя прокормить!

## **Глава 8**

### **На Колыму в трюме парохода**

На пароход нас грузили в темноте, и погрузка, видимо, продолжалась всю ночь. Сначала нас загнали в трюм какой-то железной шаланды, которая подошла к борту океанского парохода. Здесь по наружному мостику мы поднимались на палубу и распределялись по трюмам.

Я попал в нижний этаж носового трюма; место было на нижнем ярусе нар, в самом носу судна. По оба борта судна — где корпус от носа начинал расширяться — и в середине были построены грубые деревянные нары в четыре и пять этажей. Пол деревянный, трюм освещается тускло горящими электрическими лампочками. В трюм ведет одна крутая наклонная железная лестница, которая выходит в люк, расположенный в полу верхнего трюма. Этот трюм также оборудован нарами и полон заключенных. Около люка стоит лагерная охрана — назначенная из заключенных, как правило, уголовников; их задача — никого не выпускать из нижнего трюма в верхний. Из верхнего трюма видно светлое пятнышко — люк на палубу, к которому ведет своя лестница. Выход охраняется вооруженной винтовками охраной.

Высота каждого трюма — почти с двухэтажный дом. Никаких иллюминаторов, воздух проникает только через люк из верхнего трюма в нижний. Что это значит, мы скоро узнали.

Люди разбиты по десяткам. В обязанности десятника входит получение пищи и воды. Уже на Колыме мы узнали, что перевозкой арестантов занимались четыре-пять пароходов, каждый из которых привозил от трех до пяти тысяч заключенных за

каждый рейс, начиная с мая по ноябрь месяц. За месяц судно успевало сделать два рейса.

Нас вез пароход «Кулу» — около четырех тысяч заключенных. (В некоторые рейсы он брал свыше пяти тысяч человек.)

Утром нам выдали по куску соленой кеты-горбуши и порцию хлеба. Я, как архангельский житель, знал, что соленую рыбу нужно есть осторожно, однако голодные люди, несмотря на мои советы, набросились на нее с жадностью. Скоро все почувствовали страшную жажду. Воды полагалось по поллитра, однако получить эту порцию смогли далеко не все. За водой отправлялся десятник с жестяным баннным тазом по лестнице, через верхний трюм и к выходу на палубу, где охрана наливала ему воду из шланга. Вниз он должен был спускаться по крутым лестницам, держа в руках таз с водой. Даже в нормальной обстановке это было трудно, кроме того, мешала качка. При спуске же из верхнего трюма в нижний с боковых нар, примыкающих к лестнице, с кружками набрасывались уголовники, черпали драгоценную воду, проливали ее, и донести воду до своей десятки не всегда удавалось. Около лестницы, когда появлялся очередной таз с водой, разыгрывались безобразные сцены драк — звериная сущность человека обнажалась полностью.

К концу дня некоторые дошли до того, что лизали лужицы воды, пролитые во время драки у лестницы, с грязного пола. Отовсюду слышались стоны, крики, ругань. Кто-то истерически плакал.

К вечеру началась качка. Мы были уже в Японском море. Большинство никогда не плавали на морских судах, и их быстро укачало — в первую очередь тех, кто лежал на верхних ярусах нар и в верхнем трюме. Их неудержимо рвало, и блевотина летела вниз, часто на головы обитателей нижних нар. К концу дня нам разрешили получить еще по пол-литра воды — это было

легче, так как большинство уголовников лежали пластом и не могли вырвать у нас воду.

В уборную выводили два раза в день. Уборные были устроены на верхней палубе в виде деревянных навесов, висящих вдоль борта судна над водой. Они страшно раскачивались, а внизу были видны холодные волны с белыми барашками.

Ночью стало сказываться отсутствие вентиляции. Воздуха в трюме, где людей было набито полным-полно, не хватало; гниющие отбросы, блевотина, запах грязной одежды и портянок создавали очень тяжелую атмосферу. Чтобы глотнуть хоть немного воздуха, нужно встать около лестницы, но там было мало места, люди загораживали свободный доступ воздуха, и в трюме становилось все более душно.

Некоторые теряли сознание. Особенно плохо пришлось больным астмой, простуженным, сердечникам и т. д. Большую часть времени мы проводили в полусне или в полузабытии. Когда на другой день выдали очередную порцию соленой рыбы, к ней почти никто не притронулся. На третий день утром обнаружили несколько покойников. Убирать их не разрешили, соседи сволокли их на пол, под нары, и во время качки они перекатывались по полу, от борта к борту, нелепо цепляясь окоченевшими руками и ногами за стойки нар.

Все это напоминало сцены из «Хижины дяди Тома» и описания перевозки негров на невольничьих кораблях во время работорговли.

Впрочем, аналогия была не только внешней. НКВД действительно уже давно являлся крупным поставщиком рабов-заключенных на крупнейшие стройки первых пятилеток. Эти рабы строили Беломорско-Балтийский канал, Кузнецкий и Магнитогорский заводы, канал Москва — Волга.

Крупные рабовладельческие конторы — Мариинлаг, БАМ-лаг и др. — поставляли заключенных на шахты,

рудники, лесозаготовки, строительство железных дорог и другие «стройки социализма».

На Колыму людей поставлял Дальлаг, а хозяином был Дальстрой — трест, который также подчинялся НКВД и входил в его систему.

Помню, когда я учился в Архангельском политехникуме, у нас появился ссыльный преподаватель. Дирекция техникума выменяла его у НКВД на фрезерный станок, который оказался в наших мастерских после ухода английских интервентов. Этот преподаватель говорил нам: «Вот раньше я не знал себе цены, а теперь точно знаю, что стою столько же, сколько этот английский станок».

Все это казалось в порядке вещей даже в 1928 году. Ну, а в конце 30-х годов это дело было поставлено действительно на широкую ногу.

Вскоре заключенных стало столько, что «стройки века» затевались одна за другой, потому что некуда стало девать даровую рабочую силу. Так оказались никому не нужны Беломорканал, железная дорога в Заполярье от Салехарда, знаменитый БАМ и огромные лесозаготовки в районах, откуда лес нельзя было вывезти, и др.

## Глава 9

### Магадан

Пароход стоял в большой бухте, окруженной заснеженными безлесными сопками. Наш трюм разгружали, когда уже начало темнеть. Серое небо, темно-свинцовое море бухты, на берегу, под сопками, — редкие цепочки огней. Там, где мы высаживались, не было видно никаких зданий; нас стали выстраивать по пять человек в ряд на обледенелой дороге под лай собак, щелканье затворов и окрики охраны. У людей, не служивших в армии, и новичков это получалось плохо — их подгоняли пинками и прикладами.

Когда мы выезжали из Владивостока, там было еще тепло, а здесь уже наступила зима. Дул холодный ветер, кругом лежал снег, а люди плохо одеты. Я был в бумажном сером летнем пальтишке и дрожал от холода. Еще хуже пришлось тем, кто был в одной рубашке и соломенной шляпе, — это были крестьяне из южных районов. Ноги от долгого сидения в трюме отекали и плохо слушались.

Наконец длинная колонна построена.

— Шаг вправо, шаг влево — считается за побег! Стреляем без предупреждения! Пошли!

Отставать нельзя — изобьют, изорвут собаками и пристрелят «при попытке к бегству».

Дорога идет в гору между сопкок, становится совсем темно, люди часто спотыкаются и падают. Часа через два-три мы добрались до огромного лагеря, окруженного колючей проволокой, с вышками по углам и через каждые пятьдесят метров. Эти вышки всегда мне напоминали треугольники марсиан из «Войны миров» Г. Уэллса — они так же нелепо выглядели и так



же несли зло человечеству, как и марсианские. У ворот этап сдается лагерной охране. Проходим пятерками.

— Первая! Вторая!.. Семнадцатая!

Идет подсчет душ. Распределяют по большим баракам с трехэтажными нарами. Посреди барака — проход, в обоих концах которого стоят железные печки из положенных набок бензиновых бочек. Печки, конечно, не топят. На дворе лежит несколько коряг, но распилить или разрубить их нечем. Заваливаемся на голые доски. Кое-кто пытается собрать щепки и мусор и затопить печку. Но мы не первый этап, до нас тут уже прошли тысячи людей, и много не соберешь.

Утром началась перепись. В одном из бараков вдоль проходов установлены длинные столы — как на избирательных участках. Людей прогоняют через барак и переписывают «по буквам»:

— Фамилия, имя, отчество? Год рождения? Статья? Срок? Специальность? — Занимаются этим местные заключенные.

Так как всех сразу переписать нельзя, несколько групп строят и выгоняют колоннами на работу. Я попадаю в одну из таких колонн — человек двести — на очистку дорог около Магадана. Бесплатная и принудительная работа, конечно, никого не привлекает, да и конвой не особенно усердствует — они в этом не заинтересованы, их дело — следить, чтобы никто не убежал и не потерялся. Зато они оказались заинтересованы в другом: несколько солдат начинают обходить всю колонну и о чем-то договариваются с бригадами. Разносится весть: если кому нужно купить табаку, папирос, спичек или еще что-нибудь — давайте деньги, конвой принесет.

Люди вытряхивают сохранившуюся мелочь и рублевки и передают охранникам. Конечно, ни денег, ни папирос, ни охранников мы больше не видели, а через три часа нас пригнали обратно в лагерь. Так

понимали свою задачу по охране Родины и служению народу бойцы-чекисты «славных органов». Уверен, что это делалось не без ведома их комсостава. А ведь большинство из них наверняка были комсомольцами или коммунистами — «совестью народа». Нечистой оказалась эта совесть...

После переписи и кормежки на другой день утром нас прогнали через душевую-санпропускник. С одного конца входили в своей одежде, здесь раздевались догола, мылись под душем и выходили с другого конца, уже одетые во все лагерное: пара белья, телогрейка, ватные штаны, валенки, портянки, шапка-ушанка. Когда кое-кто из прибывших пытался пройти снаружи бани к входу, где была накинута наша «вольная» одежда, чтобы взять что-то дорогое себе, он натыкался на злобно ругающихся придурков.

Они рылись в вещах, обшаривали карманы и складывали все наиболее ценное в отдельные стопки — очевидно, для продажи.

Все это не могло делаться без ведома и содействия начальства, которое, конечно, получало свою долю.

## Глава 10

### Колымская трасса

Над одним из лагерных бараков висел лозунг: «Колыма нуждается в смелых, энергичных людях». Это как-то льстит самолюбию: значит, и мы такие?

Встречаю кое-кого из знакомых по МОГЭСу, спрашиваю Костю Солоухина:

— Ну как? Куда отправляют?

— Записался плотником — поеду на стройку.

Меня записали как инженера-электрика, однако инженеров тут и без меня, видно, достаточно.

Утром нас по двадцать — двадцать пять человек усадили в грузовые машины, и мы выехали на трассу, которая от Магадана вела на северо-восток, в глубь материка. В каждой машине было по два конвоира: один сидел в кабине, другой — с нами в кузове; время от времени они менялись. Через девяносто километров первый поселок — Палатка.

Здесь гораздо холоднее, чем в Магадане, но зато почти нет ветра. Все кругом бело от глубокого снега, справа и слева — вздымающиеся бесконечными волнами сопки, дорога все время поднимается вверх, иногда вьется серпантином, преодолевая перевал. Дорога проходит в безлюдной местности, хотя движение довольно оживленное. Железных дорог здесь нет (до Палатки уже в наше время проложили узкоколейку), и все снабжение этого огромного края, расположенного между Охотским морем и бассейнами рек Колымы и Индигирки, держится исключительно на автомобильном транспорте. Самые отдаленные прииски находятся почти в тысяче километров от Магадана.

Изредка попадаются занесенные снегом «командировки» — так называются лагерные поселки

дорожников из трех-четырех домиков. Ясно. Морозно. Несмотря на то что на нас ватные штаны, телогрейки, валенки с шерстяными портянками, ватные бушлаты-полупальто, шапки-ушанки, встречный ветер от движения машины находит все время щели и забирается под одежду.

Ослепительно сверкает снег. Горы становятся все выше, грознее, суровее, дорога часто проходит по краю пропасти, но колымские шоферы к этому привыкли и почти не сбавляют скорости.

Поздно вечером прибываем в Атку. Поселок расположен высоко над уровнем моря, кругом скалистые сопки. Справа полнеба загораживают две огромные сопки, похожие на двугорбого верблюда.

Здесь мы делаем остановку на ночь. Располагаемся в большом бараке — лагерной столовой, где недавно закончился ужин. Нам выдают по миске рыбного супа и по куску хлеба. Ложимся спать вповалку на полу. Здесь нас человек пятьдесят — две машины. От Магадана мы проехали двести шесть километров.

Утром — подъем и едем дальше. Дорога спускается за перевал, сопки становятся меньше и не так угрюмы, как в Атке, где они как ворота в сказочное царство вечного льда и молчания. Вдоль долины речки видны негустые заросли тополя, в ложбинах между сопками — голые палки лиственниц.

К обеду приезжаем в поселок Мякит, растянувшийся вдоль Колымского шоссе (трассы) примерно на полкилометра. Справа протекала речка Мякит (что значит «нет рыбы»), слева шли невысокие сопки, огибая которые шоссе бежало на север. В долине росли тополя, а на сопках — чахлые лиственницы и кедр-стланик. Это было полудерево-полукустарник. Летом стланик мог даже скрыть человека, но зимой, под тяжестью снега, он ложился на землю, засыпался снегом, и от этого сопки казались безлесными. Только в долинах и

распадках торчали уродливые лиственницы. Тем не менее на этом стланике росли кедровые шишки — мелкие, немного крупнее еловых, — и орешки тоже были мельче обычных.

Правильных улиц не было. На возвышенной части, между шоссе и сопками, стояло одноэтажное здание Управления автотранспорта Дальстроя и несколько одноэтажных двухквартирных домиков для начальства. Дальше находились больница, почта.

Справа от шоссе, в низине, ближе к речке, стояли общежития барачного типа, где жили главным образом *ДОГОВОРНИКИ-ВОЛЬНЯШКИ* — охранники, бывшие заключенные (триста человек), далее шли пожарное депо, столовая, электростанция и беспорядочно лепились частные домики.

Против здания Управления автотранспорта (УАТ), но по эту сторону трассы, находились автогараж, диспетчерская, а дальше к реке, в низине, — лагерь, к которому нас привезли. Четыре вышки по углам, на территории — несколько выбеленных известкой барачных и брезентовые военные палатки. Лагерь небольшой, человек на четвереста. Здесь мне предстояло прожить пять лет.

## **Глава 11**

### **Поселок Мякит**

В столовую, куда мы попали после обеда, все время заходили запоздавшие пообедать лагерники. Бросались в глаза их хороший, здоровый вид, загорелые лица. Они были хорошо одеты, во все новое, на голове — меховые шапки из крашеного кролика, часто с белыми отметинами на лбу — признак особого «шика»; все громко говорили, шутили и смеялись. Как видно, все были сыты — они совали нам хлеб, и на столах оставалось много кусков. С голодухи мы так набросились на этот хлеб, что скоро едва могли переводить дух, так что, когда меня вызвали для ознакомления и беседы в контору, я с трудом мог говорить. Здесь состоялась беседа: где работал, кем? — ведь документов об образовании или стаже у нас не было, и квалификация определялась по этой беседе.

В Управлении автотранспорта Дальстроя меня зачислили инженером в проектную контору.

В это время заключенным на Колыме, работавшим специалистами и рабочими, устанавливалась почти такая же зарплата, как и вольнонаемным, за вычетом денег на содержание в лагере. Мне назначили оклад в 900 рублей, то есть почти в полтора раза больше, чем я получал на последнем месте работы. Деньги, которые оставались после всех вычетов, на руки не выдавались, а зачислялись на личный счет, с тем чтобы к моменту освобождения из лагеря у человека накопилась сумма, достаточная для первоначального устройства. Часть денег, по разрешению лагерного начальства, выдавалась на руки, и на них можно было купить в лагерной лавке то, чего по общей норме не полагалось: папиросы, консервы, конфеты, одеколон и т. д. Эта

система была гуманна и разумна, однако при нас она продолжалась недолго. У нас особенно хорошо зарабатывали шоферы. Они получали «с рейса», некоторые почти все время были в дороге и ухитрялись зарабатывать по 4-5 тысяч рублей в месяц и даже больше.

В связи с этим вспоминается мне такой случай: в одной палатке я познакомился с молодым красивым парнем — Петей Вишневым; он сидел по уголовной статье и работал шофером. Я заметил, что иногда вечерами он сидит, стараясь написать какое-то письмо, но никак не может это сделать.

Когда мы познакомились поближе, спрашиваю:

— Петро, над чем ты это трудишься?

— Да вот, смотри! — протягивает какой-то измятый листок. Оказывается — письмо от матери. Сначала идут приветы и поклоны от родных и знакомых, а дальше: «Петя, спасибо, сынок, за заботу, деньги от тебя получили, только ты напрасно опять взялся за старое, лучше старайся встать скорее на честную дорогу, а нам ничего не надо, только бы увидеть тебя поскорей». Став шофером и начав хорошо зарабатывать, он стал посылать домой деньги, а мать никак не могла понять, что, будучи в заключении, можно хорошо зарабатывать, и решила, что сын опять стал воровать. Объяснить это и оправдаться в письме перед матерью было обязательно нужно, но Петр не умел — грамоты не хватало.

Пришлось сделать это мне, после чего ему поверили, а я, по письмам его матери, превратился в «... хорошего человека, который наставил... на путь истинный»!

Те, кто хорошо зарабатывал, мало пользовались лагерным питанием, так как могли покупать для себя продукты или в ларьке, или через вольнонаемных.

Шоферня была вечно в разъездах и питалась в дорожных буфетах.

Распорядок дня в лагере был такой: в 7 часов подъем, завтрак в столовой, строимся по бригадам перед воротами и конвой разводит по работам.

В конторе кроме нас работали и вольнонаемные; разница заключалась только в том, что они были одеты в гражданские костюмы.

В нашем проектно бюро работали несколько хороших инженеров — известный теплотехник-металлург Грум-Гржимайло, автомобилист, молодой инженер из Ленинграда Колосов и др. — все заключенные. Из вольнонаемных было два техника, я их совсем не помню.

Проекты, которые нам приходилось делать, конечно, не соответствовали нашей квалификации и возможностям. Это были мелкие котельные, бани, станции обогрева и прочая дрянь. На обед за нами приходил конвой, водили обедать, потом опять работали до 7 часов — рабочий день был десятичасовой.

Вечером полагался ужин, между 9 и 10 часами — поверка, после чего объявлялся отбой и хождение по лагерю запрещалось.

На поверку выстраивались по баракам, староста барака отдавал рапорт приходившему начальству и учетчику. За неявку или уклонение от поверки строго наказывали.

Обслуживанием лагеря занимались специально выделенные люди: повара, водовозы, кухонные работники, парикмахеры, старосты бараков и дневальные.

Дневальные подбирались из нетрудоспособных стариков; в их обязанности входило поддерживать огонь в печке, следить за порядком, уборкой коек и т. п. Здесь уже не было сплошных нар, а стояли деревянные топчаны с матрасами, которые набивались древесной стружкой. Некоторые заключенные имели право



свободного выхода в поселок — они работали электриками на электростанции, киномеханиками в клубе, в «вольной» столовой, в больнице и в других местах. Некоторые работали дневальными в квартирах начальства. Здесь они мыли полы, топили печь, стирали белье, иногда готовили обед для семьи какого-нибудь коммуниста-начальника. Семья эта, как правило, состояла из мужа и жены, причем та не работала и считала вполне нормальным, что ее грязное белье стирает какой-нибудь средних лет мужчина, который тоже был отцом и мужем, но его оторвали от детей и жены и продали в рабство. Как во время крепостного права.

Если дневальный чем-либо не угождал хозяйке или выказывал свое недовольство, его убирали и обычно направляли на прииски, откуда мало кто возвращался. Поэтому, хотя эта работа была в тепле (что на Колыме ценилось дороже всего), давала возможность хорошо питаться и не была изнурительной, охотников на нее почти не находилось. Обычно попадали крестьяне, которые по состоянию здоровья не могли быть направлены на тяжелые физические работы.

В выходные дни нас заставляли заниматься уборкой снега в лагере или выгоняли на заготовку дров. Их требовалось неимоверно много, так как каменных печей не было, а в бараках стояли бензиновые бочки, поставленные друг на друга; в нижней бочке день и ночь горел огонь — стоило прекратить топку, как помещение сразу же остывало. Заключенные размещались в бараках или в палатках. В бараках было, конечно, лучше: двойные двери, стены оштукатурены внутри и снаружи, да и «от народа», когда собирались все на ночь, было теплее.

Нас же поместили в палатках по двенадцать — шестнадцать человек. Я сначала попал в одну палатку с ранее прибывшими «троцкистами». Это были кадровые

военные — народ серьезный, малоразговорчивый; они сразу сумели поставить себя так, что лагерные придурки не решались их притеснять или обижать. Утром они делали зарядку, умывались водой или снегом, потом шли на работу.

Я прожил среди них всего несколько дней, а потому не смог познакомиться с кем-либо. Рядом со мной по одну сторону спал Лисба, бывший руководитель духового оркестра дивизии, по другую — военврач, еврей Гланц.

Все это были очень порядочные, трудовые и честные люди. Уверен, что они были такие же троцкисты, как я — сын Папы Римского. Вскоре всех их отправили на прииски, и я больше ничего о них не слышал.

Все лагерники по режиму содержания разделялись на две группы, которые жили в разных бараках: бытовики — то есть уголовники всех мастей — и контрики. Мы считались социально опасным элементом, и режим для нас был строже. Воров, насильников и убийц относили к социально близким, временно изолированным от счастливого и безгрешного коммунистического общества. Вся лагерная администрация назначалась из этих социально близких. Это были старосты бараков, учетчики, парикмахеры, банщики, повара, кладовщики и т. д. В канцелярии лагеря были отделы: УРЧ (Учетно-распределительная часть) — там ведали учетом личного состава и назначением на работу, МХЧ (Материально-хозяйственная часть), КВЧ (Культурно-воспитательная часть) и т. д. «Воспитательная» — воспитателем назначался обычно какой-нибудь аферист или крупный вор с большим сроком отсидки.

Важной фигурой для нас был подрядчик: от него зависело, куда пошлют на работу — в тепло или холод, на тяжелую или легкую. Был еще учетчик — нечто вроде табельщика. Санчасть возглавлялась в лучшем

случае каким-нибудь фельдшером. Здесь дело доходило до анекдотов: так как документов не было, каждый вновь прибывший мог объявить себя врачом и получить «блатное место». Часто на эту должность попадали уже побывавшие в других лагерях жулики — морфинисты и кокаинисты, которые нахватались кое-каких терминов и могли «держаться фасон» — то есть делать вид, что что-то понимают в медицине.

Начальство ими было довольно: они не требовали особых лекарств, инструментов; обходились йодом, содой, спиртом и, конечно, снотворным — морфием, кокаином и т. п. Недовольных больных лекпомы (их звали «лепкомы») лечили матом и угрозами отправить на прииск. За смерть лагерника особенно с них не спрашивали, если только не разразилась эпидемия. Тогда такие лепкомы сами попадали на прииски. Однако, благодаря здоровому колымскому климату и малонаселенности, это случалось крайне редко.

К моменту нашего прибытия заключенным полагались зачеты. Это значило, что для тех, кто перевыполнил норму, срок заключения снимался на известное число дней в году — иногда один день засчитывался за два. Очень скоро, однако, сначала для нас, потом для осужденных по статье 56 (бандитизм) и Закону от 7 августа 1932 года (хищение государственной собственности — это главным образом крестьяне — за колосок или морковку, подобранные на поле) зачеты были отменены. Сделано это было по-иезуитски, задним числом, и все заработанное раньше пропало. *Блатари* получали зачеты, часто даже почти не работая. Это зависело от «своего» учетчика или нарядчика, которые выработку целой бригады — особенно если это были не блатные — записывали на одного-двух жуликов. Жаловаться, конечно, было бы бесполезно. Существовали еще так называемые колонисты. С ними НКВД заключал своеобразный

договор: срок им засчитывался без зачетов, но зато они могли жить в каком-нибудь поселке, построить себе домик, жениться и обзавестись хозяйством.

Паспорт им не выдавался, никуда далеко уехать они не могли и, по мысли устроителей их жизни, должны были бы навечно осесть на Колыме в качестве местных жителей. Впоследствии и их обманули и загнали в лагерь почти всех, за малыми исключениями.

К концу 1937 года режим в лагерях стал усиливаться. В стране проходили первые выборы по новой, сталинской конституции. В разряд «врагов народа» попадали все новые и новые деятели.

Биографии «кандидатов в депутаты», не успев провисеть несколько дней, срывались со стен и уничтожались. Журналист Радек, редактор «Известий», Сосновский, наркомфин, Сокольников, Тухачевский и многие другие прославленные и известные в прошлом люди были схвачены и уничтожены. На обложке «Крокодила» красовались «Ежовые рукавицы» — кисть, сжимающаяся в кулак, а между пальцами зажаты насмерть «враги народа».

Так как газеты приходили «с материка» с опозданием на три-пять месяцев, то почти все они оказывались «контрреволюционными» — так как в них печатались статьи «врагов народа» или же эти «враги» восхвалялись. Радио у нас вначале не было, а чтение или хранение газеты контрикам строжайше запрещались. Считалось также преступлением иметь в лагере карандаш или бумагу; письмо можно было написать только в КВЧ или где-то на стороне. Письма сдавались в незапечатанном виде; почтовых ящиков в поселке не было, а вольные сдавали письма на почту лично.

Достойными удивления были боязнь и ненависть, с которыми лагерная администрация относилась ко всякому печатному слову — книгам, газетам, —

особенно если они находились в руках «контриков». Культуру они ненавидели и боялись, книги и газеты отбирались и уничтожались.

## Глава 12

### Лагерный быт

После ноября 1937 года от НКВД поступило предписание: всех «врагов народа», то есть осужденных по статье 58 и осужденных Тройками, — СОЭ (социально опасный элемент), КРА (контрреволюционная агитация), КРД (контрреволюционная деятельность), КРТД (контрреволюционно-троцкистская деятельность) и т. д. — использовать только на тяжелых физических работах. Работы эти разделялись у нас на конвойные и бесконвойные. Конвойные — это когда группу людей выводили на работы, обычно земляные, под охраной конвоя.

Люди долбили ломами и кирками мерзлую землю или глину, которая совершенно не поддавалась ударам, отскакивали лишь крошечные кусочки.

Отогреться было негде, и мороз заставлял все время двигаться. Охранники тоже мерзли, хотя были одеты несравненно теплее нас, и от злобы и скуки щелкали затворами, орали или били прикладами слабых или тех, кого почему-либо особенно невзлюбили.

Особенно плохо было, если конвойным оказывался службист хохол, мордвин или чуваш. Эти старались выслужиться: за застреленного «при попытке к бегству» полагалась награда.

По счастью, мне в конвойных командах пришлось быть мало. Скоро из нас, работавших в Управлении, сколотили несколько бесконвойных команд. На место работы нас разводили, а там мы работали под ответственность бригадира-заклученного.

Одна из таких бригад, в которой я работал, занималась раскорчевкой пней и заготовкой песка в

пойме реки Мякит, в полукилометре от поселка. В эту бригаду входили: А. В. Маковский, бывший секретарь Украинской академии наук, лет сорока — сорока пяти. Это был очень мягкий, музыкальный человек, поэтически влюбленный в свою Украину. Он был широко образован и за это преследовался властями. Сидел он за «связь с Ватиканом».

Эта «связь» заключалась в том, что библиотека Академии, как и все крупные библиотеки, имела налаженный обмен книгами со многими академиями мира, в том числе и со знаменитой Ватиканской библиотекой. Это было традицией, однако именно за получение заграничных книг для Академии Маковского и посадили.

Вторым был Рабинович — из французских евреев. Он работал переводчиком и гидом в «Интуристе», был журналистом, сам походил на француза — был очень веселым и общительным. Он сидел из-за известного французского писателя Андре Жид. Андре Жид был в Африке и выпустил книгу о Конго, в которой рассказывал о бесчеловечной эксплуатации негров, колониализме, несправедливости, работорговле в колониях и т. д. Поэтому он у нас был зачислен в прогрессивные писатели, и в 1936 году его пригласили в Москву. Гидом и переводчиком ему назначили Рабиновича. А. Жид должен был осмотреть нашу страну и познакомиться с переменами, которые произошли здесь за время советской власти.

Однако от предложенной ему программы осмотров заводов истроек он отказался, заявив, что его как писателя в первую очередь интересуют люди. Он когда-то до революции был на Кавказе и выразил желание поехать в Сванетию — как он знал, наиболее глухой уголок Кавказа.

Рабинович его сопровождал в этой поездке. Когда они забрались далеко в горы, на дороге в один из аулов,

где предполагалась ночевка, вдруг им навстречу появляется делегация крестьян-горцев, которые на бархатном красном полотнище несли... цитаты из последней книги А. Жида на великолепном французском языке. Устраивая это «мероприятие», наши явно перестарались, и писатель, болезненно чувствительный ко всякой фальши и показухе, остановил машину, распрощался со встречавшими и заявил: «Мне все понятно, смотреть здесь больше нечего», после чего повернул обратно. На обратном пути он уже вел себя совсем иначе, и все его внимание было сосредоточено на наблюдении за тем, как слова о «счастливой и радостной жизни» расходятся с этой самой жизнью.

Все же, видимо желая благополучно выбраться из СССР, он послал благодарность правительству и даже воскурил фимиам тов. Сталину.

А как только он оказался во Франции, так немедленно выпустил книгу о своих впечатлениях и наблюдениях, в которой разоблачил и высмеял лживость наших газет и вообще вылил на нас целые ушаты грязи. В этом у него уже был опыт, так как примерно таким же путем ему удалось благополучно унести ноги из Африки. Будучи там, он сумел поладить и с продажными вождями, и с палачами-колонизаторами, а когда выбрался оттуда — показал всему миру их истинное лицо и жестокость.

Такого коварства Сталин простить, конечно, не мог. Однако Андре Жид был вне пределов досягаемости НКВД, поэтому в качестве козла отпущения был принесен в жертву Рабинович.

Третьим был Эдуард Эдуардович Пукк-Пукковский, эстонец, военный моряк. Он окончил институт им. Лесгафта и руководил занятиями физкультурой на военных судах. Он был лет на пять — семь старше меня, хорошо развит физически, очень начитан и вообще был



человеком высокой культуры. На «материке» у него остались молодая жена с маленьким сыном, которых он очень любил. После его ареста ее выселили из Кронштадта, и она попала куда-то в Кустанай. Посадили за то, что у него были родственники в Эстонии. (Эстония являлась тогда самостоятельным государством.)

В первое время с нами был также военврач Марк Гланц — молодой жизнерадостный еврей, очень остроумный и находчивый, хотя далеко не такой образованный, как остальные. Он служил в Монголии и на Дальнем Востоке, а посадили его за то, что он выразил удивление и сомнение в виновности одного очень популярного командира, которого арестовал НКВД.

Бригадиром и нештатным учетчиком у нас и у еще одной бригады числился одессит А. Винглинский — не то поляк, не то еврей, а может быть, помесь обоих. Это была довольно жалкая и гнусная личность.

До ареста он работал каким-то чиновником в порту, по-видимому, имел отношение к складам и погрузке, хотя выдавал себя за инженера. Никаких инженерных знаний у него, конечно, не было, и, хотя он считал себя интеллигентом, в голове у него был сумбур из обрывков чего-то услышанного, портовых терминов, медицинских словечек и т. п. Он страшно боялся физического труда, мороза и, конечно, драки. Поэтому с нами он почти не был и если брался за лопату или лом, то только на глазах начальства или в случае крайней необходимости и при первой возможности исчезал в контору «оформлять наряды».

В конторе его терпели, потому что под этим соусом он делал разную канцелярскую работу и за вольняшек — готовил таблицы, ведомости, списки, требования и т. д. До приказа о снятии он работал в Управлении автотранспорта сметчиком.

Я органически не переносил всяческого угодничества и раболепия, поэтому при каждом удобном случае выказывал свое презрение к Винглинскому за унижительное отсутствие чувства собственного достоинства. Мы жили в одном бараке, и я не мог удержаться, чтобы не изводить его. Помню, например, такой случай: Винглинский каким-то образом узнал, что вольняшки в поселке нуждаются в сапожном креме — купить его было негде, а начальство хотело ходить в начищенных сапогах и ботинках. Так он побежал в Управление и стал предлагать свои услуги по изготовлению этого крема. Кончилось все тем, что его услуги почему-то не были приняты, зато я нарисовал на листе бумаги ему диплом «лизателя сапог и изобретателя ваксы».

В центре диплома был блестящий сапог, поставленный на сапожную щетку, а носок сапога облизывал Винглинский.

Этот диплом мы ему прибили на стенку над его местом на нарах в бараке.

Не помню, кто из великих писателей сказал: «Если раб, которого бьют, заслуживает сожаления, то раб, который целует бьющую его руку, — существо презренное».

Винглинский был рабом, целующим руку бьющего.

Вскоре нашу «ученую» бригаду расформировали, и я попал на заготовку дров. Настоящего леса поблизости давно уже не было, оставались остатки вырубок, редколесье.

Работу очень осложнял глубокий рыхлый снег. Вследствие отсутствия оттепелей и ветров, снег на Колыме был какой-то особенный: он почти не слеживался, а лежал воздушной массой, более всего похожей на пух. По этому снегу нельзя было ходить, даже проваливаясь, — приходилось не то ползти, не то

плыть по пояс и даже глубже. И так от дерева к дереву — а они стояли редко.

Рубить тонкие деревья невыгодно — из них не получались «кубометры», а работы очень много. К каждому дереву нужно было подойти по глубокому снегу, обтоптать снег вокруг него, спилить, разделить на двухметровые бревна, обрубить сучья, потом перетаскать все эти бревна на своих плечах к одному месту и сложить для замера.

Работа эта была очень тяжелой, к концу дня я испытывал такое чувство, будто кости в тазу выходят из суставов. Хорошо еще, если была махорка. За всю эту работу полагалось полкило хлеба в день, утром селедка, в обед рыбная баланда с мерзлой картошкой и каша без масла. Вечером опять давали баланду или селедку.

Мы работали без обеда — по свету — и поэтому получали то, что оставалось от обеда.

О том, чтобы выполнить норму, не могло быть и речи. А к тем, кто не выполнял, применялись наказания: паек сокращался до 400 граммов хлеба, не давали табак и посылали в штрафные конвойные работы.

К счастью, нам тут помогли урки (блатари, воры).

— Тут нужно туфту заложить! — научил меня один напарник.

— А как?

— Вот смотри, как надо делать. — И мы начали «закладывать туфту»: в середину будущего штабеля закладывалось несколько разлапистых пней или коряг, с боков и сверху пустота закладывалась двухметровыми бревнами, так что получался вид штабеля, который потом замеряли и принимали от нас по наружному обмеру. Так удавалось один кубометр сдавать за два, а то и за три.

Дров для поселка требовалось неимоверно много. На дровах работали электростанция, котельные, а в

бараках день и ночь горели железные печки. Зима здесь начиналась с октября и длилась до мая, а морозы стояли от 30 до 55 градусов.

К этой туфте особенно не придирались, разве только попадался какой-нибудь особенно ревностный новый службист-учетчик или бригадир. Но от таких быстро отделявались. Туфта была выгодна всем: зэки выполняли норму, лагерное начальство и администрация поселка показывали в отчетах большую выработку и ставились в пример другим как «сумевшие добиться выполнения норм». Впрочем, эта туфта, очковтирательство и показуха являлись одним из самых распространенных в стране методов работы буквально во всех областях жизни — политической, военной, экономической, культурной и т. д. — и буквально разъедала все общество, хотя и не везде называлась своим именем, как это было в лагере. Все же дров, конечно, не хватало. В первую очередь обеспечивались вольняшки, управление, больница, столовая, электростанция, котельная, гаражи. Лагерю доставались остатки или то, что он может заготовить, выгнав людей после работы на сопки.

Каждый из нас, возвращаясь в лагерь, старался захватить с собой какую-нибудь палку, полено или щепок для печки своего барака. Однако при входе в лагерь, у ворот, большая часть этих дров отбиралась шайкой лагерных придурков и администрацией — для пропускной, столовой, для блатных, и в наших печках часто нечем было поддерживать огонь даже вечером; к утру же все замерзало.

Одежда, которую мы клали под голову, часто примерзала к стене, и ее приходилось отдирать утром. Особенно трудно было в те дни, когда морозы устанавливались ниже 45 градусов.

Основные заготовки леса находились от нас в тридцати километрах. Обеспечивать нормальную

работу грузовых машин и вывозку леса было очень трудно. В гаражах становилось холодно, машины не заводились, аккумуляторы и резина замерзали, а подвоз дров, которых и так не хватало, сокращался. В дело шли старые автопокрышки, автол и все, что только могло гореть.

Резина из СК при морозах ниже 45 градусов становилась такой хрупкой, что, если надутую резиновую камеру вынести на воздух и бросить, она раскалывалась на мелкие кусочки, как будто глиняная. Масло в заднем мосту автомашины замерзало так, что, если машина встала, сдвинуть ее не было никакой возможности — под кузовом нужно было разводить костер.

Все это временами создавало прямо-таки страшную перспективу — замерзнуть всему поселку.

Шоферы и слесари-автомобилисты, почти все — заключенные, все же проявляли настоящие чудеса героизма и находчивости и добивались того, что машины хоть и с трудом, но ходили.

К январю-февралю, во время самых сильных морозов, прибавилась еще одна беда: в некоторых бараках на полу стала появляться вода и бараки начало затапливать. Речка к этому времени перемерзла до дна; перемерзли, очевидно, и грунтовые воды. Однако подземные ключи находили выход на поверхность, образуя все нарастающие наледи, особенно в низких местах. Под бараками же почва была талой, и грунтовые воды, не находя выхода, устремлялись сюда.

Мы боролись с этой бедой разными способами: временно выселялись и замораживали весь барак — но это спасало ненадолго; устраивали на полу мостки из плах и досок, сорванных с нар; окапывали барак канавой. Последний способ был самым лучшим, но для этого нужно было выкопать канаву глубиной не менее

чем в рост человека, а это уставшим и измученным людям было не под силу: грунт — галька с глиной.

Особенным мучением для нас были поверки и шмоны. Поверка назначалась по сигналу в 10 часов вечера. К этому времени все должны были быть на своих местах, а по баракам ходила комиссия — начальник конвоя, иногда начальник лагеря, старосты, учетчик.

Поверка длилась около часа. Всех не оказавшихся на месте или оказавшихся в другом бараке ждало наказание. Придирались к заправке коек, к внешнему виду и т. д. Иногда некоторых вызывали для отправки в кондей или собачник — за пререкания с администрацией или какие-нибудь другие провинности, о которых наказываемый иногда даже и не знал.

Собачник представлял собой неотапливаемый карцер на территории лагеря, а кондей — нечто вроде лагерной тюрьмы; он находился в поселке, и туда посылали на срок от трех до десяти дней. Это был деревянный сарай, вроде гумна или бани, обнесенный колючей проволокой, со сторожевыми вышками по углам. Вместо крыши — накат из тонких бревен, засыпанных сверху землей. Стены не были проконопачены, только некоторые щели между бревнами заделаны мохом. Помещение делилось на две неравные части: меньшую занимали коридор и каморка, в которой жил «зав. кондеем» — жулик или бандит. Здесь же была топка от печи; одна стенка печи выходила в другую половину, где были голые нары для заключенных — человек на восемь.

Не помню, за какую провинность — то ли за неявку на поверку, то ли за пререkanie с лагерной администрацией — в одну из зим я угодил в этот кондей на десять суток.

Хлеба выдавали 400 граммов и один раз холодную баланду, да и то не всегда. Печка, конечно, никакого

тепла не давала, зато страшно дымила, когда топилась. Так как три четверти печки выходило в каморку «зав. кондеем», у него, наверное, было довольно тепло, тем более что он мог заткнуть у себя щели.

В помещении же арестантов стоял адский холод, сквозь щели светилось небо, ночью спать было невозможно — приходилось приплясывать.

В придачу ко всему у нас отбирали ремень, шарф и т. п. (чтоб не повесился), и штаны не держались, везде продувало.

Не «дошел» я окончательно только потому, что днем, благодаря требованиям шоферов, меня вызывали на работу; там я отогревался и немного подкармливался. Срока своего я не досидел три дня — видимо, им надоело приводить и уводить меня с работы. Шарф мне, конечно, не возвратили.

Кроме этого кондея для особо провинившихся управление лагерей имело еще РУР (рота усиленного режима) и ШИЗО (штрафной изолятор особого назначения). РУР представлял собой отдельный лагерь, куда направлялись арестанты из нескольких лагерей данного района.

Работы здесь проводились под конвоем и были, как правило, особенно тяжелыми — заготовка камня, шахты, лесоповал и т. п. Спали на голых нарах, хлеба давали 400 граммов, кипятку не давали, баланду дали один раз, табаку не полагалось; охрана была исключительно зверской, и ей позволялось проделывать над заключенными все, что угодно.

Излюбленным наказанием летом была «постановка на комары». Полураздетого человека заставляли стоять около вышки или привязывали к дереву в лесу. Здесь на него набрасывались комары. Махать руками не разрешалось («покушение на часового»).

Что это такое — колымские комары, описать трудно, это надо испытать. Даже скотина не выдерживает их

натиска. Олени спасаются в воде, перестают есть. Известны случаи, когда комары заедали в тайге людей насмерть.

Такую пытку можно было вытерпеть только несколько минут; после этого люди обезумевали и были готовы на все. Тут их обычно пристреливали или «за попытку к бегству», или «за нападение на охрану». В обоих случаях охранника ждала награда, а заключенного — смерть.

Зимой при 40–45 градусах мороза заставляли бегать босиком от вахты до барака и т. п.

Если человек в РУРе не «исправлялся» или же сразу казался для НКВД особенно опасным, его посылали в ШИЗО.

Я не видел людей, которые возвращались оттуда; по слухам, это был настоящий ад. Людей там умерщвляли голодом, холодом и пытками. Говорили, что зимой их обливали водой, пока они не замерзнут, и т. п. Помимо всего в этих лагерях, да отчасти и в нашем, свирепствовали рецидивисты — уркаганы и бандиты, которые отбирали у остальных все, что хотели, избивали и издевались над ними безнаказанно: администрация не вмешивалась.

Помню, один хохол-конвойный нам прямо сказал: «Вас, врагов народа, привезли сюда не для работы, а чтобы уничтожить». Так, видимо, их воспитывало сталинское руководство. Одним из известных мучеников и жертв кондея и РУРа, постоянно из них не выходившим, был в Мяките молодой парень — уголовник Коля Ладонин. Высокого роста, худой, как скелет, и полубезумный. Он как-то прогонялся мимо нашей группы, сопровождаемый конвойным, — в очередной кондей.

— Коля, куда?

— На охоту!

— А где ружье?



- Попка сзади несет!
- Прощай, Коля!
- Рот Фронт, ребята!

На минуту останавливается, поднимает в приветствии руку со сжатым кулаком: «Рот Фронт!»

За что и долго ли он сидел, не знаю. Он был из беспризорников и представлял собой удивительный образец того, сколько может вынести человек. Однако психика его уже была ненормальной, хотя он всегда шутил. Начальство он люто ненавидел.

Обязательные поверки мне долго снились много лет спустя после освобождения из лагеря — около 10 часов вечера всегда было настороженное чувство ожидания какой-то неприятности, придирок и издевательств.

Шмоном на блатном языке назывались обыски. Иногда они устраивались колонне перед впуском в лагерь — тут отбирают все, что заключенные могли достать на воле, — продукты, книги, самодельные ножи т. д.

По баракам и палаткам шмоны устраивались по ночам, после 12 ночи, когда самый крепкий сон. Обыск, как правило, производили охранники НКВД, иногда с участием своего начальства.

Нас по одному будили толчком, заставляли без шума встать — в одном белье и босиком мы, несколько человек, становились у печки; в это время охранники рылись в матрасе под головами, а если у кого что и было — то в тумбочках или ящиках-сундучках. Изымались «вольная» пища, книги, газеты, записки, «вольная» одежда, ножики, иногда даже забирали уже прошедшие цензуру письма:

- Зачем вы их собираете?

Попастся с газетой было опасно — я уже говорил, что они быстро становились контрреволюционными. Однако хранили мы их не из-за статей, а как бумагу для сигарок (получали ведь махорку).

Как-то у меня нашли четвертушку «Правды», за которую меня несколько раз таскали в карцер. Что там было такое (и было ли?) — до сих пор не знаю. Выходить из барака во время шмона запрещалось. Все это было мучительно: прерванный сон, холод, боязнь, как бы чего не нашли. Один раз у меня под койкой нашли написанную на тетрадных листках «поэму» о Винглинском. Такие типы попадались и в других лагерях, поэтому эту «поэму» таскали по рукам, переписывали, чтобы увезти с собой, а переписав, клали мне под подушку. Я боялся, что ко мне придерутся, однако потом узнал, что начальство только посмеялось и оставило «поэму» у себя, меня не трогали.

Режим у нас был строже, чем у бытовиков — то есть уголовников. Если они могли пользоваться книгами, иногда смотреть кино, кое-где были даже радиоточки, то нам все это было запрещено. Впрочем, блатари были в большинстве малограмотны и книг не читали.

Книги, отобранные у интеллигенции, в конечном счете попадали к блатарям и шли на изготовление карт. Карты делались довольно искусно следующим образом: бумага нарезалась по размеру и склеивалась клеем из размоченного хлеба. Затем вырезался трафарет мастей, и с помощью химического карандаша и хлебного мякиша через этот трафарет печатались красные и синие карты. На карты шли Дарвин, Шекспир, Пушкин — все лучшее, что интеллигенция сумела привезти с собой на Колыму. Впрочем, с конца 1937 года книг уже не везли — не разрешалось. Карточная игра хотя и преследовалась, но была очень распространена среди рецидивистов — воров в законе. Играли сначала на свое, потом на чужое. Любая ваша вещь могла быть проиграна без вашего ведома. Однако это были пустяки.

В наиболее страшных лагерях, изоляторах, пересылках могли проиграть какого-нибудь (любого)

человека: проигравший должен был его убить, иначе убивали его самого. Были и еще более бессмысленные ставки: «проиграть контору», «проиграть барак» или т. п. значило, что этот барак должен быть сожжен проигравшим. Пощады тут не было: за невыполнение грозила смерть.

В наших бараках играли в «козла», а иногда в шахматы, если их не отбирали. Таджики, узбеки, кавказцы играли в свои любимые нарды.

Этим занимались обычно после работы — перед проверкой было час-полтора свободного времени. Жулики играли в карты, если только была возможность спрятаться где-нибудь.

Один раз я видел необыкновенный шахматный турнир. Мы работали по ремонту дороги; работа была не тяжелая, так как никакой нормы не было. Конвоиры располагались в конце и начале участка и обычно по очереди спали, пригревшись на солнышке. За нами никто не следил — бежать ведь все равно было некуда.

Мое внимание привлекли два человека, которые целыми часами неподвижно стояли на дороге, опершись на лопаты, но не разговаривали. Я подошел и уставился за них, думая — не заболели ли?

— Тебе чего?

— Да так...

— Проходи, не мешай! У нас турнирная.

Оказывается, они играли в уме, без доски, шахматную партию «на интерес». Выигравший получал вечернюю порцию баланды проигравшего. Один из них был студент пятого курса владивостокского института, Третьяк Сергей, второго я не знаю.

В лагере, за нашими палатками, была выделена колючей проволокой еще одна зона с одной палаткой, в которой жили шесть женщин. Вход туда для лагерников был, конечно, строжайше запрещен — калитка

находилась около вышки охранника. Также и женщин не выпускали в общий лагерь без сопровождающего.

Работали они в поселке в столовой и больнице. Большая часть из них были блатные — воровки, растратчицы, уже немолодые. Была одна только молодая девушка — баптистка, которую посадили за религиозные убеждения.

Удивительно и непостижимо, но в этой обстановке она сумела держаться порядочно, и вся окружающая грязь к ней как бы не приставала. Всякие ухаживания, приставания и угрозы со стороны лагерных придурков на нее не действовали. В конце концов в нее серьезно влюбился один парень, стал защищать ее от покушений других хахалей в поселке и вообще проявлял о ней заботу.

Работал он, кажется, электриком на электростанции. Она освободилась на год раньше его, он помог ей в постройке домика из ящиков, а когда освободился, то они поженились, достроили дом, завели хозяйство, у них появился ребенок, и жили они, по-моему, счастливо.

Остальные были, как говорится, «оторви да брось». Их обслуживал старый кубанский казак, из бывших «кулаков». Он одно время дневалил и в нашей палатке (топил печку, приносил воду и т. п.). Так вот, этот старик как-то выболтал какую-то сплетню про этих девок, а они узнали. Вечером, когда мы пришли с работы, он трясся от страха в углу нашей палатки, а снаружи неслись вопли одной из обитательниц женской палатки:

— Ах ты, старый хрыч! Только покажись, все яйца оборвем! Трепаться вздумал? Да тебе на воле ни одна б... кусок ж... с девятого этажа не покажет! Куркуль проклятый! — и т. д. и т. п.

С тех пор дед там не показывался и был переведен на другую работу.

Письма разрешалось отправлять только через КВЧ, в незапечатанном виде. Приход почты был целым событием: первые пароходы приходили в Магадан в конце мая, последние — в ноябре. Полгода почта вообще не ходила.

Когда приходили первые пароходы, на разборку почты в Магадан объявлялся аврал: мобилизовывали всех грамотных вольняшек, комсомольцев, учащихся. Лагерная почта сортировалась, проходила цензуру и только после этого развозилась по поселкам и лагерям.

От Москвы до Магадана, если не было задержек, письмо шло примерно полтора месяца, к нам же доходило к концу второго месяца (летом). Так что написать письмо и получить на него ответ удавалось в сезон один-два раза.

Получение письма было всегда огромным событием. Однако писали далеко не всем — за всякую «связь с врагом народа» НКВД страшно преследовал, и поэтому отваживались писать только самые близкие родственники, а у кого их не было — тот ничего не получал. Не получали писем и уголовники из беспризорных или детдомовцы.

Постепенно мы научились писать эзоповым языком, и родные нас великолепно понимали, а цензура ничего не замечала. Например, писали: «Слышал, что Саша Смирнов переехал к папе», то есть умер, так как папа давно умер; или «Московского Филиппова, как расстался, не вижу, не знаю, как он выглядит», то есть «не видим белого хлеба», так как Филиппов — это булочная в Москве; или «У нас уютно, чисто и тепло, как в бабушкиной баньке» — бабушкина баня была давно заброшена, полуразвалилась, и там был всегда страшный холод.

В общем, при некоторой изобретательности, можно было написать все, что угодно. Иногда в этом же духе писали и нам с «материка»: «Витя Камкин стал уже

большой, ему 10 лет исполнилось 2 сентября, получил много подарков, особенно от своего крестного — Рождественского М.». Это значило: «Вите Камкину 2 сентября дали 10 лет, много его били, донес на него Рождественский М.».

Заклученные стали получать письма об измене жен, распаде семьи. В начале зимы 1938/39 года я получил письмо от матери, в котором были слова «Твоя бывшая жена...». Я ожидал этого, не обвиняя Женю. На мое возвращение надежды не было, а ей не исполнилось и тридцати лет. О дочке, я знал, позаботятся мои родные, мама. Понимал, что Женю преследовали и унижали как жену «врага народа».

Вспомнилось также, как после того, как она уехала от нас с Лидочкой встречать Новый, 1937 год в Каширу, я сказал ей, что с этого года что-то случится и мы не будем вместе.

## **Глава 13**

### **В «командировке»**

В конце зимы меня вместе с группой из двадцати человек направили на 226-й километр — на лесозаготовки для поселка Мякит. Такие отдельно расположенные пункты назывались «командировками».

Здесь были две избушки, сложенные из бревен и покрытые сверху накатником и дерном. Пол был земляной, посредине — грубый стол и «печка» из бензиновых бочек, по краям — самодельные нары.

В отдельной избушке находился склад и жил староста или бригадир — не помню уже, как называлось это «начальство», — конечно, из социально близких, то есть уголовник.

Охраны не было никакой, проверок или обысков — тоже, не было и колючей проволоки или зоны. Избушка стояла в лесу, в стороне от трассы, и никого постороннего, кроме своих шоферов, приезжавших за дровами, у нас не было.

Работали мы от зари до зари — то есть пока было светло. Вместе со старостой жил еще повар, который варил нам баланду и выдавал хлеб. Освещалась избушка самодельными коптилками, сделанными из вставленных одна в другую консервных банок. В нижнюю банку клалась вата и наливался бензин, а по краям верхней были иголкой пробиты маленькие дырочки — как у газовой горелки. Место соединения банок замазывалось хлебом.

Эти светильники коптели, воняли, иногда взрывались, но все же хоть какой-то свет от них был. Работали мы, как правило, дружно, да иначе было и нельзя: не будешь двигаться — замерзнешь. Новички вначале старались разжечь костер и почаще греться, но

скоро мы поняли, что этого делать нельзя: костер согревал только с одной стороны, если раз погрелся — скоро замерзал снова, особенно лицо, руки и ноги.

Помимо всего греться у костра было и опасно: один раз мне пришлось идти от лесосеки до склада за пилой — это километра три-четыре. Мороз был за 40 градусов, на полпути я увидел костер, решил немного погреться (рукавицы были плохие, да и лицо мерзло). Постояв немного, пошел дальше — слышу, пахнет чем-то горелым. Осматриваюсь — ничего не вижу; как пойду — снова пахнет. Наконец почувствовал, что мне жжет плечо. Оказалось, сзади попала искра, и, когда во время хода я размахивал руками, вата в телогрейке тлела и разгоралась. Я разделся, напихал в образовавшуюся дыру снег, стал одеваться — а руки не слушаются, пальцы одеревенели, ни одной пуговицы не могу застегнуть. С огромным трудом, чуть не плача от боли, наживил две пуговицы и пошел дальше.

Минут через пятнадцать-двадцать слышу: опять начинает вонять. Пришлось еще раз раздеваться и пихать в рукава снег. Пришел на «командировку» с помороженными руками и только в избушке с трудом сумел залить водой проклятую вату.

Лес был редкий — полутайга, полутундра. В основном здесь росла уродливая лиственница; в низких местах, у речки, был тополь. Дерево от мороза становилось таким хрупким, что сучки толщиной в руку мы обрубали дубинами, без топора. Пилить умели далеко не все, еще меньше понимали, как выбрать, заточить и развести пилу, так что с плохим напарником работа совершенно не двигалась.

Выработку же приходилось давать, так как от этого зависело питание всей «командировки», и подводить друг друга было не принято.

В одной бригаде со мной работали Толя Шитиков и Сергей Леонов. Шитиков был молодой парень, росту



ниже среднего, плотный. Он раньше жил в Харбине, где работал конструктором в управлении КВЖД. После того как Япония захватила Маньчжурию и образовала марионеточное государство Манчжоу-го, работа железной дороги совершенно нарушилась, и наше правительство было вынуждено продать ее японцам. Русским, работавшим на КВЖД, предложили или выехать в Россию, или остаться работать под началом японо-маньчжуров.

Несмотря на то что люди там жили десятилетиями, еще до революции, большинство решило вернуться в Россию. Однако здесь их почти сразу всех пересажали. НКВД давал им статью ПШ — что значит «подозрение в шпионаже». Так, по одному необоснованному подозрению, без всякого суда и следствия, люди попадали в лагерь на 5-8-10 лет. Толю постигла именно эта участь. Однако он был молод, не унывал и трудился честно.

Леонов был совершенно другим, но в своем роде необыкновенным человеком. Он был сыном крупного московского профессора, врача, получил великолепное образование (окончил университет и технический вуз), работал в Физико-химическом научно-исследовательском институте им. Л. Я. Карпова. С детства знал французский язык и немного английский, которому учился в университете. Прекрасно знал математику, физику и физическую химию. Однако сидел Леонов не за политику, а по статье 162-г (хищение государственного имущества). Природные плутовство и вороватость удивительно сочетались в нем с твердым знанием точных наук. Своими «похождениями» в этой области он гордился и охотно о них рассказывал. Начал воровать дефицитные книги и справочники в Библиотеке им. Ленина, для чего изучил систему шифров — отметок на карточках, изготовил печатки и беспрепятственно выносил эти книги для продажи.

Однако в один прекрасный день шифры в библиотеке заменили, и он чуть не попался. Пришлось отсиживаться в уборной до закрытия библиотеки, а потом спускаться оттуда по водосточной трубе.

Высокий, худой, с головой, задранной вверх и наклоненной в сторону, со слегка косящими глазами, Леонов был большой нахал, но никогда не добивался своих целей силой или угрозами, а только вежливостью и хитростью.

Так, он рассказывал, как сумел пробраться на банкет, устроенный для делегатов Международной конференции по атомному ядру в Москве в 1935 году. Пользуясь знанием французского языка, после официальной части, когда все стали расходиться, вступил в оживленную беседу с Ланжевенем (ученый с мировым именем) и, не отставая от него, попал за банкетный стол, где всего было в изобилии. В Москве же была в то время карточная система, и люди голодали.

«Погорел» Леонов на воровстве платиновых тиглей. Эти тигли он таскал в своем НИИ и сбывал евреям — зубным врачам, занимавшимся частной практикой.

В конце концов кто-то из врачей попался и «продал» Леонова. Больше всего он возмущался их нечестностью.

Ему дали 10 лет и послали на Беломорканал, но оттуда он бежал, сев на поезд Ленинград — Мурманск. В вагоне достал счетную линейку, обложился бумагами, сыпал формулами, вступил в спор с каким-то инженером и, таким образом, проскочил проверку документов, которую производили в этом поезде до Петрозаводска.

Однако в Ленинграде его скоро опять схватили, добавили за побег 2 года и послали на Колыму. Жил с уголовниками, но, так как был все-таки человеком образованным, постоянно тянулся к нам; к тому же

крупные уркаганы не считали его за своего, а с мелкими у Леонова не было ничего общего.

Еще там с нами был высокий, очень красивый, но истощенный парень — Галушко, лет тридцати — тридцати пяти. Он был украинцем, родные у него погибли во время Гражданской войны, и он решил «искать счастья». Бродяжничал по Югу, потом перешел румынскую границу — по семейным преданиям, у него где-то в Париже должен был быть какой-то родственник, кажется, дядя. Конечно, до Парижа он не добрался, работал грузчиком, конюхом, чернорабочим в Болгарии и Румынии. Наконец попал в Бухарест и встретился там с русскими эмигрантами. Те ему стали помогать и в конце концов устроили в Славянский университет, который около 1921 года был создан в Бухаресте для беженцев из России и их семей.

Средства на содержание этого университета поступали из Чехословакии, Югославии, Румынии и от наших эмигрантских организаций. Галушко стал получать стипендию, летом работал и успешно окончил экономический факультет.

Получив диплом, стал работать референтом в советском торгпредстве. В его обязанности входило читать балканские газеты и составлять для посла экономические сводки. Однако вскоре в торгпредстве начались какие-то сокращения, и он стал получать полставки.

В это время Галушко пригласила к себе на хорошую работу одна крупная фирма, и он перешел туда работать инженером-экономистом. Работа прекрасно оплачивалась, перед ним открывалась хорошая карьера, но судьба готовила другое.

Молодой, видный, образованный, Галушко пользовался успехом у женщин. И вот случилось так, что на почве ревности одна любовница решила его отравить. Врачи спасли, но в результате он получил

болезнь желудка. Фирма предоставила отпуск, и он уехал на лечение в санаторий. Однако лечение затянулось, и после трех месяцев Галушко потерял свое место.

В это время (1929-1930) в Европе был экономический спад, устроиться куда-либо было трудно. В газетах и по радио много говорилось о начинающемся крупном строительстве в России. Галушко пошел в наше полпредство и предложил свои услуги. Там его встретили любезно, предложили заключить договор и направили в Харьков.

На границе встретили два агента — он был удивлен такой вежливостью, — около вокзала уже ждала машина.

— Куда мы едем?

— В гостиницу «Красная».

Покружив по городу, подвезли к железным воротам, и Галушко попал за решетку.

На протесты следователь сказал:

— Чего вы волнуетесь? Вот вы в Бухаресте читали лекции о Беломорско-Балтийском канале, место вам знакомое, туда и пошлем!

Так и сделали, а оттуда Галушко послали на Колыму. Его жена — полька из Варшавы — поехать с ним в Советский Союз отказалась, сказав: «Большевикам нельзя верить, они тебя обманут!»

Как он ее ни уговаривал, она уехала к своим, в Варшаву. Они договорились, что если все будет благополучно и хорошо, как об этом твердит московская пропаганда, то он ей напишет и она приедет к нему (срок договора был три года).

Умная полька оказалась права, а Галушко сам залез в расставленные сети. Вплоть до начала войны он получал из Варшавы посылки, плакал и бился головой о стены при этом. Переписка же с «заграницей» была, конечно, запрещена.

Был еще финн — Пустолайнен. Он ни с кем не дружил, по-русски знал только несколько слов, да и по природе был неразговорчив, отличался удивительным хладнокровием.

Когда днем начало пригревать солнышко и морозы упали до 30 градусов, он был способен завалиться спать прямо в сугроб, у обочины дороги. Иногда он сквозь зубы напевал какую-то бесконечную, унылую и монотонную песню без слов, в которой слышался шум сосен и плеск озер его родины.

Работать в лесу при морозе 40-50 градусов было трудно. В носу замерзали сосульки, приходилось их как-то оттирать, дыхание было затруднено и обжигало легкие. На ресницах тоже постепенно образовывались льдинки, и глаза становилось трудно открывать, нужно было руками оттаивать сосульки и сбрасывать их с ресниц.

Развести костер в рыхлом глубоком снегу было тоже не так-то просто, но мы скоро этому научились. Пили мы обычно из какой-нибудь наледи или незамерзающего ключа — встав на колени, прямо ртом, так как пользоваться посудой при таком морозе было невозможно.

Из живности зимой в тайге оставались только куропатки и какие-то белые воробьи. Куропатки клевали почки с деревьев, а на ночь зарывались в снег, выставив снаружи только кончики хвостовых перьев.

Ружей у нас, конечно, не было, но все же иногда удавалось достать куропатку, хотя и редко.

Зимой, как правило, стояла сухая, безветренная и ясная погода. Звезды по ночам казались особенно крупными и яркими и часто вызывали нас на разговоры о жизни в других мирах. С этой точки зрения все происходящее с нами казалось мелким, временным и ничтожным.

Маковский хорошо знал историю и, если его удавалось уговорить, мог увлекательно часами рассказывать о «днях минувших», в то время как после работы мы, растянувшись на нарах, блаженно впитывали в себя тепло от раскаленной печки. Дров здесь всегда было вдоволь, их никто не отнимал, и мы спали в одном белье — не то что в Мяките.

Галушко из чайных ящиков ухитрился ножом сделать подобие скрипки, и они с Маковским иногда вполголоса «спивали» украинские песни.

На этой «командировке» я прожил около двух месяцев.

## Глава 14

### Встречи

К весне я снова оказался в Мяките. Работали мы на разных наружных работах, потом я попал в бригаду, занимавшуюся котельной гаража и отоплением.

Здесь мы кололи и пилили дрова для Шуховского котла. Главным кочегаром был Быстров Василий Васильевич — широкоплечий мужик лет пятидесяти, с огромной рыжей бородой, походивший не то на медведя, не то на Малюту Скуратова.

В прошлом он был машинистом паровоза на Путиловском заводе, вступил в партию, участвовал в Гражданской войне, постепенно выдвинулся и перед арестом занимал должность управляющего трестом, ведавшим монтажом подвесных дорог, эстакад и крупных металлоконструкций. Бывал в командировках за границы, в Италии, и вообще был видным партийцем. Сидел по доносу за то, что в списке премированных им инженеров оказался... троцкист.

В лагере он считал себя старым большевиком, попавшим сюда случайно, и как-то сумел себя поставить так, что администрация к нему благоволила и допускала некоторые поблажки — как, например, ношение бороды, что другим запрещалось.

Уголовникам он внушал почтение медвежьей физической силой и буйным нравом — его боялись. Работал он истово, по-мужицки, не болел и был на хорошем счету у начальства.

В своей палатке он был старостой, требовал чистоты и порядка и сам много трудился над всяким «благоустройством». Перед бараками он сделал «клумбу» из осколков бутылочного стекла, кирпичей и камней. Лагерному начальству понравилось, мы считали

эту затею напрасным трудом и посмеивались тихонько, а Гланц говорил, что выведение таких узоров — яркий признак шизофрении.

С этим своим рвением Быстров иногда попадал впросак и ставил в глупое положение начальство. Иногда в лагерь наезжали комиссии, и каждый начальник лагеря стремился представить свой лагерь как «образцовый»: все работают, выполняют норму, больных нет, режим соблюдается. Улицы и дорожки подметены и посыпаны песком, в бараках чисто и т. д., не знаю, какие еще «показатели соцсоревнования» там у них были.

Но вот как-то, в период очередного «усиленного режима» для контриков, в лагере появилась высокая комиссия от Дальлага из Магадана.

Им сразу же бросились в глаза занавески на окнах и «клумба» около быстровской палатки.

— Кто здесь живет?

— Пятьдесят восьмая статья!

— О чем же вы думаете, почему для врагов народа устроили курорт, а бытовики живут у вас в грязи? Кто разрешил? Оппортунизм?

Бедный начальник лагеря Солдатов ожидал похвалы — и вдруг такой разнос! Душа у него ушла в пятки — недолго ведь и самому угодить под ту же статью!

— Виноваты, не доглядели, исправим!

— Переселить немедленно!

Когда вечером Быстров пришел с работы, в палатке хозяйничали блатари, а все вещи его и остальных, живших в этой палатке, были перетащены в загаженный и ободранный барак, где раньше жили урки.

Ну, они-то не стеснялись — если не было дров, в огонь шли доски с нар, с пола, столы — все, вплоть до крыши. Товарищи, конечно, кляли Быстрова на чем свет



стоит за его вечное стремление выдвинуться, быть лучше других.

Однако потом режим ослабевал, и Быстров опять принимался за «эстетику». Так и жили — от взлетов к падению и обратно.

По поводу этой страсти Быстрова к побрякушкам Пукк-Пукковский вспоминал слова Достоевского о том, как каторжник на Пасху чистил до блеска кирпичом свои кандалы: «Пусть и у меня будет праздник!»

Да, трудно понять психологию человека! К начальству Быстров относился с почтением — но без тени того унижения и подхалимства, которым отличался Винглинский. Лагерники звали его Василий Васильевич, а начальство — Борода. Второй страстью, кроме желания заслужить похвалу, была у него игра в домино. Играл великолепно, большей частью «на интерес», и горе было тому партнеру, который недостаточно хорошо понимал игру и не поддерживал его ходов. Тут он на глазах превращался в свирепого медведя и готов был избить несчастного.

По инициативе Быстрова в котельной сделали душевую кабинку со скамейкой и полочками. Почти сразу же этот душ приобрел огромную популярность как среди вольняшек, так и среди лагерников. Вольняшкам ходить сюда было гораздо удобнее, чем в баню, особенно женщинам, так как баня работала по расписанию — для зэков, для военных и для гражданского населения, и попасть туда можно было не каждый день.

Каждый приходящий в душ приносил чего-нибудь Быстрову — сахар, масло, белый хлеб, папиросы. Вскоре желающих стало так много, что комендатура поселка однажды вывесила «Список беременных женщин пос. Мякит» — которых пускали без очереди.

Заклученные, кроме работавших в котельной, душем не пользовались, да и не особенно стремились

помыться. Зато их интересовало другое: в досках, которыми была обшита душевая, в нескольких местах были выбиты сучки, и молодежь, изголодавшаяся по женщинам, всячески старалась «хоть разок взглянуть». Это разрешалось далеко не всем, так как было опасно — из-за возможных жалоб.

Однако вскоре женщины заметили эти «глазки» и, приходя в душ, прежде чем раздеться, тщательно затыкали или завешивали одеждой эти дырки.

После этого один жулик установил на крыше (потолке) душа большой железный абажур, якобы для лампочки; однако лампочки там не было, а на месте патрона был кусок водопроводной трубы, который проходил сквозь потолок. Через этот «перископ» любители и занимались «наблюдением за звездами».

Обнаружить этого «наблюдателя» было практически невозможно, а в случае внезапного прихода какого-нибудь начальства он всегда мог растянуться на крыше и притвориться спящим; впрочем, не зная, его нельзя было обнаружить — потолок был на высоте двух с половиной метров, выше был потолок котельной, и там было всегда темно.

Это смотрение у блатарей называлось «набраться сеанса», а заведение стали называть «кино...» со звучным, но неприличным названием. Один из дежуривших в котельной кочегаров даже объявлял программу: «Сегодня, в 6 часов, у нас выступает Нелли» (это была красивая секретарша из Управления).

Быстров все это, конечно, знал, но не принимал участия в просмотре «сеансов» и делал вид, что это его не касается. На самом деле запретить блатарям это удовольствие было не в его власти. Вольняшки, конечно, ничего не подозревали.

Весной мне повезло, и я попал на хорошую постоянную работу. Механик гаража от эков узнал, что я электрик, и устроил меня в электроцех. Цех

представлял собой длинную комнату размером примерно три метра на десять, отгороженную около одной из стен гаража, с окнами на улицу. Старшим у нас был Миша Корнев, красивый, высокий молодой парень, лет двадцати четырех, сидевший по какой-то бытовой статье. За его красоту, хороший цвет лица и способность краснеть и вспыхивать некоторые его звали Машей, на что он очень сердился.

Особенно к нему был равнодушен один шофер, Белых (по кличке Белуга), сидевший по статье 59-3 (бандитизм на транспорте). Он его постоянно изводил, но в то же время как-то отечески о нем заботился, исполнял его капризы и, если привозил что-нибудь из рейса, обязательно с ним делился. По-моему, Корнев напоминал ему какую-то любовь, которая у Белуги осталась на «материке».

Грязной и тяжелой работы Мишка не любил, старался от нее отделаться, зато очень любил «нарядиться», а также «с огоньком» прокатить машину.

Вторым был Васька по прозвищу Рыло — вор из беспризорников. К нам он попал каким-то образом с приисков, где тоже работал автоэлектриком. Это был приземистый парень с очень грубым лицом, на котором на первый взгляд не видно было ума, однако очень спокойный и изобретательный в технике. Мы вместе с ним сделали много приборов и аппаратов для контроля и ремонта электрооборудования автомашин.

Еще был Гриша Горелов — тоже молодой парень. Он уже много лет сидел по разным лагерям, был очень трудолюбив и исполнительен, но туповат и сравнительно простую неисправность самостоятельно найти никогда не мог.

Наконец, был еще один очень красивый, добрый и доверчивый мальчик — Сенечка Бэла. Он, кажется, был родом из Крыма, родных у него никого не было, сидел он за бродяжничество. Он всегда был готов помочь или

оказать услугу своим товарищам. Иногда это выражалось самым неожиданным образом. Так, например, как-то около гаража остановилась машина, шедшая на прииски; там были продукты, и в частности сушеные фрукты.

Кто-то из нас сказал: «Хорошо бы компотику отведать». Через десять минут Сенечка притащил мешок фруктов — украл у всех на виду, хотя это было опасно: за такие вещи — и чем дальше, тем строже — «пришивали статью» и добавляли срок. Тем не менее у наших ребят бывала и мука, и растительное масло, и даже сахар.

Со своих машин, конечно, не воровали, но свои шоферы часто ухитрялись присвоить часть продуктов при сдаче на склад или базу и делились с нами. Способов тут было много. Например, сахар старались получить днем или под вечер, в сухую погоду. А перед прибытием на место назначения старались постоять ночью около речки, сахар жадно впитывал влагу, и мешок можно было сэкономить.

Во время стоянки машин в гаражах на мелких ремонтах было очень трудно уберечь продовольственные грузы от расхищения, несмотря на охрану и все усиливающиеся строгости.

Поэтому машины с продуктами крайне редко заходили на ремонт — разве только в случае крайней нужды. Своего брата заключенного еще щадили, а если водителем оказывался чужой вольняшка, то устраивалось непрерывное опробование моторов, в гараже становилось темно от газов, невозможно дышать, одуревший шофер вместе с сопровождающим выскакивали на улицу, а в это время машину «курочили».

Постепенно особо ценные грузы — сахар, масло, папиросы, консервы — стали отправлять таким образом: мешки и ящики, погруженные в кузов, сверху

покрывались брезентом и обвязывались веревками. Наверх сажали солдата с винтовкой. Шофер тоже отвечал за сохранность груза, и один из них ни на минуту не отлучался от машины.

Тем не менее даже с такой машины у нас как-то украли несколько ведер сахарного песка, причем ни шофер, ни охранник ничего даже не заподозрили. А сделать это было на редкость просто: машину загнали «для профилактики» и смены рессор на смотровую яму (это узкая траншея полтора метра глубиной от пола, чтобы можно было работать под машиной). На брезенте с грузом сидел охранник, шофер был в кабине. Снизу, из ямы, ножом через щели в полу кузова прорезали мешок, и сахар стал сыпаться в ведро. Вся «операция», включая и ремонт, продолжалась каких-нибудь сорок минут. Недаром на Колыму попадали главным образом вору-рецидивисты — они знали дело!

В нашем гараже, да и вообще в УАТе, работало много способных и ловких ребят, а также хороших техников. Железных дорог ведь здесь не было, и доставка грузов из Магадана по всей трассе, вплоть до самых отдаленных приисков, осуществлялась только автомашинами. А чтобы заставить автомобили работать в условиях Колымы, с ее длинной снежной зимой при морозах ниже 50 градусов, нужна была и самоотверженность, и отличное владение техникой, находчивость, выдумка и смекалка. Поэтому слесарей, шоферов и специалистов здесь ценили и старались, чтобы они не попадали на прииски. С другой стороны, и мы, заключенные, дорожили этой работой — здесь нам перепало кое-что со стороны, на работе к нам относились по-человечески и даже с уважением, и мы были в курсе всех событий — как колымских, так и союзных, так как общались со многими людьми.

Кроме электроцеха в гараже еще был моторный цех, цех шасси и кузовной цех, а также механическая

мастерская. Во всех этих цехах работала Пятьдесят восьмая статья.

Главным механиком работал А. А. Корейщиков — родом из Твери, бывший заключенный, человек мягкий и несмелый. Начальником был вольнонаемный Николай Кузьмич — фамилию не помню, молодой энергичный человек, из бывших шоферов или механиков. Оба они относились к нам очень хорошо и в меру возможности защищали от лагерной администрации.

Движением машин распоряжалась диспетчерская, где работали бытовики — уголовники, осужденные на 5-10 лет. Помню одного из них, Эсселевича, — невысокий еврей или белорус (как он себя считал) с большой черной бородой, живой и подвижный. Он посажен был за то, что под видом инкассатора объезжал перед закрытием магазины и забирал у кассиров деньги. Всю «технику» и порядки он, конечно, великолепно изучил и попался только случайно. Он очень хотел выучиться на электрика, все просил меня взять его в электроцех. Я его научил ремонтировать аккумуляторы, потом он из старых ящиков построил себе «мастерскую» и зажил припеваючи, так как аккумуляторы были очень дефицитны, и на них можно было хорошо заработать, поесть и выпить.

Здесь же я познакомился, а потом и подружился с одним замечательным парнем. Звали его Грэй Виктор Львович. Это был высокий, худой, с большим носом и близко посаженными черными глазами, общительный, веселый, но и очень вспыльчивый человек. Родом из Минска; отец был, кажется, военным и погиб, когда Грэй был еще маленьким. Мать была каким-то крупным работником в области, подробностей он не рассказывал.

Живая, деятельная натура Грэя и его недюжинный ум были, видимо, причиной того, что в школе на него смотрели вс более косо, придирались; в конце концов

его исключили из школы, признали «дефективным» и направили в спецшколу для «дефективных».

В то время школьников воспитывали в соответствии с постулатами педологии — считавшейся передовой наукой. В школьных программах царил хаос — Толстой, Есенин, Тургенев, Бальмонт, все западные классики клеймились как «идеалисты», история подменялась вульгарной и безграмотной политграмотой. Вместо настоящего учения внедрялось «жевание мочалки», проводились разные мероприятия и кампании. На уроках труда тринадцати-пятнадцатилетних ребят заставляли вырезать звезды из бумаги и тому подобную ерунду.

Дураков это устраивало, а способных ребят возмущало, и они старались найти выход своей энергии в поступках, которые клеймились как «антиобщественные».

Если о «нормальной» школе Грэй говорил обычно с отвращением, то со школой для «дефективных» у него были связаны самые лучшие воспоминания.

Окна школы выходили на базарную площадь, где собиралась толкучка (о мудрое начальство!!). В то время как в обычную школу он часто опаздывал и шел из-под палки, эту школу вместе с другими учениками он осаждал уже за час до открытия. Здесь они были на равных правах, никто не делил их на «нормальных» и «дефективных», педологи и носа своего сюда не показывали; ученики, как «отпетые», пользовались относительной свободой. Среди учителей попадались энтузиасты — последователи Макаренко, которые старались привить ребятам любовь к знаниям, книге и держались с ними по-товарищески. Однако общее положение школы было таково, что она мало что могла сделать практически. Идей Макаренко тогдашняя педагогика не признавала и не понимала, директором школы обычно назначался какой-нибудь

проштрафившийся партиец, оборудованием и учебными пособиями она обеспечивалась в последнюю очередь, преподаватели «хороших» школ сюда не шли, а горОНО смотрело на нее как на неизбежное зло, которого лучше не замечать. Такая обстановка, сборный со всего города состав, соседство с толкучкой, отсутствие сознательной дисциплины толкали ребят к уличным приключениям, сомнительным знакомствам и связям с воровскими шайками. В одну из таких шаек попал Грэй и был задержан при попытке ограбления магазина. Так он попал в колонию, бежал оттуда, был пойман и посажен в тюрьму — и был втянут тем безжалостным конвейером, который официально назывался «системой перевоспитания».

Общение с уголовниками, издевательства и побои со стороны начальства, клеймо правонарушителя уже не давали возможности вырваться из этого заколдованного круга.

Грэй озлобился, стал вспыльчивым. Хорошо узнал низкие и грязные стороны человеческой натуры. Тем не менее то хорошее, что было заложено в его душе, уцелело и не поддавалось окружающей грязи. Он выучился играть на трубе, работал на токарном станке и очень много читал. Болезненно чуткий ко всякой несправедливости, ненавидевший «знатных», богатых и всякое начальство, он увлекался героями Шиллера, Байрона, Дюма и А. Грина.

Когда выдавалась свободная минута, мы с ним часто болтали о живых и литературных героях. Больше всего его интересовали те случаи, когда та или иная личность скрывала свое истинное подлое и злодейское нутро под личиной идеологии и благородства. Вспомнили мы и отцов-иезуитов, Калиостро, конкистадоров, Ивана Грозного, современников и, наконец, Сталина и его окружение.



Однако это имя произносить было слишком опасно, мы обычно говорили про «бриолин» — по ассоциации: Сталин — усы — помада — бриолин. Постепенно таким условным языком мы научились говорить о чем угодно, не внушая никому никаких подозрений, а только прослав чудачками.

Нам, контрикам, читать книги, газеты и посещать кино было строго запрещено («И так слишком умные», — говорило начальство).

Бытовики же и уголовники могли пользоваться небольшой библиотекой, имевшейся в КВЧ. Впрочем, книг там было очень мало, и они быстро таяли — их рецидивисты переводили на карты.

В начале 1937 года, зимой, в наш лагерь привели несколько новичков — бывших заключенных, недавно освобожденных по окончании срока и работавших в ближайших поселках. Их схватили в один день, не предъявили никаких обвинений, не вели следствия, а просто взяли из квартир, посадили на машину и привезли в лагерь. Пять человек сунули в наши палатки — «врагов народа». На переключках, поверках, когда спрашивали: «Статья? Срок?», они отвечали: «Не знаем — скажите!»

В ответ неслись брань и угрозы.

После месяца или двух такой волюнки им наконец объявили, что за «контрреволюционную агитацию» они снова посажены на срок 5 лет и больше. Конечно, подписать что-либо они отказались. Так действовали «славные органы» под руководством «великого, мудрого вождя» самой гуманной и справедливой партии, строившей социализм в нашей передовой стране. Единственной виной этих людей было то, что они «уже сидели», впрочем, конечно, тоже без вины.

Один из них — ленинградский автоинженер после освобождения работал главным инженером автобазы в поселке Стрелка — это километров семьдесят от нас к

северу. Звали его Колосов Александр. Недавно к нему приехала жена, и они ждали ребенка. Он сильно за нее переживал, однако помочь ничем было нельзя.

С другим — Айвазяном Артаваздом Тевосовичем я познакомился ближе после следующего случая. Как-то вечером, после работы, кто-то из «гнилой интеллигенции» — всезнайка вроде Винглинского — начал плести в бараке какую-то несусветную ерунду насчет атома, строения материи и т. п. Это наглое невежество меня возмутило, и я крикнул ему со своего места: «Не брешь о том, чего не знаешь, заткнись, пока не заткнули!» или что-то вроде этого. Тот поворчал, но умолк, а потом, смотрю, ко мне подходит небольшого роста бородатый армянин, садится рядом, предлагает закурить и говорит: «А все-таки интересно, как это на самом деле устроено?»

Понемногу мы разговорились. Он был очень похож на Пушкина — какие-то бакенбарды, большой нос на худом лице и удивительные глаза, которые смотрели с ожиданием, любознательностью и вниманием к собеседнику. Очень скоро мы с ним подружились. Происходил он из бедной армянской семьи, жили они недалеко от того места, где на реке Аракс сходятся турецкая, наша и персидская (иранская) границы.

Как это было принято у многих поколений армян, мальчишкой-подростком он решил уехать искать счастья за границу. Однако ни денег, ни официальных документов у него не было, и он решил уйти пешком — благо близко. Было это в середине 20-х годов, во время НЭПа. Если перейти Аракс прямо, то попадешь в Турцию, которая в то время перебежчиков выдавала обратно; кроме того, была еще памятна последняя резня, которую турки устроили армянам в 1919-1920 годах.

Можно было попасть в Иран — для этого нужно было пройти немного вниз по реке Аракс турецким берегом и

затем перейти приток, который служил границей Турции с Ираном.

В летнее время и Аракс, и его притоки очень мелководны и почти пересыхают. Так вот, по задуманному плану, Айвазян ночью перешел Аракс, прошел зарослями несколько километров и опять перешел речку, думая, что попал в Иран. Однако, когда на рассвете он двинулся дальше от берега, его встретили... наши пограничники. Оказалось, в темноте он заблудился и перешел Аракс два раза: туда и обратно.

По молодости в то время это ему сошло с рук. Потом Айвазян попал в театральное училище и стал учиться на кинорежиссера, детская страсть к путешествиям и приключениям была забыта, и человек как будто бы видел перед собой правильную дорогу.

Однако, как оказалось, этого не забыл НКВД, и в 1933 году Айвазяна посадили на 3 года за «подозрение в шпионаже».

Это был человек редкой доброты и отзывчивости, с теми представлениями о добре и зле, о справедливости, которые бывают, и то не у всех, только в детстве.

Если он видел кого-нибудь в беде, то не раздумывая устремлялся на помощь. Когда ему удавалось достать какой-нибудь лишний кусок, непременно старался поделиться с соседями.

Он хорошо знал наизусть много отрывков и даже целые поэмы Лермонтова, Пушкина, Байрона, Туманяна и других поэтов. Все эти качества часто служили причиной того, что ему доставались от начальства незаслуженные обиды и наказания.

Постепенно мы с ним подружились, я его звал Арто, он меня — Володя. Сейчас не могу хорошо вспомнить, но, кажется, его освободили и выпустили из лагеря меньше чем через год. После освобождения он устроился бухгалтером в Управлении и часто мне

помогал, приносил еду, переводил за меня домой деньги, приходил поболтать. Жив ли он теперь? Не знаю...

Слышал, что во время войны его опять бросили в лагерь и, кажется, он погиб. Однако хочется верить, что это не так.

## Глава 15

### Лагерные будни

Я, конечно, не вел никаких дневников, поэтому не могу описать нашу жизнь день за днем или даже год за годом.

Вспоминаются только отдельные события — может быть, и не самые значительные, но каким-то образом оставившие след в памяти.

Помню, ранним утром в начале зимы мы выходим в наш гараж на работу. Туман, мороз за 45 градусов. На площадке перед гаражом — кучка людей, человек пятьдесят, — видимо, прибывшие с последними пароходами — в окружении конвоя и собак. Почти все обморожены, некоторые бессильно опустились на землю. Две машины, на которых их везли, сломались и ожидают ремонта, людей же ни покормить, ни обогреть не предусмотрено. Начальник конвоя орет на шоферов, но на морозе никакой ремонт не возможен, а в гараже пока нет места — готовят к выходу свои машины и автобусы.

— Люди следуют на Малдьяк!

Малдьяк был одним из таких приисков, которые снискали себе славу лагерей смерти. Позже я узнал, что из четырех тысяч завезенных туда осенью заключенных к весне осталось в живых не более пятисот.

Иногда людей из нашего лагеря мобилизовывали для расчистки трассы от снежных заносов. Однажды в такую группу попал и я. Нас сняли с работы раньше положенного времени, погрузили на грузовую машину и повезли в сторону Атки. Поздно вечером в темноте мы добрались до перевала Дедушкина Лысина. В распадке между голых гор разбросано несколько домиков — «командировка» дорожников. Машины сразу же

развернулись и пошли обратно в надежде успеть вернуться, пока пурга не замела дорогу окончательно. Пурга надвигалась со стороны Магадана, но здесь еще не набрала силу. Мы забрались в один из домиков, где жила бригада дорожников.

В середине стояла огромная железная печь-бочка, под потолком тускло горела самодельная коптилка, сделанная из консервной банки, по краям единственной комнаты, у стен, стояли нары, на которых спали отработавшие днем дорожники. Мы кое-как устроились на полу, хотя лечь было негде, и задремали. Нас подняли часа через два — что-то около полуночи — и выгнали на улицу. За это время погода сильно ухудшилась: пурга бушевала всюду, как будто со всех сторон в лицо лопатами бросали острые, колющие льдинки.

Местный бригадир или староста выдал нам лопаты, и мы двинулись на трассу. Как только мы поднялись из распадка на дорогу, ветер с яростью набросился на нас и, если находил в одежде хоть малейшую дырку или щелку, пронизывал до костей. Но нужно было еще как-то защитить лицо. Дорожники, работавшие на дороге постоянно, обычно выходили на работу в самодельных масках, сшитых из старых телогреек. Маска имела три отверстия — для глаз и рта — и очень походила на ку-клукс-клановские капюшоны, только была еще безобразнее. Сверху надевалась шапка-ушанка.

У нас же таких масок не было, и мы старались идти боком, прикрываясь лопатами. На перевале был настоящий ад: местами дорога была выметена почти до основания, а местами сплошь перегорожена глубокими сугробами. Лопатами в такое время тут ничего нельзя было сделать: ветер мгновенно сдувал снег с лопаты и старался вырвать ее из рук. Кроме того, работать приходилось почти вслепую, так как ничего не было видно. С одной стороны был «прижим» — крутая скала,

с которой свисали грозящие обрушиться лавины снега, с другой — обрыв в пропасть.

Работа была бессмысленной, очистить ничего не удавалось, но, чтобы не замерзнуть, нужно было двигаться. Встречный ветер постепенно погнал нас назад, к «командировке». Однако в домики нас не пустили и опять выгнали на трассу.

Так мы уходили и возвращались несколько раз. У многих оказались обморожены лицо и руки. Перед рассветом нас наконец оставили в покое, я забрался в домик работяг и прикорнул на полу полулежа. В 7 часов дорожники начали вставать и готовиться к выходу на работу. С нар, около которых я сидел, встал плотный мужчина и поставил на печку чайник. Когда чайник вскипел, он поманил меня рукой, поставил кружку, накрытую куском хлеба, и сказал: «Чай, пожалуйста».

Меня удивил английский акцент и вежливость. Я спросил:

— Откуда вы?

— Из Канады!

Вскоре он вместе с другими ушел на работу, а мне указал свое место на нарах: «Ложитесь, спите». Это был один из секретарей ЦК Компартии Канады тов. Федак. За коммунистическую и антиправительственную деятельность ему было предъявлено обвинение, по которому угрожал год тюрьмы и денежный штраф. Он был отпущен под залог, нанялся матросом на японское судно, а потом добрался до Владивостока, где и сошел на берег «земли обетованной».

Приняли сначала хорошо, дали денег и отправили в Москву. Ну, а в Москве им занялся НКВД. Шел 1937 год... Федаку было предъявлено обвинение в незаконном переходе границы с целью шпионажа, и Тройка дала ему 5 лет ИГЛ по статье ПШ.

Так он попал на Колыму, где и изучал коммунизм уже не в теории, а на практике. Федак был

малоразговорчив, да еще и плохо знал русский язык, но очень радовался, когда я сумел несколько фраз сказать ему по-английски. Его историю я узнал главным образом от его соседей, так как сам он говорил очень неохотно.

Днем пурга утихла, мы расчистили трассу, а на следующий день уехали в Мякит.

За это время случилось несчастье с Грэем. За какие-то дерзости его перевели в конвойную команду, которая работала на корчевке мерзлых пней и добыче песка около речки Мякит, за поселком.

Здесь он зашиб себе ногу (потом оказался перелом) и не мог ни идти, ни стоять. Конвоиры — хохлы — посчитали это за симуляцию, били его прикладами. Когда колонну повели домой, он сначала шел, волоча ногу и опираясь на соседа, а потом, видно, стало невмоготу, и он уселся на снег. Это уже считалось нарушением режима.

Колонна остановилась, его снова начали бить, и он потерял сознание. Немецкие овчарки, которые по команде конвоя рвали на нем одежду, пока он как-то сопротивлялся и двигался, теперь отошли и залегли в снег, злобно ворча. Конвоир, чтобы убедиться, что зэк подох, подошел и два раза ткнул его штыком в спину. После этого колонну погнали в лагерь, а Грэя бросили лежать на морозе, как покойника. Его заметил проезжавший на лошади с хворостом один из работяг, погрузил на сани, прикрыл ветками и привез в больницу поселка. Тем временем конвойные подали рапорт о «попытке к бегству», и за телом была выслана команда *ангелов*.

У ангелов были сани, впрягшись в которые они возили и сдавали покойников в морг. Однако никакого тела они не нашли.

По тревоге была поднята охрана, и скоро конвоиры явились в больницу с требованием немедленной выдачи Грэя. Однако здесь они натолкнулись на решительный



отказ главного врача. Эта мужественная вольнонаемная женщина выгнала их из больницы, заявив, что не даст издеваться над больным и раненым и будет жаловаться в Москву.

Муж у нее был каким-то крупным военным, и ее не решились трогать. Благодаря ее заботам и вниманию Грэй так и остался в «вольной» больнице и через пару месяцев встал на ноги.

Среди наших лагерников был один негодяй, которого боялись и ненавидели все. Это А. Стефанович, он сидел по статье ПШ. Раньше он работал редактором газеты в Белорусском военном округе. Плюгавый, отвратительный карлик, Стефанович был сексотом, занимался доносами и за это получал разные льготы от лагерной администрации. Все-таки кончил он тем, что его утопили заключенные в речке, когда он попал на лесозаготовки.

Летом я чуть не угодил на прииск. Обозлившиеся лагерные придурки включили меня в список на этап, и нас отправили. Ребята узнали об этом и сказали нашему начальству. Зав. гаражом Кузьмич, возмущенный тем, что его не спросили, немедленно сам отправился вдогонку на отдельном автобусе. Нагнал нас в поселке Стрелка. Он каким-то образом сумел забрать меня, накормил в столовой и к вечеру привез в Мякит. Так я чудом спасся, и больше меня не решались трогать.

## Глава 16

### Война

Ночью внеочередной подъем и обыск. Необычная строгость и спешка. Узнаем: началась война. Режим сразу усилился. От бытовиков, работавших в УРЧ, узнаем, что составляются режимные списки для зэков.

Первый список — отправка на фронт.

Второй список — усиленный режим, работа только под конвоем.

С осени 1941 года на Колыму стали попадать заключенные-фронтовики. Один из них — по кличке Лейтенант Черная Борода. Он организовал банду, которая останавливала на шоссе и грабила машины, оставляя записку: «Груз получил сполна. *Лейтенант Черная Борода*».

Поздней осенью 1941 года я увидел в проезжавшей машине лагерника — оказалось, бывший полковник Генштаба, освобожденный из лагеря и вызванный в Москву.

Весна 1942 года. Мой срок кончался 12 мая, однако надежд на освобождение было мало. Обычно перед окончанием срока нас, контриков, вызывали в спецчасть и предъявляли постановление Тройки о новом сроке без предъявления какого-либо обвинения.

Так, в подвешенном состоянии, почти без надежды, прошли май, июнь и большая часть июля. И вот наконец 28 июля 1942 года меня освобождают — как раз в день моих именин. Друзья радостно принимают в свою комнату, выделяют кровать. Отправляю телеграмму домой — теперь я вольняшка.

Вскоре получаю из Магадана назначение инженером на строительство Аркагалинской ГРЭС — двести

километров на север. Здесь мне предстояло жить более четырех лет.

Но это уже другая история.

# **Н. Н. Болдырев**

## **Зигзаги судьбы**

# Глава 1

## О моих предках

Мой отец, Болдырев Николай Николаевич, родился 9 июля 1884 года в селе Украинцево Инсарского уезда Пензенской губернии, в усадьбе своей бабушки, Ольги Васильевны Литвиновой, в девичестве Устиновой.

Отец моего отца, тоже Николай Николаевич, по образованию юрист, был дворянин в третьем поколении. Он не мог похвастать именитой родней, ибо предки его были простые донские казаки. В воспоминаниях моих родителей это были хорошие служаки, храбрецы и авантюристы.

Начало дворянской «династии» Болдыревых положил прадед моего отца, лихой донской казак Болдырев Василий Яковлев. За подвиги, совершенные им во время суворовского перехода через Швейцарские Альпы, император Павел I пожаловал ему дворянский титул и вотчину в Полтавской губернии — села Крутец и Васильевское. У него было трое детей: Мария, Ольга и Николай.

Николай Васильевич Болдырев, дед моего отца, родился в 1814 году. Блестяще окончив военно-инженерное училище в Петербурге, а затем офицерские классы, он был оставлен при училище, преобразованном затем в Николаевскую Военно-инженерную академию Генерального штаба, где с 1838 года преподавал математику, геодезию, а затем фортификацию. Строительство крепостей по западной границе России курировалось Николаем Васильевичем.

В конце 1860 года он был приглашен во дворец по распоряжению императора Александра II — чтобы читать лекции по фортификации наследнику Николаю. Со смертью наследника в 1865 году, Николай

Васильевич вновь читает лекции другому сыну Александра II, будущему императору Александру III.

Он вышел в отставку в 1879 году, имея чин инженер-генерал-лейтенанта, звание заслуженного профессора и члена конференции Николаевской Военно-инженерной академии Генерального штаба. У него были почти все награды Российской империи, включая высшие ордена — Белого орла и Александра Невского. Умер Николай Васильевич в 1882 году.

У него было четыре сына и дочь. Старший сын, Василий Николаевич, окончил в 1867 году юридический факультет Петербургского университета. Он любил устраивать кутежи, изумляя чопорных петербуржцев своим разгулом и эксцентричными выходками: то летом прикажет посыпать Невский проспект солью и на лихаче, в санях, катает опереточных актрис, то в компании сверстников, купеческих сынков, устраивает «египетские ночи» в ресторанах. Ему все сходило с рук, даже полиция не вмешивалась. Однажды, проезжая на лихаче по Невскому проспекту, он был остановлен двумя молодыми монашками, собирающими пожертвование на построение храма. Опустив сторублевку в церковную кружку, он мгновенно подхватил черноризниц под руки, усадил рядом с собой и помчался дальше с полумертвыми от страха монахинями. Случай дошел до митрополита, и прокурор Святейшего синода Лукьянов распорядился, чтобы он покинул Петербург в двадцать четыре часа, и определил ему местожительством город Благовещенск. Там он и умер в 1928 году.

Второй сын — Петр, кавалерийский офицер, был убит взбесившейся лошадью при выезде ее под седло.

Третий сын — Сергей Николаевич жил в деревне в своем имении в Пензенской губернии, был женат на крестьянке — собственной крепостной.

Четвертый сын — Николай Николаевич окончил в 1875 году Императорское училище правоведения в Санкт-Петербурге. В 1884 году он возвратился в Пензу, в свое имение Крутец, служил по земству. Его женой стала выпускница Смольного института благородных девиц Вера Дмитриевна Литвинова, моя будущая бабка. Она происходила из старинного дворянского рода. Умер дед довольно рано, оставив жену и четверых детей почти без средств.

Мой отец, окончив Вторую Пензенскую классическую гимназию в 1902 году, поступает в Московский университет на физико-математический факультет. Революционное движение 1905 года захватило студенческую молодежь, и отец в составе студенческой дружины участвует в спасении раненных во время боев на баррикадах Красной Пресни, за что был исключен из университета с «волчьим билетом», то есть без права продолжения учебы, и был вынужден зарабатывать деньги, давая частные уроки. Почти шесть лет ему пришлось изворачиваться, добывая средства на жизнь. Тайком он продолжал посещать лекции в университете. В начале 1911 года опала снимается, и ему разрешают сдать экстерном экзамены за весь курс университета. Экзамены сданы, получен диплом с назначением в Ковенское сельскохозяйственное училище преподавателем химии и технологии. В этом же году отец женится на своей двоюродной сестре, Надежде Николаевне Кропотовой, окончившей Саратовский институт благородных девиц.

Моя мать происходила из старинной дворянской семьи, род которой был занесен в «Бархатную книгу» дворянства наравне с теми, кто ведет свой род от Рюрика.

Мой прадед, дед моей матери Сергей Михайлович Кропотов, служил в лейб-гвардии Гродненском гусарском полку в чине корнета. В 1840 году к ним в

полк переводится с Кавказа поручик М. Ю. Лермонтов, его дальний родственник, с которым, по рассказам очевидцев, у моего прадеда завязалась большая дружба (см. «Лермонтов в воспоминаниях современников», издано в наши дни)<sup>[1]</sup>.

В 1849 году С. М. Кропотов был привлечен к следствию по делу петрашевцев и отправлен в отставку. За отсутствием прямых улик он был лишь выдворен в город Саратов и поселился в своем богатейшем имении. В том же году он всем своим крестьянам дал вольную, наделив их землей без всякого выкупа.

Связанный дружбой с Н. Г. Чернышевским, когда последнего в 1862 году заключили в Петропавловскую крепость, мой прадед взял на обеспечение его семью — жену, Ольгу Сократовну, и двух его сыновей (дал им возможность получить высшее образование).

Сергей Михайлович Кропотов был женат на Марии Васильевне Устиновой — родной сестре моей прабабки, Ольги Васильевны Литвиновой. Его сын, Николай Сергеевич Кропотов, окончил Московский университет, потом служил в гренадерском Самогитском полку, был участником Русско-турецкой войны, брал Плевну. Выйдя в отставку, он женится на Александре Дмитриевне Литвиновой — родной сестре матери моего отца.



## **Глава 2**

### **Наша жизнь в Омске**

В городе Ковно мои родители жили до 1915 года. Летом этого года немцы прорывают фронт и стремительным наступлением перерезают железные дороги, связывающие город с центром России. Ковенское сельскохозяйственное училище вместе с остальными беженцами пешим порядком добирается до Паневежиса, оттуда поездом в Москву. Из Москвы мать с моей старшей сестренкой спешит в Пензу, к родным, а отец, получив назначение в Омское сельскохозяйственное училище, выезжает к месту новой службы.

28 ноября 1915 года в селе Украинцево Пензенской губернии родился я. В 1916 году мать уже с двумя детьми переезжает в город Омск к отцу.

В этот год отец совместно со студентами закладывает парк-питомник на опытном поле училища, оборудует водопост (гидромодульную станцию) на Иртыше, исследует почвы.

В России совершается революция, происходит свержение монархии, власть переходит к Советам, в Сибири — к эсэровской Сибоблдуме. Новые потрясения, новые перевороты. В сентябре 1918 года Сибоблдуме сменяет Директория, учрежденная в Омске по инициативе Самарского, Екатеринбургского и Сибирского правительств. 18 ноября 1918 года в результате переворота Верховным Правителем России избирается адмирал Колчак.

Осенью 1919 года весь преподавательско-студенческий состав сельскохозяйственного училища мобилизуется для несения внутренней охраны. Через два месяца колчаковское правительство пало, и отец

добровольно вступает в Красную армию. В декабре 1919 года под станцией Чик он получил тяжелое ранение в обе ноги, лечился в Новониколаевском лазарете.

За время отсутствия отца нам пришлось переменить квартиру и поселиться на улице Съездовской, около спуска к мосту через реку Омь. Мать устроилась на работу в губпродком (начальником губпродкома был Смолин), чтобы иметь какой-то заработок и обеспечить семью.

Летом 1920 года вернулся из госпиталя отец с ампутированной ногой. Устроиться на работу он не мог, так как раны его еще не зажили. На город надвигался голод, и отец решил принять предложение двух предприимчивых немцев, Киндсфатера и Либриха, пригласивших его как химика вступить в мыловаренную артель.

Получив согласие, всю нашу семью перевозят в немецкое село Побочное Одесского района Омской области, где отец стал варить мыло, а компаньоны снабжали его сырьем. Дело шло успешно, но в 1921 году голод пришел и в село. Хлеба не было. Мать с отцом каким-то образом «нажали» осенью просянки и мышея (народное название сорняка) и из семян просянки намолотили муки, из которой пекли хлеб зеленого цвета. По деревням бродило много нищих в поисках пропитания, и мне запомнился один эпизод: нищему, попросившему еды, сконфуженная мать подала кусок хлеба-суррогата и, извинившись, что ничего другого в доме нет, кроме хлеба из мышея, получила ответ: «Милая, мы не только мышей поели, трупы людей ели, спасаясь от голода».

Большим праздником в нашей семье было появление на столе жмыха (макухи) или мяса павших животных. Порой крестьяне делились с нами скудной едой вроде лепешек из картофельной шелухи или хлебом из мякины (сметком).

Дела артели шли на лад. Изготавливали мыло различных сортов — мраморное, обычное для стирки, туалетное, — которое компаньоны успешно реализовывали в селах и в городе.

Весной 1922 года отца пригласили на преподавательскую работу в Омский политехнический техникум и в Коммунистический университет. С ликвидацией Омского политехникума и переводом Коммунистического университета в Свердловск (примерно в 1925 году) отец получает место преподавателя химии в школе и одновременно работает по совместительству в индустриальном техникуме.

В 1930 году он получает кафедру в ветеринарном институте, и мы переезжаем в дом, принадлежащий ОВИ — Омскому ветеринарному институту, по ул. Тобольской, 47.

Шли годы «великого перелома», коллективизации, раскулачивания, и ежедневно мы могли наблюдать из окон новой квартиры, как вели бесконечные колонны заключенных в тюрьму на Тобольскую, 72, или на вокзал — на этап.

Город был тогда наводнен голодными казахами-кочевниками, сидевшими в скверах города, — от аксакалов до малышей; они протягивали жестяные банки прохожим для подаяния и молили: «Ой, пап-мам, курсак сапсим пропал».

Мой отец, видя все это, совместно с персоналом медиков клиники Омского медицинского института и клинической аптеки организует бесплатную столовую для голодающих. «Подпиточный» пункт просуществовал недолго. Организаторов столовой вызвали в НКВД, где им было строго предложено прекратить самодеятельность, и тем самым казахам предоставилась возможность умирать от голода. В те времена появилась ядовитая частушка:

Когда раньше был киргиз,  
Ел я мясо, пил кумыс.  
А теперь я стал казак,  
У меня пропал курсак.

Время было тяжелое, приходилось вставать в 3 часа утра, чтобы занять очередь за хлебом. Продукты на базарах исчезли, жили впроголодь.

## **Глава 3**

### **Роковой «побег в Америку»**

В 1930 году по ускоренной программе я заканчиваю 7-ю и 8-ю группы школы «В память Парижской Коммуны». Школу ликвидируют, и на ее базе приказом Наркомпроса создается финансово-экономический техникум. Профессия финансиста меня не устраивала, и я поступаю в ФЗУ при электромастерских Омской железной дороги. Мой товарищ по школе, Олег Спиридонов, продолжать учебу не собирался и, начитавшись приключенческих романов, решил сбежать в Америку, на Клондайк. Он и его приятель, Станислав Зайковский, сын профессора сельскохозяйственного института, предложили мне принять участие в задуманном ими побеге. Я категорически отказался, так как не хотел уходить из дома, был связан с учебой и вообще покидать Родину не собирался.

В один прекрасный день до меня дошли слухи, что оба моих знакомя бежали из дома в неизвестном направлении, причем Зайковский обокрал родителей и лабораторию своего отца, забрав все золотые вещи. Родители беглецов сообщили о побеге в милицию и просили оказать помощь в розыске детей. В омской газете «Рабочий путь» несколько дней крупными буквами печаталось объявление: «Станислав, вернись!» Через месяц узнаю, что Олег Спиридонов вернулся, Станислав Зайковский возвратился позже.

Не думал я, что это смешное ничтожное событие будет иметь жестокие последствия в моей жизни.

## **Глава 4**

### **«Вредительство» на уборке хлеба**

Я продолжаю учебу, заканчиваю ФЗУ, поступаю на третий курс рабфака Сибирского автодорожного института, оканчиваю его, и в 1933 году меня принимают в этот институт на автомеханический факультет. В том же году нас, студентов, отправляют на уборку урожая в Сосновский зерносовхоз. Все ребята нашего факультета были поставлены комбайнерами, меня, как электрика, использовали на ремонте электрооборудования тракторов и комбайнов. Та осень была очень дождливая; днем и ночью, в две смены, ребята убирали комбайнами хлеб под проливным дождем. И вот однажды, во время ночной смены, у двух комбайнеров — студентов нашего института случилось ЧП во время работы: из ящика на мостике комбайна, где хранился инструмент, вываливается гаечный ключ, падает на хедер и затягивается в барабан. Комбайн вышел временно из строя.

В ту пору осчастливил своим посещением Сосновский зерносовхоз Вячеслав Михайлович Молотов, прилетевший на самолете агитэскадрильи «Правда», и с ходу начал творить суд и расправу. По его приказу студенты-комбайнеры были арестованы как вредители, был арестован и прораб 7-го отделения зерносовхоза. Затем последовали аресты начальников токов, которые не имели возможности ссыпать намолоченный хлеб в переполненные амбары и оставляли хлеб на токах, укрыв его от дождя брезентом.

По возвращении студентов с уборочной в город НКВД начал дергать всех, кто был на уборке, требуя подтверждения своей версии: что арестованные студенты были якобы агентами фашистских разведок.

Обвинения наших товарищей в диверсии никто не подтвердил, в том числе и я. Разъяренный следователь, стуча кулаком по столу, кричал:

— Спайка! Не хотите помочь следствию. Я разобью вашу спайку, выведу всех вас на чистую воду!

И выгнал меня из кабинета. Ребят все-таки судили, но уже за халатность.

## **Глава 5**

### **Арест, следствие, суд**

В декабре 1934-го был убит Сергей Миронович Киров. В городе начались повальные аресты тех, кто уцелел при арестах 1930-1931 годов. Тогда арестовывали бывших офицеров царской и колчаковской армий, духовенство, бывших нэпманов. Сейчас же забирали бывших эсэров, анархистов, начались аресты среди студенчества и среди тех, у кого были родственники за границей.

В ночь на 5 июня 1935 года я был разбужен окриком:

— Встаньте!

Передо мной стоял какой-то человек в чекистском плаще стального цвета и протягивал клочок бумаги. Спросонок я не понял, в чем дело. Протираю глаза: не сон ли я вижу?

— Ордер на обыск. Поднимитесь и оденьтесь!

Я поднялся, спрашиваю:

— Что вас интересует? Пожалуйста, ищите.

Был произведен тщательный обыск. У меня была коллекция винтовочных патронов к оружию различных стран, в том числе и от русской трехлинейки. Я очень увлекался военным делом, готовился к службе в Красной армии и изучал военную историю; книги по военному искусству я покупал у букинистов, торговавших на центральном базаре. Все это было собрано как улики лицами, производившими обыск. Когда обыск в моей комнате был закончен, улики найдены, мне предлагают перейти в столовую. Захожу и вижу: дверь в кабинет отца открыта, кругом рассыпан ворох бумаг; отец сидит на стуле, мать растеряна, группа людей роется в отцовском письменном столе.



К 6 часам утра обыск был закончен, подъехали две легковые машины, в одну погрузили изъятый при обыске компромат, в другую посадили меня и отца. Ехать было недалеко — НКВД размещался в двух кирпичных зданиях бывшего архиерейского подворья. По одному нас завели в КПЗ, сначала отца, потом меня. В этом здании раньше размещались архиерейские конюшни, теперь оно было приспособлено под содержание арестованных. Унизительный обыск со спарыванием пуговиц с брюк, выдергиванием шнурков и снятием брючного ремня, и я очутился в одиночке.

Камера представляла собой помещение в полтора метра шириной и около четырех метров длиной, с двухметровым потолком; в ней стояли два узеньких топчана, столик, табуретка и в углу плевательница, приспособленная под парашу. Небольшое зарешеченное окно под потолком. В этом здании было девять одиночных камер и пять общих на пять-шесть человек.

Я был оглушен совершившимся. Две недели меня никуда не вызывали, оставив наедине с собственными мыслями. Особенно тяжело было вечерами и ночами, когда из близлежащего сада «Аквариум» доносился запах цветущей сирени и звуки духового оркестра.

За это время ко мне подсаживали ненадолго каких-то подозрительных типов, которых интересовало, в чем я чувствую себя виноватым. Дни текли монотонно. Трижды в день лязгал засов и открывалась дверь. По утрам — на opravку, днем — на прогулку, вечером — на поверку. Наконец меня вызывают на допрос.

Кабинет следователя плавал в пряном аромате духов «Красная Москва». За письменным столом сидел человек лет тридцати — тридцати трех, который представился старшим следователем ГУГБ НКВД по особо важным делам капитаном Тарасовым.

Разговор начал с небольшого. Справлялся о здоровье, самочувствии; с иезуитской улыбкой

извинился, что вынужден беспокоить меня, и, достав из ящика протокол допроса, начал записывать установочные данные. Следующий вопрос — перечисление всех родных и знакомых. Я охотно начал перечислять всех живых своих родственников и всех, с кем был знаком. Эта процедура, так сказать знакомство следователя с «задержанным», отняла первый день. Нажата кнопка звонка, и молчаливый охранник сопровождает меня обратно в камеру.

На второй день опять допрос, опять следователь Тарасов начинает с загадок.

— В чем вы обвиняете меня? — спрашиваю я.

— А вы хорошенько подумайте и сообщите нам. Видите, в протоколе я пишу не «обвиняемый», а «задержанный» — до выяснения некоторых обстоятельств. Вот выясним — и отпустим. Придете в камеру, досуг у вас большой, вспомните и расскажите все. — И переходит к посторонним разговорам.

Мне это напоминало игру в «кошки-мышки».

Так потянулись дни.

На одном из допросов были заданы вопросы, не было ли у меня попытки покинуть Советский Союз, есть ли родственники за границей и знаю ли я Зайковского. Меня словно обожгло, когда была упомянута эта фамилия.

Я засмеялся и рассказал о «побеге», затеянном школьниками-фантазерами в возрасте четырнадцати-пятнадцати лет. Вся эпопея была занесена в протокол, только Тарасов никак не соглашался на указанный мной год — 1929-й, а старался убедить меня, что все происходило в 1934-1935 годах. Подписать протокол я отказался, так как датировка этой детской затеи была следователем искажена.

Придя в камеру, оглушенный разговором со следователем, я тщетно пытался собраться с мыслями. Беспокойство вызвал вопрос о родственниках за

границей. Были, конечно: троюродный брат отца и матери граф Мстислав Николаевич Толстой, эмигрант, владелец куриной фермы под Парижем; бабушка, мать отца, вела с ним переписку на французском языке, но родители с ним никакой связи не имели. Бабушка умерла в 1929 году, и все письма, которые она хранила, родители сожгли.

Брат Мстислава Николаевича — писатель Алексей Николаевич Толстой, вернувшись из эмиграции, был в фаворе у Сталина и в своих произведениях укреплял и возвеличивал культ «великого вождя», выворачивая историю наизнанку (к примеру, в романах «Оборона Царицына», «Хлеб»).

В 1931 году приехала из Пензы сестра матери — Мария Николаевна Мозжухина — с тремя детьми и поселилась у нас. Ее муж, Алексей Ильич Мозжухин, в прошлом офицер царской армии, участник войны с Германией, поселился в усадьбе своего отца, Ильи Ивановича Мозжухина, управляющего имением князей Оболенских, в селе Кондоль Пензенской области, где стал заниматься сельским трудом. Два его брата — Иван Ильич, киноактер, и Александр Ильич, певец Парижской оперы, жили за границей, но эмигрантами не были. Они выехали из Советского Союза на гастроли в начале 20-х годов, назад не вернулись, но до самой смерти сохранили советское подданство и советские паспорта.

В конце 1930 года дядю Алексея Ильича арестовывают как единоличника и царского офицера, Илья Иванович умирает от потрясения, тетка с детьми спасается у нас. В 1934 году дядя Алеша освобождается, едет в Омск и, забрав семью, уезжает в город Калачинск Омской области.

Это родство и пугало меня. Знает об этом следователь или нет? Если знает, то ни мне, ни отцу несдобровать!

На следствии опять поднят вопрос о времени предполагаемого побега за рубеж. Я всеми силами доказываю, что события происходили в 1929 году, когда нам, школьникам, было по четырнадцать-пятнадцать лет (я был самым младшим), Тарасов упорно стоит на 1934–1935 годах. В конце концов Тарасов предлагает в протоколе указать 1930 год, и я, махнув рукой, подписал эту дату.

В камере новый постоялец — Шутов Иван Васильевич, секретарь Кировского райкома партии города Омска. Удивлен происшедшим и одновременно возмущен вероломством начальника НКВД, пригласившего его на дружескую встречу и упрятавшего в следственную камеру.

Снова вызов на допрос и предъявление обвинения в контрреволюционном заговоре, возглавляемом якобы махровым врагом, бывшим жандармским полковником — моим отцом. От этих обвинений шевелились волосы на голове.

— Вас ущемила советская власть, вы недовольны существующим строем и только мечтаете свергнуть ненавистный вам строй, лишивший вас привилегий, — бубнил следователь. — И вы ничем не докажете своей лояльности к нам.

Что я мог возразить?

С этого дня начались ночные допросы с возвращением в камеру к подъему. Спать днем не разрешали. Через несколько бессонных суток я начал плохо соображать, чего от меня хотят.

— Мы располагаем обширными данными вашей преступной деятельности. Вот ваши показания на первых допросах и чистосердечное признание. — Следователь сует мне протокол, где 1930 год уже переделан на 1932-й! — Вот показания Зайковского, где он чистосердечно признался, что вами готовился террористический акт на товарища Ворошилова, что вы

готовили вооруженное восстание и печатали контрреволюционные листовки.

Требую очную ставку с Зайковским. В кабинет приводят Зайковского, и тот не моргнув глазом плетет небылицы, подтверждая свои показания.

Разъяренный моим упорством в отказе признать обвинение в преступлении, Тарасов, стуча по столу кулаком, закричал:

— Если вы будете упорствовать, то я вынужден буду арестовать вашу мать, брата и сестру!

Ужас охватил меня от этой угрозы.

Поводом к обвинению в вооруженном восстании послужили моя коллекция винтовочных патронов и, возможно, излишняя откровенность. На вопрос, было ли у нас оружие, я ответил: «Да, было». У Олега Спиридонова был испорченный бельгийский браунинг, из которого нельзя было произвести выстрел, и у Зайковского был мелкокалиберный шестизарядный револьвер, заряжающийся патронами «боскет».

Я не имел свиданий с матерью. Мысли о том, что делалось на воле и дома ли мать, очень сильно тревожили меня. После очной ставки с Зайковским я пустился на хитрость. Чтобы побывать дома и проверить, цела ли мать, я рискнул, в ущерб себе, на следующем допросе пойти на «признание» и дал следующее показание: «Будучи ущемленным советской властью, делаю чистосердечное признание (преамбула следователя. — *Н.Б.*). Действительно, нами распространялись антисоветские листовки (которых в природе не существовало. — *Н.Б.*), напечатанные на гектографе, изготовленном обвиняемым Зайковским и принесенном ко мне. Паста гектографа находится в коробке из-под зубного порошка «Хлородонт» и лежит в моей комнате».

Лицо следователя растянулось в слащавую улыбку.

— Давно бы так, — угостил он меня папиросами. — А где эта коробка? Я сейчас пошлю человека привезти ее сюда!

— Без меня эту коробку не найти. Пусть ваш сотрудник едет со мной, и я вручу ему эту коробку.

Еду с сопровождающим домой. В дверях изумленная и радостная мать с возгласом «Наконец-то!» обнимает меня.

— Видишь, мама, я не один и обязан вернуться обратно, только вручу сопровождающему одну вещицу. Ты не беспокойся, скоро все выяснится, и я возвращусь домой. О папе я ничего не знаю.

Дома я был накормлен обедом, снабжен продуктами и, вручив сопровождающему пустую жестяную коробку из-под зубного порошка, с облегченной душой вернулся в ДПЗ (дом предварительного заключения).

Теперь надо ждать суда. Советский суд — справедливый суд, очистит зерна от плевел и установит мою невиновность.

Изъятый у меня при обыске русско-китайско-японский разговорник, изданный Генштабом в эпоху японской войны, явился уликой того, что я японский шпион. Моей персоной заинтересовалось руководство высшего эшелона ГУГБ НКВД. Один из допросов посетил сам начальник отдела по борьбе со шпионажем Костандолго, высокий, худощавый, длиннобородый, своим обликом чем-то напоминающий известного полярника Отто Юльевича Шмидта. Посидев около часа при допросе меня следователем и махнув рукой, он удалился.

Был я вызван пред «ясные очи» начальника следственного отдела ГУГБ НКВД Маковского, который в беседе со мной заявил:

— Мы вам верим, что вы не контрреволюционер, но в будущем вы им будете, вы чуждый элемент, потому мы вас должны изолировать от общества.

Между допросами в камере беседую со своим соседом. Тому предъявили обвинение в подделке партбилета и в том, что он не тот, за кого себя выдает.

Если не ошибаюсь, с 1935 года началась замена партбилетов, связанная с переименованием названия РКП(б) в ВКП(б). С проверкой партийных документов пошли аресты среди партийцев. Так был арестован профессор сельскохозяйственного института Фридолин — как бывший член Центральной рады гетмана Скоропадского; также был арестован директор Омского завода им. Розы Люксембург Гаврилов, член обкома, депутат Верховного Совета, оказавшийся бывшим колчаковским полковником Дубровиным, комендантом «Поезда смерти». Процесс Дубровина — Гаврилова широко освещался в сибирских газетах.

К этой же компании делалась попытка примазать и Шутова. Партбилет утонул вместе со всеми документами в реке Амур, когда его сбросило взрывом снаряда с мостика канонерки при штурме города Лахассусу во время конфликта на КВЖД. Оружие и одежда потянули Шутова ко дну. Он отстегнул оружие, сбросил бушлат, китель, где были документы, брюки, и в трусах и тельняшке был подобран спасательной шлюпкой.

Документы были восстановлены по показаниям очевидцев происшествия, пострадавшему выдали дубликат партбилета, и спустя некоторое время он переводится с Дальнего Востока в Омск. И вот финал. Партийная принадлежность Шутова подтвердилась, но в тюрьме, где он ожидал конца проверки версии по утере партбилета, он рассказал кому-то анекдот и получил 6 лет лагерей по статье 58, пункт 10.

Следствие в отношении меня заканчивается.

Впервые за все время следствия я наконец встретил отца у «черного воронка» при отправке нас к «теще в

гости» (так именовали Омскую тюрьму — Тобольская, 72).

Высокие кирпичные стены прямоугольником окружают старинное здание с вышками на углах, выстроенное в виде буквы «Е». Старожилы тюрьмы объясняют конфигурацию здания стремлением увековечить инициалы устроителя — Екатерины II. В три этажа, с подвалом и мощными деревянными воротами, с внутренней охраной. Первый дворик, так называемый колодец, служит приемником, где приведенные с воли в тюрьму подвергаются обыску, после чего растворяются ворота во двор тюрьмы, из которого коридорные надзиратели, гремя связкой ключей, разводят заключенных по камерам.

Нас завели на третий этаж правого следственного крыла и поместили в камеру, где жили учетчик и коридорная обслуга. Учетчик, ожидающий решения Особого совещания, был преподаватель Омского педагогического института Зуев Василий Васильевич. При разборе произведений Демьяна Бедного он неосторожно поведал студентам, что Демьян Бедный окончил университет, а стипендию получал из средств московского генерал-губернатора — великого князя Сергея Александровича, дяди царя Николая II. Это обошлось ему в 5 лет. Два других сокамерника — уборщики коридора и подносчики тюремных паек из хлебoreзки и баланды. Это пожилой крестьянин Фальченко, осужденный за контрреволюцию и саботаж, выразившиеся в нежелании вступить в колхоз, и Абрам Шенгауз — польский еврей-перебежчик, осужденный ревтрибуналом к 10 годам лишения свободы.

Я впервые видел «настоящего шпиона». Интересуюсь его делом, расспрашиваю, зачем он перешел границу. Мешая русские и польские слова, он рассказал, что перешел границу, идя в гости к брату, живущему на территории Советского Союза. Был



задержан пограничниками и передан в НКВД, где на допросах, плохо понимая русскую речь, на вопрос следователя о месте работы в Польше сообщил, что служил в польской «Дефензиве» (охранном отделении). Этого было достаточно, чтобы трибунал дал ему 10 лет. В чем заключалась его служба? По профессии он портной и шил для польской жандармерии «мундуры», то есть мундиры.

Камера была на особом положении и закрывалась только на ночь. На тюремном дворе существовал ларек, где можно было во время прогулки приобрести продукты питания.

На стенах тюремного туалета частенько можно было прочесть надписи, сделанные карандашом: «Оставь надежды всяк входящий», в другом месте кто-то выцарапал гвоздем: «Приходящие, не грустите, уходящие, не радуйтесь. Кто не был — тот будет, кто был — тот хрен забудет». Какой-то весельчак-оптимист начертал: «Дальше солнца не угонят, хреном в землю не воткнут!» Оптимизм автора не оправдывался: втыкали... Да еще как втыкали. Сколько их осталось, «воткнутих» в землю в безымянных могилах? Сколько не вернулось домой?

Начальник тюрьмы Кокин раз в неделю обходил камеры, собирал заявления и выслушивал жалобы заключенных. Небольшого роста, подвижный, он заботился, чтобы блатары содержались отдельно от бытовиков и политических.

— Начальничек, — обращается блатарь в Кокину, на что тот возражает:

— Хоть маленький ростом, но начальник.

В камеры приносились книги из тюремной библиотеки, среди которых попадались давно изъятые из библиотек и уничтоженные «вредные» книги вроде савинковских «Весов жизни» и «Коня бледного», труды Плеханова и ряд других.

Через неделю вручают обвинительное заключение с почти полным набором пунктов 58-й статьи УК РСФСР: 2, 6, 8 и 11.

Меня с отцом, двух моих товарищей по институту (были арестованы Тарасовым в надежде создать дело о «прочной организации») и еще незнакомого паренька конвой из семи стрелков, окружив нашу группу кольцом, повел в суд.

К моему удивлению, этот мальчик, что был выведен на суд вместе с нами, оказался моим однодельцем. Из ДПЗ приводят Зайковского, где он «помогал следствию», разоблачая «врагов народа» уже другого потока.

Суд шел при закрытых дверях. Кроме судей и окруженных усиленным конвоем обвиняемых, в зале суда никого не было. Даже защитник, предложивший свои услуги, не был допущен к судебной процедуре. Во время судебного заседания выясняется, что материалы обвинения собраны наспех и подсудимые не знакомы друг с другом, как, например, этот мальчик по имени Павлин (фамилия его Мельников), которого я впервые в жизни увидел в день суда. По показаниям Зайковского, он являлся кем-то вроде кассира, собравшего 7 рублей на осуществление побега. На суде были вскрыты подлоги следователя Тарасова, применение им недозволенных методов, и судьи давились от хохота, слушая обвиняемых. На суде отпадают пункты 6 и 8 (шпионаж и террор).

Зачитывается приговор: «Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики... по статье 58, пункты 2-11, УК РСФСР... приговорил: Зайковского Станислава Яновича к 5 годам ИТЛ, Болдырева Николая Николаевича (сына) к 5 годам ИТЛ, Мельникова Павлина к 2 годам ИТЛ.

В отношении Болдырева Николая Николаевича (отца), профессора Омского ветеринарного института, и

студентов автодорожного института Пустоварова А. И. и Михайлова В. И., привлекаемых по статье 58, пункт 12 (за недоносительство), за отсутствием состава преступления дело прекратить и из-под стражи освободить в здании суда».

Павлина и меня повел в тюрьму уже один конвоир. Зайковского вновь увозят в ДПЗ НКВД, видимо, там без него следователь Тарасов не мог обойтись.

## Глава 6

### В тюрьме в ожидании этапа

В тюрьме расспрашиваю Павлина, куда девался Олег Спиридонов. Оказывается, Олег долгое время болтался, бросив учебу, затем завербовался в рыбацкую артель на побережье Тихого океана и, по слухам, успел там жениться.

В тюрьме (в те годы носившей название «исправдом») в «срочном» корпусе камеры стояли раскрытыми и допускалось свободное общение осужденных. В этом корпусе сидели и бытовики, и политические, с незначительной прослойкой блатарей, основная масса которых сидела в полуподвальном помещении. За нарушение тюремного режима администрация в виде наказания отправляла нарушителя «в Индию» — к блатарям в подвал, «где вечно пляшут и поют».

Вошедшего в камеру свежего человека урки встречали брошенным под ноги полотенцем. Бывалый урка вытирал об него свои *прохоря*<sup>[2]</sup> и небрежно отшвыривал полотенце к параше.

— Свой! — проносился облегченный вздох по камере, и, в зависимости от «заслуг», тот получал место на нарах среди блатной элиты. Низшая каста, именуемая «сявки» — мелкое жулье, не имевшее связей с известными ворами «по воле», которые могли бы поручиться за них как за воров, — обреталась под *юрцами* (нарами) и поступала в услужение к *паханам*.

Но когда к уркам попадал в камеру фраер или бедолага колхозник и, подняв с пола полотенце, стряхивал его и клал на краешек нар, — тут начинался розыгрыш вновь прибывшего.

— Похаваем, батя! А ну, что в твоём сидоре?! — И мешочек с продуктами мгновенно исчезал с хозяйских глаз. — В картишки сыграем? В «буру», в «стос»? Не стесняйся, батя, садись поближе.

Через несколько минут ошеломленный новичок оказывался уже раздет-разут и взамен своей добротной одежды облачен в драное тряпье. «Шутки» над новичком продолжают. Усталый человек крепко засыпает. Между пальцев его ног осторожно вставляются фитили из ваты и поджигаются. Разбуженный страшной болью, ничего не понимающий спросонок человек бешено крутит ногами, пока не сообразит плеснуть водой из чайника на обожженные ноги.

— Молодец, батя, — одобрительно говорит блатарь под хохот камеры. — Поди, давно не катался на велосипеде?

В подвале три дня провел и я. Проштрафился с опозданием, выскочил на поверку, уже когда все уже выстроились в коридоре. Меня втолкнули в камеру в тот момент, когда ее население, затаив дыхание, внимательно слушало «тисканье исторического романа» одним из блатарей, в чьем рассказе переплелись эпоха Средневековья и двадцатый век с его техническими достижениями, где французский король из своего роскошного кабинета разговаривает по телефону с кардиналом Ришелье, а мушкетеры на быстроходном крейсере пересекают Ла-Манш за «брульянтовым» ожерельем королевы. «Тисканье романа» прервалось... Взгляды обитателей остановились на вновь пришедшем. Расспрашивают, кто я, есть ли *шамовка*<sup>[3]</sup>.

Выложив все свои запасы на стол, предлагаю: «Давайте я вам расскажу исторический роман» — и начинаю рассказывать историю княжны Таракановой по Глебу Успенскому. Мой рассказ привел в восторг

блатарей, и три дня я провел там как «свой». Знакомя подонков общества с поэзией Пушкина и другой русской литературой, я получил кличку Студент.

Через три дня я был водворен обратно в свою камеру. После моего знакомства с подвалом, когда я выходил на прогулку, обитатели подвала приветствовали меня, крича в окно:

— Эй, Студент, иди к нам, будешь в *вантаже*<sup>[4]</sup>!

В те годы тюремный режим еще не был ужесточенным. Свидания и передачи разрешались без ограничений. Желавших побыть на свежем воздухе выводили на работы. Меня дважды выводили на разборку кирпичных глыб от взорванного Омского кафедрального собора, замечательно красивого здания, в росписи фресок которого принимали участие знаменитые художники: Суриков, Врубель и др. Кирпич от собора шел на строительство нового здания НКВД и новой внутренней тюрьмы.

Контингент тюрьмы ежедневно менялся. Одни уходили на этап, другие поступали в тюрьму, ожидая судебной процедуры.

## Глава 7

### Сиблаг

В начале ноября 1935 года меня, кассационного, вопреки правилам включают вместе с Зайковским в спецэтап.

Вагон-зак забит до отказа. Четырнадцать человек в секции, негде повернуться. Можно лежать только на боку, головой к проходу, к решетке, отделяющей секцию от коридора. Путь был томителен и долог. Первая остановка — тюрьма в Новосибирске, где я провел несколько дней, ожидая «оказии». Опять вагонзак, именуемый «столыпинским вагоном», и снова в путь.

На станции Юрга, где предстояла передача нас, почему-то не вышли конвоиры, и спецконвой повез нас дальше, сплавив в Анжерскую тюрьму. Переночевали в тюрьме, а утром опять на вокзал — и поехали в обратную сторону.

После долгих мытарств, побывав в Кемеровской и Сталинской (Новокузнецк) тюрьмах, добрались до станции Ахпун. Здесь, в городе Темиртау, находилась рудообогатительная фабрика, на которой трудилось 9-е штрафное Ахпунское отделение Сиблага НКВД, где в основном были собраны люди, осужденные за бандитизм, и «тяжеловесы» — по 58-й.

Прием на первом комендантском лагпункте. Территория огорожена двумя рядами колючей проволоки, и еще рядом колючки ограждена полоса внутри зоны, называемая предзонником. Всюду торчат вышки с охраной, в предзоннике на скользящих поводках бегают овчарки.

Внутри зоны — ряды длинных бараков с каркасами из тонких бревен (жердей), обтянутых армейскими

брезентовыми палатками. В бараке двойные нары из неошкуренного подтоварника — вагонки, две печи из металлических бочек по двум концам барака. К утру примерзаешь головой к стенке барака. Спишь в одежде, иначе украдут. Шум, гвалт, ежеминутно вспыхивают драки, идет картежная игра, качание прав — и все это в бараке, где соседствуют и бандиты, и *каэровцы*<sup>[5]</sup>.

Когда я впервые вошел в палатку, то остановился в растерянности. Вокруг печек собралась толпа людей. Кто сушит одежду, кто поджаривает хлеб, а кто варит еду в банках. Народу в палатке человек четыреста, разноязычный говор вперемешку с матерной руганью. Присел на краешек чьих-то нар и задумался: куда я попал? что ждет впереди?

— Что, вновь прибывший? — раздался с верхних нар чей-то голос. — Какая статья? Какой срок? Залезай к нам, нас тут двое, а где двое, там и третьему место найдется. Ничего, потеснимся, спать теплее будет.

Повторять приглашение не пришлось. Забрался на «верхотуру», где и состоялось знакомство с соседями. Благообразный старичок с длинной бородой, в подряснике представился священником Арбузовым, второй — ленинградским протоиереем Александром Ремизовым. Он посвятил меня в секреты лагерного бытия.

В 5 часов утра, частыми ударами в рельс, висящий у проходной будки, побудка лагерникам. Дежурные раздатчики хлеба от каждой бригады с тазами, в окружении доброго десятка охраняющих парней из бригады, мчатся в хлеборезку за хлебом. Остальные бросаются к умывальнику. В условиях лагеря такая защита раздатчика была крайне необходима — в связи с частыми нападениями и грабежами хлебных пайков. Хлеб роздан, в барак заносится завтрак — баланда и кипяток в огромных металлических баках.



Вновь удары в рельс. В барак врываются нарядчики и палками выгоняют бригадников к вахте, на развод, замешкавшихся сбрасывают с нар, лупцуя палками, выгоняют из барака с криками: «А ну, вылетай без последнего».

Строятся бригадами. Под фонарем у вахты с фанерными дощечками стоит лагерная администрация из заключенных — бригадиры, десятники, комендант, работники УРЧ, за воротами столпились конвоиры с собаками. Бригады выстроены колонной по пять человек в ряд.

Открываются ворота с командой:

— Первая пятерка — выходи! Вторая пятерка...

Считают пятерки в зоне нарядчики, за зоной — старший конвоя, и после сверки счета бригаду принимает конвой.

Обычное утреннее напутствие:

— Партия, внимание! В пути следования не растягиваться, не разговаривать. Шаг вправо, шаг влево — считается побегом! При побеге конвой применяет оружие! Без предупреждения! Всем понятно?

— Понятно! — раздается хор голосов.

— Пошел! — кричит старший конвоя, и колонна заключенных двигается с места.

Я был назначен на лесоповал. Работа не пугала меня, так как еще с детства нас дома приучали к физическому труду. Пилить и колоть дрова было одной из моих обязанностей.

Дорогу к лесу торили в глубоком снегу. Снег по пояс, и пятерками, взявшись под руки, мы пробивали его грудью и утапывали траншею к объекту работы.

Часть бригадников расползается по делянке, блатные — те разжигают костер и греются до конца работы. Инструмент — лучковые пилы, «стахановки» и

тупые топоры. Мой напарник — протоиерей Ремизов, накопивший опыт лагерных работ (в заключении с начала 20-х годов, прошел ряд лагерей, включая Соловки), обучал меня, как и в какую сторону валить деревья. Работали не разгибая спины. Поваленное дерево после обрубки сучьев раскряжевываешь по сортаменту на балансы, шпальник, рудстойку, укладываешь в штабеля, и в конце работы десятник и бригадир обмеряют и клеймят эти штабеля.

Но хватило нас ненадолго. Почти вся выработка приписывалась греющимся у костра блатным, и за три месяца работы в лесу мы сделались доходягами.

На 400 граммах хлеба и жидкой баланде (для не выполняющих норму) мигом превратишься в *фитиля* и справедливости не добьешься. Там бытовала поговорка: «Умри ты сегодня, а я — завтра!»

От неминуемой смерти, от истощения спас меня счастливый случай. Прибывшей на лагпункт в феврале 1936 года медкомиссией я был активирован и направлен в ОПП (оздоровительно-питательный пункт) вместе с обоими священнослужителями. Собрали человек сто таких лагерных доходяг и разместили на отдыхающей колонне 13 под присмотр врачей. Около трех дней я отдыхал по-настоящему. На работы не гоняли, питание — как для больных; хочешь — спишь, хочешь — по зоне гуляешь.

Однажды прибегает нарядчик и объявляет мне, что пришел ответ на мою кассационную жалобу с вызовом в Омск на переследствие. То, что осталось от моих пожитков, было нетрудно собрать в наволочку. Опять в пустом вагон-заке еду домой.

## **Глава 8**

### **Переследствие. Второй приговор**

Путь до Омска был около суток. По прибытии в тюрьму меня кладет в тюремную больницу главврач санотдела ОМЗ (Отдел мест заключения) — доктор Крикорьянц. Лечение и питание (сразу же стал получать передачи из дома) в течение двух недель поставили меня на ноги, и я предстал перед следователем Тарасовым.

Нового допроса не было. С издевательской ухмылкой глядя на мою осунувшуюся физиономию и истощенную фигуру, он спросил:

— Ну, каково было на «курорте»? — и, стуча кулаком по столу, заорал: — Если опять будете отрицать материалы следствия, загоню еще дальше, где Макар телят не пас!

На этом и закончилась наша последняя встреча.

Снова суд. На суде возникает новое лицо — Олег Спиридонов, счастливо избегнувший первого ареста и суда, но зачем-то приехавший в отпуск домой, где и был арестован.

Новый суд в новом составе не очень вникал в суть дела и следственных подлогов. На все был стереотипный ответ:

— Суду понятно!

Новый суд выносит новый приговор: Зайковскому, Спиридонову и мне — по 10 лет лишения свободы. Павлину — 7 лет; ранее оправданных моего отца и двух моих однокурсников, Михайлова и Пустоварова, приговаривают к 2 годам каждого с освобождением их под подписку до утверждения приговора.

После приговора меня переводят на 5-ю производственную колонию ОМЗ. Начальник колонии — Лесников. Работаю техником-конструктором механического цеха. Начальник цеха Поветкин — пожилой, полный, из вольнонаемных, добрейшей души человек. При мелмастерских были цеха литейный, с небольшой вагранкой, модельный, формовочный, электролизный, жестяной, электросварочный и был сапожный цех с вольнонаемным мастером Машебо. Цех механический производил кровати с варшавской и английской сеткой, гвозди, выполнял отдельные заказы по изготовлению решеток на окна, металлических ворот и т. п. Контингент колонии насчитывал сто — сто пятьдесят человек.

Начальником производства был заключенный Киселев Александр Васильевич, бывший директор Киселевской угольной шахты, чьим именем и был назван поселок, а затем город в Кемеровской области. В свое время он поддерживал оппозицию, но был осужден по 109-й статье УК (должностное преступление) на 5 лет лишения свободы.

Самой интересной личностью на 5-й колонии был инженер-экономист Голоушкин, бывший начальник ЭКО (Экономический отдел) Омского авиазавода, в 1924–1925 годах побывавший в Америке в роли переселенца. Он имел правительственное задание любыми путями проникнуть на заводы Форда и изучить конвейерную систему («промышленный шпионаж»), что он, после долгих мытарств, осуществил и в конце 20-х годов вернулся в СССР. Родина оценила его труд, отправив в Омск и осудив за должностное преступление на 10 лет ИТЛ.

В конце мая приговор вступил в законную силу.

Отец, не дожидаясь конвоя, сам пришел к начальнику колонии Лесникову с выпиской постановления Верховного Суда, просил начальника

колонии принять его на отсидку совместно с сыном. Просьба отца была удовлетворена.

В июне отца вызвали на хоздвор, где его ожидали студенты ветинститута, получившие разрешение на сдачу зачетов профессору Болдыреву. Зачеты были приняты, но перенос аудитории института на тюремный хоздвор аукнулся Лесникову увольнением. Начальником колонии стал его заместитель, Голдырев, тоже неплохой человек, никому не делавший зла.

Отец все искал посильную работу, его тяготило бездельничанье, хотя он и говорил: «Наконец-то я отдохну как следует, давно не имел настоящего отдыха». Начальник КВО (Культурно-воспитательный отдел) ОМЗ Кобрин предложил ему работу в культпросветчасти колонии — по оформлению стенгазеты «Перековка». По заметкам корреспондентов сочинялись острые стихи и делались карикатуры (рисовать и сочинять юмористические стихи отец был мастер), что снискало большую популярность газете не только среди эков, но и среди вольнонаемных.

В августе — комиссовка заключенных. Отца медики признают нетрудоспособным, подводят под 458-ю статью УПК и освобождают. Доктор Крикорьянц и начальник ОМЗ Сеге помогли выбраться отцу из «узилища».

Я составляю сметы на ремонт зданий колонии, на ремонт тюрьмы, вношу рацпредложение по замене дефицитных труб, из которых изготавливаются спинки кроватей. Предложение принято, и я занялся конструированием трубопротяжного станка. С расчетами и чертежами деталей пришлось долго повозиться. Модельщики по моим чертежам изготовили деревянные модели шестерен, которые были отлиты в литейке. Весь станок был собран на месте. Мне шли большие зачеты, и я уже мечтал, что через четыре года

я выйду на свободу. Но 30 апреля 1937 года по распоряжению НКВД меня переводят в тюрьму.

## Глава 9

### Снова в Омской тюрьме

В тюрьме усиление режима. Камеры держат на запоре. На окна навешивают козырьки. Народу набито битком. Прогулки сократились до пятнадцати минут. Родственники уже с трудом добиваются свиданий и передач. Поверки уже не в коридоре, а в камере. Оправка только утром и вечером. В камере параша — и высотой и диаметром один метр. Параша накрыта доской, на которую можно встать «по-орлиному». В камере смрад, духота.

Состав камеры разношерстный. Кого там только нет! Здесь и группа блатных, бытовики, каэровцы, срочные<sup>[6]</sup> и следственные<sup>[7]</sup> — все вперемешку. Среди обитателей камеры были и такие, как профессор кафедры хирургии Омского медицинского института Бек-Домбровский — немец, бывший член революционного правительства Германии (министр здравоохранения). После путча, возглавленного генералом Каппом, он был посажен в Моабит, из которого путем обмена был вызволен советским правительством вместе с Карлом Радеком и еще двумя немецкими коммунистами, фамилии которых, к сожалению, я не удержал в памяти. Был он членом Коминтерна, работал заместителем наркома здравоохранения Семашко, за какие-то «уклоны» был выслан в Омск. В 1937 году его арестовали по делу Радека, и после тщетных допросов в омском НКВД он был этапирован в Москву.

Был в камере бывший городской голова Остапенко. Он в 1900 году приобрел разводной мост, экспонированный на французской выставке в Париже, и

подарил его городу. Мост был поставлен через реку Омь и соединил улицу Республики с улицей Ленина.

Сидел сын пароходчика Плотникова; сын бывшего дворцового коменданта генерала Потапова; трое крестьян, обвиняемых в Ишимско-Петропавловском восстании 1922 года, направленном против продразверстки; бывшие колчаковские прапорщики — Сергеев, Казымов и Лопатин.

Сидел бывший председатель Ишимского горсовета Шаронов Даниил Васильевич — человек, сохранивший военную выправку. О нем стоит упомянуть подробнее. Коммунист, в годы революции совместно с Углановым он защищал Питер от Юденича. Был начальником Тосненской группы, захватившей бронепоезд белых.

Сидел и восьмидесятилетний дряхлый «террорист» Лукьянов, в прошлом прокурор Святейшего синода (в 1800-х годах), богатейший киевский землевладелец (даже выстроенная на его земле тюрьма называлась Лукьяновской), побывавший на Соловках, затем сосланный в Ишимский район; он вновь был арестован и осужден трибуналом на 10 лет лагерей «за подготовку теракта на Сталина». После суда он поблагодарил прокурора за продление его жизни на десять лет.

Сидели старики-немцы Вирт, Гезе, солдаты Шелль и Боссарт — за получение 25 марок от правительства Германии в качестве «помощи голодающим немцам в СССР».

Сидел портной Старовойтов из глубинки, бывший председатель артели портных, признанной НКВД контрреволюционной организацией. Приходя с допроса, он с испугом спрашивал сокамерников: «Что такое «крокциста»? Так запротоколил меня следователь и заставил подписать протокол».

Был там вместе с отцом двенадцатилетний романтик Коля Гинтер, собравшийся со школьниками-



сверстниками бежать в Африку и попавший вместо Африки в тюрьму.

Была многочисленная группа студентов различных вузов города, небольшая группа блатных и группа стукачей-provокаторов, возглавляемая бывшим профработником станции Вагай — Гришиным Исаем Дмитриевичем, пожилым человеком с юридическим образованием, отрекомендовывающимся троцкистом. Много людей в омской тюрьме пострадало от этих provокаторов, создавших фальшивые камерные «дела», подводящие ранее осужденных к новым срокам или под расстрел. Среди стукачей-«свидетелей» подвизались: выживший из ума забайкальский казак Семенов, родной брат атамана Семенова; председатель колхоза Василий Степаненко; туда же был втянут четырнадцатилетний Степан Кудрявкин, шофер дрезины начальника дистанции пути Омской железной дороги. Сидел этот парень за то, что, гоняя воробьев в депо станции Омск и стреляя по ним из рогатки, попал случайно в портрет Кагановича, висевший в депо. Ну и обеспечил себя восемью годами как «террорист».

Поступают военные, обвиняемые в военно-фашистском заговоре СибВО. В нашу камеру втолкнули майора Шалина и лейтенанта Трашахова. Тюрьма набита до отказа. Подвалы городских клубов превратились в тюрьмы.

На вышках охраны были установлены мощные динамики, оглушавшие камеры выкриками митингующих:

— Выкорчевать все прогнившие корешки троцкистско-зиновьевской банды! Смертная казнь врагам народа!

Тюрьма, придавленная мрачным предчувствием надвигающихся событий, замерла. Даже кучка блатных, ранее принимавшая попытки диктата в камере, затихла и пребывала в каком-то оцепенении. По тюрьме ползли

слухи один другого чище. В городе начались аресты в верхнем эшелоне власти.

Аресту подверглись секретарь обкома компартии Булатов, председатель горсовета Кондратьев, начальник Управления железной дороги Фуфрянский, незадолго до этого сменивший Кавтарадзе, которого отозвала Москва и где-то в пути подвергла аресту. Приезд Фуфрянского в Омск сопровождался публикациями в газетах его портретов и отзывами о нем как о верном соратнике Сталина.

Арестовываются прокурор железной дороги Мазур, начальник НКВД Салынь, начальник Особого отдела ГУГБ НКВД Маковский, обвиненный в шпионаже в пользу Польши, начальник ОМЗ Сеге, и нередко были случаи, когда в камере встречались арестованные следователи НКВД и их бывшие подследственные, уже получившие срок.

Арестован директор моего института Гарштейн, латыш по национальности, вместе с несколькими профессорами института.

## Глава 10

### Увязваю глубже. Приговор тройки

Камера по малейшему поводу садилась на карцерный режим: 300 граммов хлеба, через день горячая пища — жидкая баланда — и лишение вывода в туалет. На прогулки уже не выводили из-за перегрузки тюрьмы.

Продуктовые передачи и свидания были отменены. Из своей камеры я один почему-то пользовался благосклонностью начальства, и раз в неделю мне приносили съестное, которое я делил на всех сокамерников.

Нервы людей в камере были напряжены до предела. Часто вспыхивали ссоры, чем пользовался провокатор Гришин. Исай Дмитриевич Гришин почти каждый день выходил из камеры, объясняя свои отлучки писанием кассационных жалоб для осужденных. Фактически, его вызывал кум<sup>[8]</sup>. В одну из таких отлучек он закладывает куму Шаронова. Тот частенько осаживает Гришина, заводящего в камере разговоры на скользкие темы, касающиеся обстановки в стране. Окружение Гришина поддерживает клевету, и Шаронова, а с ним Лопатина, Казымова, Сергеева — всех, кто соседствовал с ним на тюремных нарах, — отправляют в подвал.

В эти страшные дни августа 1937 года администрация меня извещает, что «дело» мое пересмотрено Верховным Судом СССР, новый приговор отменен, оставлен в силе первый приговор спецколлегии — с пятилетним сроком наказания, но через несколько дней я был вызван к тюремному куму. Следователь ОМЗ Трианов требует, чтобы я подписал протокол с подтверждением контрреволюционной агитации и организации повстанческой группы в

камере, якобы возглавляемой Шароновым Д. В. Я, доказывая абсурдность такого обвинения, заявил:

— Все, в чем обвиняется Шаронов, сфабриковано стукачом Гришиным. О нем вся камера знает как о матером провокаторе, при котором сокамерники боятся рассказывать даже то, что им предъявляют на допросах.

Через некоторое время новый вызов.

— Вы делились с обвиняемыми вашей передачей, значит, вы сочувствовали преступникам. Все сознались, что вы были завербованы в эту шайку.

Я удивился заявлению следователя Трианова и говорю ему:

— Как они меня могли завербовать, если я с их стороны не подвергался никакой вербовке? В отношении дележки получаемых продуктов — да, делился. Не только с теми, которых вы стремитесь обвинить, но и с остальными сокамерниками. И сочувствие к голодным, затурканным людям — это мое личное дело, и я не делю людей по статьям Уголовного кодекса.

Вот и влип в новую историю. Надеялся, что в суде, который обещает следователь, разберутся во всей ахинее, состряпанной в тюрьме.

Подписываю обвинительный акт, где меня обвиняют в сочувствии к контрреволюционной группе, что выразилось в том, что я делился с ними получаемыми из дома продуктами.

Объявляют мне, что я числюсь за Тройкой НКВД.

В камере от бывалых людей пытаюсь узнать, что это за судебный орган. Получившие сроки в 1935–1936 годах блатари, прошедшие через Тройку, пояснили:

— Вызовут, спросят и тут же решают, что дать: год, или два, или пять лет — это уже полная катушка. Больше давать не имеют права. Вся процедура длится минут пятнадцать-двадцать, как блины пекут.

Режим стал еще жестче. Обыски в тюрьме участились. За огрызок карандаша, иголку — избивали. Особенно свирепствовал начальник корпуса Бородин. Высокий, худой, с маленькими злобными глазками. По ночам в сопровождении десяти-пятнадцати надзирателей он врывался в камеру. С остервенением пиная сапогами спящих на полу и с криками «Всем в одну сторону!» они сбрасывали с нар сонных людей и принимались за шмон.

Люди, стиснутые в одной половине камеры, глядели, как посередине освободившейся половины терзались арестантские пожитки, сбрасываемые с нар.

Раскидав таким образом вещи, перегоняли заключенных на противоположную сторону, и начиналась та же процедура. Не найдя запрещенных предметов, производившие шмон с топотом удалялись, предоставив заключенным под тусклым светом лампочки ползать всю ночь на полу в поисках своих вещей.

В декабре всех обитателей камер переводят с третьего этажа в подвал. Камера — двадцать пять квадратных метров, в левом «глаголе» («Г»-образное левое крыло тюрьмы). Туда натолкали человек тридцать. Уже не деревянный, а цементный пол. Можно только сидеть, прижав колени к груди. Люди собраны из разных камер. Часть из них одета по-летнему — это те, которых привезли арестованными с курортов Юга, где они проводили свой отпуск; некоторых брали прямо со службы. А на улице зима, но форточка не закрывается — она единственная отдушина для свежего воздуха в нашей «парилке».

Я уже не раз сожалел, что не попал на этап 1936 года на Колыму, с которым ушли мои однодельцы. Но вот в конце марта заскрежетал засов, и нарядчик тюрьмы стал выкликать по списку фамилии, в том числе назвал и мою.

— Живо собраться с вещами, выходи в коридор!

Вывели из подвала и повели на первый этаж левого крыла, в этапную камеру (помещение бывшей тюремной церкви). Там было уже полно народу. Группами уводили людей в баню, тщательно обыскивали. Здесь же заседала медкомиссия, определяющая пригодность людей к этапированию в лагеря.

Старший этапный камеры — Шуйский, бывший князь, рослый брюнет цыганского типа. Без суеты он поддерживает порядок в камере.

— Бланду несут! — раздался радостный крик кого-то из заключенных. — Похаваем, братва!

— Тише, товарищи! — раздается голос Шуйского. — Соблюдайте порядок, будьте культурными людьми с чувством собственного достоинства. Зачем упорно употреблять такие слова, которых нет в русском языке, — «похаваем», «баланда»? Несут нам суп, понимаете, суп, и я прошу: по очереди, без толкотни подходите к бачку, и вам нальют миску супу.

Шуйский ярко выделялся среди приклатненной массы людей. Он сохранил в этом тюремном кошмаре выдержку, благородство и достоинство культурного человека. Был он из эмигрантов. Будучи юнкером Киевского военного училища, в революционные дни вместе с училищем был эвакуирован в Крым, с захватом которого красными начался тернистый путь его скитаний по Европе. В 1927 году по амнистии, объявленной М. И. Калининым эмигрантам, не запятнавшим своих рук в крови, в числе многих он возвращается в Советский Союз. 1937 год прибрал его, плановика одного из омских заводов, в «ежовые рукавицы».

Объявляют статьи и сроки. Объявляют и мне постановление Тройки, отпечатанное на узенькой полоске невзрачной бумаги. Слева — фамилия, имя,

отчество, год рождения. Справа — «Тройка НКВД по Омской области постановила: За контрреволюционную деятельность приговорить к 10 годам лишения свободы, с началом срока 18 марта 1938 г.».

И все. Коротко и ясно.

## **Глава 11**

### **По знакомому маршруту.**

#### **Горшорлаг**

Более тысячи человек, окруженных конвоем, растянулись по дороге на вокзал. Прохожие замирали на месте, разглядывая этапируемых: кто из любопытства, кто надеясь увидеть кого-либо из близких. А более смелые, называя фамилию, умоляли ответить, не встречался ли кому такой-то.

На станции ожидал нас длинный состав из телячьих вагонов, спутанных колючей проволокой, с прожекторами, и толпа родных и близких — кого успели оповестить случайные доброхоты. Среди провожающих я увидел мать.

Началась посадка. В вагон загоняли по сорок человек. Наконец посадка закончилась. Уму непостижимо, каким образом удалось уговорить начальника конвоя принять наспех собранные передачи для этапируемых, в том числе и для меня. На третий день пути эшелон прибыл на место разгрузки — станцию Мундыбаш в Кемеровской области. Опять Ахпунское 9-е штрафное отделение Сиблага НКВД, но уже переименованное на Горшорлаг НКВД с новым руководством.

На пересылке встречал этап начальник лагеря Макаров и его заместитель А. Мосевич. Пройдя вдоль рядов нового пополнения, он обратился с краткой необычной речью к вновь прибывшим:

— Товарищи! Вы прибыли на строительство железной дороги к залежам железной руды у таежного поселка Таштагол. Условия работы очень тяжелые, но я надеюсь, что вы сможете осилить трудности и, положив



пути, заслужить досрочное освобождение. Сейчас вас распределяют по строительным колоннам и разведут по местам будущей работы.

Впоследствии я узнал, что ряд начальников Горшорлага — бывшие сотрудники ленинградского НКВД, в том числе Макаров и Мосевич, — отбывали срок заключения на Колыме в связи с убийством Кирова. По отбытии наказания им возвращалось прежнее звание с правом работать только в системе ГУЛага — ГУЛЖДС (Главное управление лагерей железнодорожного строительства).

Меня определили на 5-ю колонну 25-го километра (начальник Игнатченко). По прибытии на место я был вызван в УРЧ, где его начальник вместе с плановиком Малиновским (оба зэки) формировали бригады.

— Комсомолец? — был задан вопрос.

— Да, бывший.

— Пойдешь десятником?

Пробую отбрехаться, что с работой я не знаком.

— Ничего, научим. Завтра выходи на развод с бригадой. После короткого инструктажа по специфике работы следует наказ: бригаду не обижать, людей кормить.

Иду в барак знакомиться с бригадой. Народ в основном трудоспособный. Есть два человека ослабленных. Одного решаю поставить учетчиком тачек, другого — на ремонт тачечных трапов. Основной костяк бригады — крепыши, среди которых выделялись два казаха: братья Тулегеновы, Бупэ и Садвокас.

Бараки добротные, не то что сиблаговские палатки. В два ряда двухъярусные вагонки, между ними широкий проход с длинным столом. Железнодорожников, к сожалению, среди прибывших людей нет. Их отделили от нас, непрофессионалов, еще на пересылке, определив в путеукладочную колонну.

Ни один из моих подопечных не знаком с сооружением земполотна. Ну, будь что будет...

Встречаю немногих, кого знал по Сиблагу. Интересуюсь, куда девались заключенные, бывшие здесь ранее. Всех работоспособных вывезли на Колыму, а слабосильных — больных, стариков-инвалидов, а также отобранных согласно списку, присланному Москвой, — вывезли на 15-й километр строительства дороги, в распадок, и расстреляли. (Таким образом, я, к счастью, уцелел благодаря вызову в Омск на пересмотр «дела».)

Утром в сопровождении стрелка Дасова следую с бригадой на указанный мне объект. Природа великолепная. Кругом Алтайские горы, покрытые хвойным лесом. Ниже, в долине, шумит горная речка Мундыбаш. Горными тропами приходим на объект — скальную полувыемку. Подошедший нормировщик Долинский Роман Владимирович, бывший сотрудник политуправления Белорусского военного округа, показал направление отсыпки насыпи, и работа закипела.

Должен сказать, что в этом лагере существовал образцовый порядок. Макаров жестко сдерживал надзирателей и охрану, не разрешая издевательств над людьми. Все блатные содержались на 15-й режимной колонне, ключевые посты в колоннах были в руках обладателей 58-й статьи, что исключало всякое воровство в каптерке и на кухне.

На разводах, как бывало в Сиблаге при Берзине и Чунтонове, не рубили головы прорабам и нарядчики не лупили палками доходяг. Развод проходил спокойно, без суеты.

Прораб, из бытовиков, Миша Погонайченко обеспечил скальный объект переносным горном и наковальней, чтобы не таскать затупившиеся ломы и пики в лагерную кузницу, а оттягивать концы на месте.

Работа шла полным ходом. Закончив один участок, бригада двигалась на другой.

В один прекрасный день меня вызвал начальник колонны, сообщив, что из БУРа<sup>[9]</sup> поступают сто человек блатных, вечных отказчиков, и эту бригаду он передает мне, обещая увеличить фронт работ оцеплением.

Прибывшие буровцы были в крайне истощенном состоянии. Уже полгода они сидели на штрафном пайке, но твердо держались лагерных заповедей «ешь — потей, работай — зябни», «то, что можешь сделать сегодня, отложи на завтра», «работа не волк, в лес не убежит», и основная заповедь их была «от работы кони дохнут».

Вот такая публика прибыла на объект.

Первые три дня все лежали, как на пляже, подставляя свои тела под солнечные лучи. Паек, по согласованию с плановиком и нормировщиком, я выписывал, как стахановцам. Через пять дней прошу бригадира Сашу Строганова:

— Пусть хоть немного шевелятся люди, не подводите меня перед начальством, пусть хоть неполные тачки таскают! Не могу я вечно «заряжать туфту», чтобы прокормить вас!

Не знаю, о чем говорил с ними Строганов в бараке, но на следующий день потянулись тачки, хоть и неполные, и пошел грунт в насыпь.

Как они меня крыли матом... Таких ругательств я в жизни не слышал.

— Сотский! — кричат они. — Берегись, как бы ломик на тебя не свалился!

Присутствующий при этом Долинский советует мне:

— Что вы с ними цацкаетесь? «Будьте добры, пожалуйста». Этих слов они не понимают. Здесь не институт благородных девиц. Кройте их ихним же матом, будьте настоящим лагерником!

Наука пошла впрок, и строгановская бригада постепенно начала втягиваться в общий темп работы и даже вышла в передовые. На слете ударников она была премирована тачками на шарикоподшипниках.

Несколько месяцев мы провели на 12-й колонне, и по окончании основных работ по сооружению земляного полотна часть людского состава и административно-технического персонала в августе 1938 года переводят на конечный участок, в Таштагол — на 95-й километр будущей дороги, на колонну 14. Начальник колонны — заключенный Бублик, прораб колонны — заключенный Кузнецов Василий Васильевич.

Одновременно поступает приказ по лагерю о переходе отдельных лагпунктов (как стали теперь именовать колонны) на самоснабжение. Всю гулаговскую солонину, поступающую на питание зэков, нужно было сдавать на колбасную фабрику в Темиртау и на деньги, вырученные от ее продажи, приобретать для питания заключенных у местного населения — шорцев — мясо сарлыка, себестоимость которого в семь раз была дешевле гулаговской солонины.

На ОЛПах (отдельных лагерных пунктах) открываются ларьки, организуются буфеты (на 14-м ОЛПе организован был буфет, в котором повар мог приготовить за плату любое заказное блюдо. Ведал буфетом бывший шеф-повар ресторана «Метрополь» Василий Васильевич Штейнгардт). Был спущен для ИТР дополнительный АКовский (административно-командный) паек, введенный в свое время Берманом для БАМлага.

Прибывающие из других лагерей про наш ОЛП с удивлением говорили:

— Ну, у вас тут форменный курорт!

Со счетовода, продстола и повара Бублик требовал варить суп такой, чтобы ложка стояла.

Все мечтали о скором освобождении. Приказы о представлении к досрочному освобождению и смягчению срока наказания появлялись частенько на дверях в УРЧ; шло что-то вроде пересмотра дел, и кто-то выходил на свободу. Все считали, что волна репрессий стихает. Ежов снят, но, как оказалось, механизм преследования продолжал работать.

Весной 1939 года поступает этап из Белоруссии. Жители города Орша все как один обвинены в шпионаже в пользу Польши и в том, что готовили диверсию на мосту через Днепр.

Только один человек из вновь прибывшего пополнения, бывший председатель обкома профсоюзов Анис, оказался «латвийским шпионом» и показал на следствии, что он уже взорвал мост через Днепр. На следующий день Анис был жестоко избит следователем за дачу ложных показаний, но продолжал настаивать на своей версии. Все равно был осужден Тройкой на 10 лет ИТЛ.

Начальство торопится сдать к сроку железнодорожные пути. Бригады работают в оцеплении охраны. На каждого работника — один метр по фронту. Гремят взрывы на скальных участках — аммонала не жалеют. Люди работают, как львы. Каждый хочет заработать досрочное освобождение.

Меня переводят в топографическую группу, где работаю техником-камеральщиком. Случилось это так. Как-то, работая с бригадой, я восстанавливал ось трассы объекта, которую трудно было сохранить на выемках при тачечной и грабарочной возке. Связав из шнурков от старых лаптей (наша обувь) веревку длиной двадцать метров, при помощи палки, разбитой на дециметровые деления, я по хордам разбивал кривую.

Не заметил, как подошла группа начальства и встала за спиной.

— Вы топограф? — слышу голос.

Поворачиваюсь — передо мной начальник строительства в сопровождении свиты: начальника топографического отдела Шевченко В. А., начальника отдела гражданских сооружений Чечельницкого Д. И.

— Десятник такой-то. Разбиваю кривую, чтобы не перебрать выемку.

— А чем занят топограф?

— Он работает на другом объекте.

Переспросив фамилию, пошли дальше.

Вечером вызывает начальник УРЧ:

— Есть приказ зачислить тебя в топографический отдел. Завтра пойдешь в топогруппу.

Топогруппа помещалась в зоне, в просторной комнате, где топографы работали и спали.

Старшим топографом был Побежимов Павел Иванович, бывший курсант военного училища, имеющий пятилетний срок за агитацию, выразившуюся в том, что на политзанятиях он обратился к политруку с вопросом:

— Правда ли, что Троцкий был хороший оратор?

Нивелировщик Смолкин Михаил, бывший старший лейтенант конвойных войск НКВД, как-то поделился своими сомнениями с политруком о степени виновности людей, сопровождаемых ими в этапе. Цена сомнений обернулась 58-й статьей с пятилетним сроком.

Поселился я в этой кабинке и приступил к вычислительным и чертежным работам.

Среди «плеяды» топографов в лагере, на 15-м ОЛПе, был и такой Костя Музыкин, осужденный по статье 59, пункт 3 (бандитизм). Очень скромный, он ничем не оправдывал своей статьи, хотя и помещался на лагпункте, где была собрана вся блатная элита и китайцы из армии генерала Ма, оттесненные за нашу границу японцами. Харьковский студент, он вместе с двумя однокурсниками во время практики вел топографическую съемку на Памире вблизи госграницы, и вся их группа была схвачена басмачами и уведена в

Афганистан. Некоторое время басмачи, ожидая богатого выкупа, держали их в тюрьме — в яме, но случай помог. У одного из охранников отказала винтовка. Костя взялся починить и устранил поломку. Слух о мастере дошел до курбаши. Мастера на Востоке пользуются большим уважением среди населения, и курбаши сделал подарок («пешкеш») правителю Афганистана Амануллахану, передав ему своих пленников.

Аманулла-хан вместе с женой Сарие только что совершил большой вояж по Европе, побывал и в Советском Союзе. Он решил провести новые реформы в Афганистане — приблизить страну к европейскому устройству государства. Реорганизовал армию, женщинам повелел сбросить чадру — чем особенно возмутились правоверные мусульмане.

Личная охрана хана вербовалась из европейцев, куда были включены и Музыкин с товарищами по несчастью. Переворот, организованный курдскими племенами под руководством Бачаи Сакао, заставил Аманулла-хана бежать. Все ближайшее окружение хана поспешило скрыться, а Костя Музыкин вместе с товарищами направился в Советский Союз, и при переходе границы они были задержаны и осуждены потом как басмачи.

Однажды колонну, где содержался Костя, посетил начальник топографического отдела (фамилию забыл) в чине старшего лейтенанта. Он застал Костю за чисткой теодолита. Углядев разобранные детали инструмента, грозно спросил, как он посмел самовольно копаться в оптике высокой точности.

— Произошла неприятность, — отвечает Костя. — Рабочий — подносчик инструмента, споткнувшись, упал, уронил теодолит и погнул оптическую ось трубы. Но я ее выправил на березовом полене легкими ударами молотка.

— Почему не оформлено актом? Почему не довели до моего сведения? — продолжал бушевать начальник топографического отдела.

Рапортом доложил начальнику строительства Макарову о безобразном хранении геоинструмента топографом.

Ознакомившись с рапортом, Макаров немедленно отправил того старшего лейтенанта в отдел кадров ГУЛЖДС, поставив на эту должность бывшего заключенного Шевченко Владимира Андреевича, отбывшего пятилетний срок и оставшегося по вольному найму в системе лагеря.

Близость обещанной начальством свободы удвоила силы строителей. Бригады отказались уходить с объекта, охране приходилось менять на объекте уставших стрелков, заменяя их свежими *вертухаями*.

И вот в 1940 году ко дню Красной армии летит в Москву телеграмма о готовности железнодорожного пути, хотя мост через реку Кондому к месторождению еще далеко не был готов. На торжественное открытие прибыли корреспонденты столичных газет, кинохроникеры и целая свита из верхнего эшелона ГУЛага — ГУЛЖДС, от НКПС (Народного комиссариата путей сообщения) и НКЧМ (Народного комиссариата черной металлургии).

Три вагона-гондолы за ночь были нагружены рудой, вывезенной через Кондому обозом лошадей. Утром под треск киносъёмочных аппаратов руководство лагеря догружало специально оставленные куски руды в гондолы. Подошел паровоз, и под грохот салюта, подготовленного начальником буровзрывных работ Карповым, эшелон с рудой (из трех вагонов) двинулся на рудообогатительную фабрику в Темиртау. Газеты шумно отметили завершение строительства пути, объявленного «великой комсомольской стройкой».



Завершены основные земляные работы. Остались доделка моста, укрепительные работы и балластировка. Финансовая отдача на этих работах незначительная. Нужно как-то выходить из положения с планом, и начальник строительства обращается к топографам, собранным на совещание в Управлении:

— Ну, туфтографы, потряните заначками, людей как-то надо кормить, а профильная кубатура уже исчерпана!

«Тряхнули заначками» топографы, и почти год держался лагерь на реализации «заначек» кубатурой, согласованной и оформленной подписями инспекторов НКПС и Наркомчермета, курирующих стройку.

Самым покладистым был инспектор НКЧМ Лютов Федор Петрович, охотно подписывающий порой липовые акты на скрытые работы. Подписывая зондировочные акты на осадку насыпи, он, вздыхая, говорил:

— Что ж, лагерь без денег оставлять нельзя, как нельзя и строителей оставить без заработанного куска хлеба.

Зачастили на лагпункт кумовья. Частым гостем лагпункта был опер «дядя Вася» Ширяев, прощупывающий настроение обитателей. Всякое его появление на лагпункте приводило в трепет всех — от зэка до начальника ОЛПа старшего лейтенанта Чуприна, сменившего освободившегося к тому времени Бублика.

— Какая-то сволочь завелась на нашем лагпункте, — посетовал как-то начальник, зайдя в нашу кабину. — Накапали на меня, что я использую зэков в ремонте своей квартиры, выразившемся в штукатурке и побелке, и якобы гоняю казенных лошадей в село Спасск по личным надобностям! Кто, по-вашему, может дать такие сведения в Оперчекотдел?

Мы и сами были в недоумении. Недавно вызывали нивелировщика Смолкина, интересуясь нашими разговорами в узком кругу, теперь трясут барак АТП (административно-технический персонал).

ОЛП походил на растревоженный муравейник. Каждый в другом подозревал сексота. Митя Павловский, контрольный десятник, как-то в бараке АТП сказал:

— Ну, сегодня я убедился, кто стучит...

— Кто? — выдохнули и замерли обитатели барака.

— Стучат, братцы, и еще как стучат, клепальщики на мосту через реку Кондому!

Но стукача однажды накрыли (фамилии его не упоминаю, так как живы его дети). В его рабочем столе был случайно обнаружен пакет, адресованный начальнику Оперчекотдела с клеветническими вымыслами на ряд работников АТП и вольнонаемного состава.

С этой клеветой был ознакомлен весь лагпункт, и сменивший освободившегося Бублика начальник лагпункта старший лейтенант Чуприн отдал приказ перевести стукача на общие работы, посадить в карцер, вещи его из барака АТП выкинуть.

Через несколько дней стукача отправляют на штабную колонну.

## **Глава 12**

### **На стройку железной дороги Коноша — Котлас**

Поползли слухи о ликвидации Горшорлага НКВД и передаче его контингента Сиблагу НКВД на отделочные работы. Макарова переводят на новую стройку. Разрешают забрать с собой пятьдесят заключенных из управленческого аппарата и несколько строительных бригад.

Весной 1941 года нашу топогруппу перебрасывают на штабную колонну и грузят в эшелон, подготовленный к отправке. Едем на Север, сопровождаемые своей охраной. В Омске эшелон проходит баню. В Коноше часть эшелона сгружают, остальные едут до Вельска, где наш эшелон окончательно разгружается.

Раздается команда:

— Всю ручную кладь сложить в сани, путь неблизкий, будем идти пешком.

Идти пешком пришлось около семидесяти километров. Без дороги, лесом, по санному следу ушедшего вперед обоза с нашими пожитками. И только глубокой ночью, едва волоча ноги, добрались до трех раскинутых палаток с затесом на сосне и надписью «5 колонна». Две палатки — под этап, одна палатка — под охрану. Кругом тайга, пища готовилась на костре в огромном котле. Хлеб, заброшенный ранее, застыл на морозе, и выдавалась одна двухкилограммовая булка на двух человек.

Первая очередь строительства — зона с вышками, барак для охраны; в зоне — кухня, столовая, баня и медпункт.

Административно-технический персонал приступил к строительству лежневки. 18 марта, как сейчас помню, на работе так разогрелись, что сбросили телогрейки. Потные и разгоряченные, остановились перекурить. Я поленился подойти к сброшенной телогрейке и надеть ее, а на следующий день утром затемпературил и был отправлен в лазарет на будущую станцию Шангалы с воспалением легких.

Больница размещалась в палатках. Сплошные нары из жердей, все больные, заразные и незаразные, лежали вперемешку. Лекарств никаких, кроме таблеток от авитаминоза. Врачи были из Кремлевской больницы; их осудили по делу Плетнева — главврача этой больницы, проходившего по процессу троцкистско-зиновьевской оппозиции. Главврачом лазарета была капитан медслужбы Логачева. Среди медсестер оказалась писательница Галина Серебрякова.

Очень много лежало в лазарете дизентерийных больных из контингента лесозаготовительного Кулайлага, влившегося в Севдвинлаг.

Ежедневно несколько человек отправлялись на тот свет. Даже был случай, когда совершенно здоровый блатарь, уговоривший каким-то путем лекпома выдать ему направление в лазарет, чтобы отдохнуть, умер на пятый день пребывания в нем, заразившись дизентерией.

Молодость взяла свое, таблетки каротина помогли, и я постепенно стал выздоравливать. На колонне у меня были порошки кодеина от кашля, и я стал проситься на выписку.

Вернулся на колонну и не узнаю ее. Уже огорожена зона, стоят бараки, вышки по углам зоны, и полно народу. На стройку перебросили два лагеря с ветки Сорока — Обозерская (Сороклаг НКВД) и лагеря из Медвежьегорска. Уже протянута лежневая дорога, связывающая нас с внешним миром. Начальником 5-й

колонны назначен Коломейцев И. И., заключенный из Сороклага. Кто он был на воле, никто не знал, но какое-то, видимо, большое начальство. Сам командир взвода охраны без стука в дверь не заходил к нему в кабинет. Жил он за зоной, питался в столовой для вольнонаемных и человек был, кажется, неплохой.

Долго пробыть на 5-й колонне не пришлось. За май и начало июня я успел восстановить трассу на всем протяжении шестикилометрового участка, а участки насыпей оборудовал лекалами. Встречая во время работы стариков вельчан, пытаюсь узнать о новостях. Но в этой глухомани что-либо узнать было невозможно. Газеты не поступали, телефона и радио не было, но дотошные старики все в один голос говорили:

— Смотри, паря, как бы войне не быть, гляди, сколько воронья налетело, да и бабы блядовать стали... Верная примета — так же было перед германской войной.

Вороны действительно усеивали лежневку, выклеывая личинок жуков-короедов.

## **Глава 13**

### **В годы войны**

Наступило 22 июня. Германия напала на Советский Союз. Утром хочу выйти на работу — не разрешают, пропуск отбирают, предлагают быстро собрать вещи и вместе с нивелировщиком Петерсоном, эстонцем со станции Няндомы, под конвоем отправляют на 7-ю колонну, где со всех ближайших колонн уже собрали «махровый букет врагов народа»: Фаина Григорьевна Блюмкина-Браун — сестра чекиста Блюмкина, убившего германского посла Мирбаха; два представителя венгерской секции Коминтерна — секретарь секции Матяш, фамилия второго, молодого, в памяти не сохранилась; генерал Тодорский; бельгийский подданный Де Клерк; Астахова — жена бывшего работника советского посольства в Германии; Мироненко — женатый на дочери чехословацкого премьера Масарика, что послужило поводом к обвинению его в шпионаже; баронесса Такке-Долореско — румынка; инженер-механик Копф — двадцатипятилетний американец, работавший на монтаже американского оборудования на одном из наших заводов; поляки, эстонцы, литовцы, латыши, люди немецкой национальности — кого там только не было!

Сидели все на гарантийном пайке. На работу не выводят. Все находятся в томительном ожидании чего-то неизвестного. Уж не собрались ли хлопнуть нас без некролога?

Так прошло два месяца.

За этот период участок строительства железной дороги Коноша — Котлас оказался в прифронтовой полосе под юрисдикцией военных властей. Работы по

трассе начали замирать, и лагерь стал готовиться к возможной эвакуации. Но Москва решила иначе, и работы возобновились.

Возвращаюсь обратно на 5-ю колонну следить за строительством полотна дороги. Но выход на работу за зону усложнялся. Выводили меня теперь в сопровождении стрелка.

В один из таких выходов встречаю на трассе Макарова со свитой. Узнав меня, он подошел, поздоровался, сказал своим сопровождающим:

— Еще один наш горшорлаговец встретился.

— Как работается? — обратился ко мне. — И, увидев стрелка с винтовкой, удивленно спросил: — А это что за человек?

— Мой личный конвой, охраняет меня от нападения возможных парашютистов, — отвечаю я.

Макаров подозвал начальника охраны лагеря и спросил:

— Какую зарплату получает стрелок?

— Семьсот рублей, — последовал ответ.

— Так вот, эту сумму я отнесу на вас. А сейчас дайте команду о немедленной выдаче пропуска Болдыреву.

С этого времени я опять расконвоирован.

Лагпункты пополняют людьми свежего набора. Годичники — по новому указу за опоздание на работу, стройбатовцы, военнопленные и интернированные поляки, спецпереселенцы — немцы с Поволжья — каких только горемык не побывало в этих местах!

С заморозками там, где еще не производились земляные работы, раскорчевывали пни и укладывали звенья рельсов прямо по земле, по «зеленым отметкам». На участках мостовых переходов строились обходы-временки с мостиками на шпальных клетках, и к концу 1941 года стали пропускать первые составы с ранеными бойцами.

Питание в лагере ухудшалось с каждым днем. Хлебный паек терял вес, норма выдачи снижалась. Хлеб выпекался с присадкой из жмыхов, овсяных отрубей с мякиной — с так называемыми сметками. Гарантийная хлебная норма достигала 400 граммов. Заключение бухгалтер в целях экономии мяса, жиров и крупы дал распоряжение заменить все мукой. Вместо супа и каши готовилась затируха из двух компонентов: воды и муки, что-то вроде клейстера, и люди стали постепенно превращаться в доходяг, началась цинга.

Первыми стали умирать указники<sup>[10]</sup>, имевшие за спиной небольшой срок. Они работали вполсилы. Рылись по выгребным ямам, подбирая картофельные очистки, и, потихоньку превращаясь в бродячие скелеты, гибли от истощения. Бывало, с работы приносили таких в зону, складывали в подсобку при бараке, чтобы на следующее утро, после развода, вывезти на кладбище, привязав фанерную бирку с установочными данными к ноге мертвеца.

На вахте дежурный охранник заостренным металлическим прутом протыкал трупы, убеждаясь, что не вывозят живых.

Крепче всех оказались большесрочники из Горшорлага. Им нельзя было терять присутствия духа, опускать руки и падать духом. Железным законом для каждого большесрочника было любой ценой выжить и дожидаться освобождения.

Мне, безусловно, было легче. Я был расконвоирован. Расконвоированный зэк — это поддельный свободный человек, фальшивый гражданин страны, напоминающий стреноженную лошадь без табунщика. Он мог отправиться в населенный пункт, посетить магазин, клуб. Лишь бы не напороться на оперативника.

Выйдя за зону, я всегда имел возможность набрать грибов, ягод. Из пекарни, несмотря на все строгости по



расходу продуктов, пекари, бывшие мои рабочие, ранее расконвоированные по моей докладной и затем сменившие работу в топографическом отряде на работу в пекарне, понемногу снабжали меня хлебом.

Зимой, в конце 1941 года, пришло распоряжение отправить меня в Котлас на разбивку оси моста через реку Северная Двина. Зима была очень жестокая. Морозы доходили до 50 градусов. Как положено при этапировании между строительными точками, с пропуском на бесконвойное хождение в кармане и с охранником за спиной, двинулся я в большой пеший переход.

Шли вдоль полотна дороги мимо работающих бригад, останавливаясь лишь для обогрева у больших костров. В пути я обморозил ноги и был возвращен обратно на 5-ю колонну.

— Обморожение третьей степени, — дал заключение лекпом.

Приехал на колонну начальник санотдела 3-го отделения Севдвинлага доктор — майор Тер-Масевосян. Увидя почерневшие стопы ног, он распорядился отправить меня в Шангальский лазарет, где мне хотели ампутировать пораженные гангреной стопы, на что я дал категорический отказ.

— Ну и лечись сам, — с тем и уехал.

С месяц я лежал у себя в кабинке. Лечили меня лекпом колонны и две молоденькие медсестры, приехавшие на практику и застрявшие у нас из-за войны.

Приезд Макарова на колонну дал некоторое улучшение в питании заключенных. Бухгалтер, что сэкономил продукты (к тому же и стукач кума Сушко), был снят с должности, изгнан на общие работы и впоследствии судим, получив довесок — 10 лет. Питание было улучшено, и у столовой была выставлена

бочка соленой хамсы. Желающие могли брать ее сколько угодно.

У лекпома появилось противощинготное средство — моченый горох, рыбий жир, и колонна была объявлена оздоровительно-питательным пунктом, то есть слабосилкой.

В феврале 1942 года трассу посетило высокое начальство, сам начальник ГУЛага — строитель Беломорканала Френкель — и приказал работающим на трассе выдавать по 100 граммов спирта и на закуску пироги, именуемые среди лагерников бамовским названием — бермановскими лаптями.

— Лучших работников представить мне списком на досрочное освобождение! — последовал приказ.

Были такие на нашей колонне: землекоп Завгородний, крепкий плечистый мужик, он выполнял четыре-пять норм в день. Был представлен начальнику ГУЛага и в тот же день освобожден, несмотря на каэровскую статью и 10 лет срока.

Начали уходить из лагеря бывшие военнослужащие. По освобождении отправлялись прямо на фронт. Стали приезжать с фронта вербовщики-офицеры, предлагая бытовикам добровольно пойти на фронт. И люди уходили с большой охотой.

На мои заявления в Прокуратуру СССР, Ворошилову и Калининну о желании добровольно идти на фронт ответа так и не поступило.

Уезжают заключенные-поляки, интернированные жители польских городов, кому мы в 1939 году протянули «братскую руку», в формируемую польскую армию генерала Андерса. На вышках лагеря появились бородатые пожилые архангелогородцы, призванные по мобилизации и заменившие молодых стрелков охраны, отправленных защищать Родину. Нередко я становился очевидцем таких картин: под колючую проволоку внутрилагерной зоны лезет лагерный фитиль подобрать

окурки под вышкой, и вместо окрика «Стой! Стрелять буду!» слышишь прозаическое: «Паря, слышь, под проволоку не лазь! Начальник увидит — заругает!»

Стрелки, сопровождающие бригады, стали уж не те, что раньше. Большую часть своего времени они проводили не на вышках; бывало, сядет стрелок среди бригады и объявит общий перекур, да еще угостит бригадников самосадом из своего кисета.

— Вас скоро освободят, люди фронту нужны. Возможно, и нам придется под вашей командой служить, — бывало, говорили они.

Режим менялся прямо на глазах. Но были еще хранители традиций ужесточения внутрилагерного режима. Это Оперчекотдел и его сотрудники, вертухаи — надзирательский состав, ведающий лагерными сексотами.

Особенно отличались своим рвением Барчук, Бардаков и Третьяк. Последний на глазах охраны бригады и моих сорвал с головы заключенного Бобошина лагерную шапку и забросил ее в кусты, приказав поднять ее. Недалекий дебил Бобошин пошел за шапкой и был убит выстрелом в затылок, как при попытке к побегу. Этим «подвигом» Третьяк заслужил десятидневный отпуск.

На колоннах заводились лагерные «дела» по обвинению в пораженческих настроениях. «Дела» создавались стукачами, и результат был один: кому расстрел, кому новый срок.

Так был подведен под расстрел топограф Котласского участка Побежимов (впоследствии этот приговор ему заменили новым сроком). Встретил я его в Шангальском лазарете, психика его была подорвана. В 1943 году медкомиссия подвела его под 458-ю статью УПК, и его освободили. Некоторое время он работал в лагере, потом был отправлен на фронт. Но фронтовая

медкомиссия признала его непригодным к военной службе, и его демобилизовали.

Лагерь пополняется свежими этапами. Однажды со спецэтапом поступили бывший начальник НКВД Сталинского района Москвы Иван Иванович Стуков (сын старого большевика, тоже работника НКВД), Митрофан Владимирович Иванов, кремлевский прораб по ремонту квартир, прокурор по надзору Мальбахов и прокурор Москвы Цвирко-Годыцкий, осужденные на 5-летний срок Особым совещанием войск МВД города Москвы за служебные упущения.

Стуков был сразу назначен начальником колонны на станции Подюга, Иванов стал прорабом штабной колонны, прокуроры Цвирко-Годыцкий и Мальбахов направлены на 9-ю колонну на станцию Илеза.

Прокурору Мальбахову очень не понравился произвол, царящий на колонне, и он начал воевать с охраной, творящей беззаконие. Был посажен в карцер, по выходе отказался работать, стал требовать прокурора. Начальник Оперчекотдела Сушко подвел его под трибунал. Получив доверок в 10 лет, Мальбахов ухитрился через вольных послать петицию в Москву. Шел уже 43-й год, менялась политика, и менялся режим. Из Москвы приезжает комиссия, ведет допросы лагерников и, забрав с собой Мальбахова, уезжает в Москву. Сушко получил перевод в Воркуту, но в пути следования был арестован, судим и, по слухам, расстрелян.

Стукова во второй половине 1943 года освобождают. Он мне поведал о том, что его ожидает заброска в партизанский отряд, действующий в глубоком немецком тылу. Глядя на растерянный вид Ивана Ивановича Стукова, было понятно его состояние — как говорится, из огня да в полымя.

Потеплело и отношение охраны к зэкам. Заметно начал смягчаться режим, и однажды охрана пригласила

зэков на общее собрание.

Начальник политотдела охраны в своем докладе о международном положении обрисовал положение на фронтах Великой Отечественной войны и обратился к присутствующим с просьбой о пожертвовании денег в фонд обороны. И вольная обслуга, и зэки с энтузиазмом восприняли патриотический призыв. Почти у каждого зэка имелись деньги в так называемом фонде освобождения, и эти деньги были отданы стране.

Вся освобождающаяся молодежь, независимо от статей, отправляется на фронт, в штрафные роты — в армию Рокоссовского, который сам до 1940 года отбывал наказание в этих же северных краях и, как говорят, был завбаней на станции Ижма на железной дороге Котлас — Воркута.

Идет новый набор поляков во Вторую польскую армию полковника Берлинга. Подбирают все остатки от прошлого набора, принимают даже русских с польской фамилией.

С Воркутинского направления привезли князя Святополк-Мирского, оборванного лагерного фитиля. В срочном порядке был ему сшит из комсоставовского форменного синего сукна приличный костюм, и, когда он обрел нормальный вид, его передали членам польского консульства в Котласе.

Ушел на фронт и топограф со станции Подюга (участок Коноша — Вельск). Чтобы не оголять участок и не оставлять его без технадзора, распоряжением начальника лагеря мне вменили в обязанность вести на нем контроль работ. Таким образом, плечо обслуживания выросло до 160 километров, и я превратился в «кочевника».

На станции Усть-Шоноша, где начальником колонны и прорабом был зэк Лунев, я обратил внимание на станционные пути, расположенные на кривой радиусом 600 метров, — как бы сдавленные и лежащие

волнообразно. Проверяю центры стрелочных переводов западной горловины и вижу: они в количестве восемнадцати штук уложены не на проектном положении. Доложил об этом Луневу и высказал свои соображения: все стрелки западной горловины требуют установки на проектные места. Необходимо смещать их центры от одного до полутора метров на запад. Лунев на дыбы:

— Мне дал такую разбивку топограф!

А чем докажешь? Человек на фронте, а ты здесь, ведь не с меня спросят, а с тебя. Оперчекотдел только и ждет какой-либо зацепки, чтобы оправдать свое присутствие. Стукнет кто-нибудь... и Лунев накрылся.

— Ставь бригаду на перенос стрелок, пиши балластировку, а «спрятать» излишнюю кубатуру я всегда сумею.

Работы по передвижке стрелок были выполнены. Стрелочная улица и станционные кривые приняли плавный вид. Вот тут и случилась беда. Неожиданный визит нанес начальник ПРО (производственного отдела) инженер-майор Вологдин Я. И. Он заметил работу путейцев, устанавливающих последнюю стрелку на проектное место, и просил Луневу передать по селектору в контрольно-плановый отдел, чтобы там учли 300 тысяч рублей за восемнадцать поставленных стрелок.

Лунев сознался, что эту сумму он уже показал ранее, а сейчас по распоряжению инженера передвигает стрелки на проектные места.

— Как?! Какой-то зэк будет командовать здесь? — вскипел Вологдин. — Немедленно разыскать его по селекторной связи! Чтобы завтра он был у меня в кабинете!

Кабинет Вологдина среди сотрудников управления именовался «парилкой». Те, кого вызывали в кабинет, быстро проверяли заправку гимнастерки, косточкой

указательного пальца вежливо стучали в дверь и льстивым голосом просили разрешения войти. Нередко после очередного разноса люди вылетали оттуда пулей, растерянные, с сумасшедшими глазами.

Вот и я должен был предстать пред «грозные очи» большого начальства. Открываю дверь, докладываю, объясняю причины передвижки стрелок в уже уложенных путях, но Яков Иванович, срываясь на фальцет, обрушивает на меня поток угроз:

— Я тебя отдам под суд! Вредитель! Пойдешь под трибунал!

Для меня эти угрозы были смешны. Я настолько привык к положению зэка, что уже не представлял себе, как живут и работают люди на воле, где нет ни надзирателей, ни конвоя.

— Хорошо, — говорю Вологодину. — Сяду я, но вместе со мной на скамье подсудимых будете сидеть и вы.

Казалось, что от ярости у начальника ПРО даже погоны встали дыбом на плечах. С поднятыми кулаками он выскочил из-за стола, схватил телефонный аппарат, с размаху грохнул его об пол.

— Вон! — закричал он, топая ногами. — Вон из кабинета! На общие работы! В пердильник! (Карцер. — *Н.Б.*)

Что ж, судьба повернулась ко мне спиной. Сажу на штабной колонне и жду определения своей горькой участи. Дни идут, а меня ни в карцер, как подсудимого, не определяют, ни в бригады общих работ не назначают, и пропуск на бесконвойное хождение не отобран. Через неделю вызывает меня заместитель начальника ПРО — Ювеницкий.

— Выезжайте на строительство моста через реку Ерга на ликвидацию Ергинского обхода. Надо во что бы то ни стало вписать в трассу готовые опоры моста

путем любого изменения оси трассы. Но чтобы ось моста прошла через готовые опоры.

Предыстория объекта такова: на строительстве моста и подходов к нему работали солдаты-стройбатовцы. Жизнь у них была еще хуже, чем у заключенных. Голодные, в изорванном обмундировании, давно подлежащем списанию, в драных шинелях с обгорелыми полами, трудились эти несчастные люди, виноватые лишь в том, что были набраны из спецпереселенцев — лиц немецкой национальности или баптистов, сосланных за религиозные убеждения. Они успели поставить береговую опору моста, заложить фундамент под другую опору и два фундамента под промежуточные опоры. Подходы к мосту были отсыпаны на полный профиль.

Убывает на фронт топограф, обслуживающий мост, и на этот объект приезжает один сотрудник из вольнонаемных (фамилии его называть не буду), и непонятно каким образом он находит, что мост строится в стороне от проектной оси на 34 сантиметра.

Начальство поразил шок. Идет война, а тут такое ЧП! Завяжется следствие, будет суд — по законам военного времени определенно расстрел!

Строительство моста законсервировали, стройбат переводят на Котласский мостозавод. Около года простоял объект под консервацией, а срок сдачи дороги НКПС приближается. Надо было искать выход из создавшегося положения, и на разведку был послан я.

Восстанавливаю трассу дороги, тщательно разбиваю кривую, так как мост располагался на кривой радиусом 2000 метров, и убеждаюсь, что опоры моста на месте. По селектору сообщаю начальству, и через несколько часов прибывает состав из двух платформ с мостовозом, людьми и оборудованием.

Сгрузили бетономешалку, кубло, ЖЭС (железнодорожную передвижную электростанцию),



электромоторы, лебедки, и на следующий день закипела работа. В течение трех месяцев сооружение опор закончилось, и было надвинуто пролетное строение, изготовленное Котласским мостозаводом из спецметалла от разборки каркаса Дома Советов. (Та стройка была начата, но в связи с войной приостановлена. Каркас был разобран на нужды фронта и на мосты строящейся железнодорожной линии Коноша — Котлас.)

К 7 ноября 1944 года мост был досрочно сдан НКПС. Всех, кто принимал участие в строительстве моста, руководство лагеря представило к досрочному освобождению.

Архангельская область. Край болот и лесов, дорог почти нет. В глубинку можно попасть либо пешком, либо на волокуше в конной запряжке. Только по лежневке, протянутой между Вельском и Котласом вдоль строящегося пути, можно проехать на машине.

Среди тайги разбросаны поселки, где живут потомки новгородцев-раскольников, бежавших от преследований царя Петра. В таких глухих селах старики-бородачи выражали недовольство строительством железной дороги.

— Цугунники-колоницы, — говорили они о строителях, — построили железную дорогу, по которой понаедет власть и обложит нас налогом. Раньше, паря, деньгами в Коноше откупались, пешком туда ходили, а сейчас понаехали фининспекторы, и курочку подай, и иички подай, а раньше к нам власть не заглядывала.

Край был голодный. Земли, удобной для пахоты, мало. Ходила там поговорка: «Не то беда, что в хлебе лебеда, не было б беды — ни хлеба, ни лебеды!» Засевали горох, сажали картошку — чем только не питались. Держали немного скотины — в такой таежной

глухумани порой удавалось доставать картошку путем обмена на одежду.

В поселке Сум-Посад одиноко жила мать главнокомандующего ВМФ Н. Д. Кузнецова, скромная учительница.

## **Глава 14**

### **Первые годы после войны**

Наконец наступил долгожданный день Победы! В лагерных бараках сделали проверку радио и повесили репродукторы.

Мощный голос Левитана торжественно объявил об окончании войны и о полной капитуляции Германии. Невозможно описать радость лагерников. Ликование было неизмеримо. Радость победы и надежда на возможность скорого освобождения охватили всех; даже урки, утверждавшие ранее, что «нам все равно, какая власть, Сталин ли, Гитлер ли, все равно будем воровать», и те радовались вместе со всеми:

— Братва! Наша взяла!

Не успел я выйти за вахту, как попал в компанию железнодорожников, отмечающих день Победы, и обратно до вахты добирался уже ползком. В этот день возвращающихся пьяных зэков охрана не тащила в кондей, а рекомендовала им идти спать и не попадаться надзирателям на глаза.

Улучшился рацион питания. Из Архангельска стали забрасывать продукты, поступающие по ленд-лизу из Америки. Появилась в каптерках свиная тушенка; хлеб выпекался уже без примеси, из ленд-лизовской муки; выдавали жиры — маргарин, комбижир, лярд, — которых так не хватало в войну. В лагерь начали поступать этапы военных, осужденных военным трибуналом за различные преступления, в основном за мародерство. То, что прощалось во время войны на территории Германии, уже не прощалось теперь, после Победы. Так, прибыл на наш лагпункт лихой майор Вася Орлов, не раз побывавший в штрафбате. Он был командиром разведроты, передислоцированной из

Германии в Литву, где его подчиненные застрелили свинью, принадлежащую литовцу.

— В Германии за это не наказывали, — горько сетовал он. — А вот в паршивой Литве попал под трибунал.

Прибывают интернированные «цивильные» немцы из города Швибус, следом приходит эшелон с военнопленными немцами и словаками, служившими в немецкой армии, провозят на Воркуту власовцев и полицаев с 25-летними сроками — словом, идет великое переселение народов на «великую стройку» сталинской эпохи.

Интернированное гражданское население и военнопленные немцы размещаются в пустующих постройках и включаются в общелагерные работы. Бригады военнопленных возглавляют «цугфюреры» (бригадиры), владеющие русским языком, в большинстве своем из жителей расположенных близ Одессы немецких поселков, и как «остдойче» призванные в немецкую армию.

Немцы, обращаясь с каким-либо вопросом к русскому, будь то вольнонаемный или заключенный, титуловали его «господин стрелок» или «господин инженер», тянулись в струнку перед самым последним доходягой. Обращение к пленным — «криггефангенен».

Разница в содержании военнопленных и охраняющих их стрелков была парадоксальной. Пак военнопленные получали в соответствии с нормой, принятой в гитлеровской армии, куда входили: белый хлеб — 1,2 килограмма, ежедневно сахар, масло сливочное и хороший приварок. Стоящие же на их охране полуголодные стрелки получали 600 граммов хлеба-суррогата и паек военнослужащих тыла.

Через год-два после окончания войны (1946–1947) часть немцев отправили в ГДР. Оставшихся

перебросили на восстановление разрушенных войной городов.

Дорога Коноша — Котлас была принята правительственной комиссией в эксплуатацию. Оставались работы по строительству железнодорожных казарм, депо, жилых домов и других гражданских сооружений.

Севдвинлаг оказался на грани ликвидации. Макарова, начальника строительства, переводят на другой участок стройки.

В эти годы Америка и другие западные державы вступают в «холодную войну» с СССР. Би-би-си и «Голос Америки» заполняли эфир сообщениями о рабском труде в Советском Союзе. Организация Объединенных Наций готовит комиссию по проверке содержания заключенных в северных лагерях.

В ожидании комиссии в лагере меняется режим. Нары из барачных убранны. Поставлены металлические койки, выданы комплекты постельных принадлежностей, заключенным выдается зарплата с удержанием на охрану, питание и обмундирование (что-то около 90 % заработка), остальное выдается на руки. Питание становится лучше, на лагпунктах появляются ларьки, где можно приобрести нехитрые продукты питания, курево. Улучшается и медпомощь. Сменяется верхний эшелон лагерной иерархии: вместо полковника Ключкина возглавили власть полковник Барабанов и его заместитель Бодридзе (в романе Ажаева «Далеко от Москвы» они выведены под фамилиями Баранов и Беридзе).

Капитан Андрей Андреевич Мосевич формирует этап в основном бесконвойных строителей в город Кемерово. В число отъезжающих был включен и я.

Весной 1946 года, по нашему прибытии в Кемерово, развертывается строительство коттеджей для шахтеров на участке шахты «Северная».

Живу за зоной в бараке спецпоселенцев (так назывался контингент из бывших военнопленных, присланных в Кемерово на спецпоселение сроком на 6 лет). Это наши солдаты, попавшие в плен в 1941 году. Они прошли через все лагеря в Германии, неоднократно совершали побеги из плена, и в конце концов их собрали в лагере уничтожения в Норвегии на строительство подземного завода по переработке тяжелой воды для атомной бомбы. Их рассказы о первых месяцах войны были полны драматизма. Танковые клинья немцев рассекали наши войска на части, и люди дрались в окружении до тех пор, пока не иссякал запас патронов и гранат, и, обезоруженных, голодных, израненных, немцы их легко забирали в плен. Когда в Норвегии высадились англо-американские войска, военнопленные совместно с норвежскими партизанами захватили лагерь, и все лагерное командование было передано в руки союзников.

Союзники всех уцелевших военнопленных обмундировали соответственно званиям, выплатили денежное довольствие за все время плена и уговаривали не возвращаться на Родину — давали понять, что ничего хорошего их там не ждет.

Тут не замедлили появиться наши русаки-агитаторы с плакатами «Родина-мать ждет вас», офицеры рисовали перед военнопленными розовые картины, что на Родине их встретят с цветами и почетом. Союзники предоставили отъезжающим морское судно. Учитывая путь в высоких широтах до Архангельска, союзное командование снабдило каждого отъезжающего двумя верблюжьими пледами. Провожали их с цветами и оркестром.

Прибыли в Архангельск в дождливый день. Видят пустую пристань. Невдалеке расположилась какая-то воинская часть. К спускающимся по трапу пассажирам подошел энкавэдэшник и приказал:

— Всем сложить вещи в одну кучу и построиться.

Мгновенно они были окружены автоматчиками с собаками. Прозвучала команда:

— Звездочки с пилоток и погоны снять! Предатели, изменники Родины! — и в оцеплении охраны прямо с пристани их повели в тюрьму.

Около года возили их по тюрьмам. Допросы за допросами. Сначала СМЕРШ, потом НКВД: почему сдался, почему не застрелился?! Через год объявляют решение Особого совещания при НКВД: всем по 6 лет спецпоселения, кому в Кемеровскую область, кому в Красноярский край.

Этих солдат передали Кемеровожилстрою НКВД как рабочую силу. Ежедневно кого-нибудь из них выдергивали в трибунал и «за измену Родине» давали 25 лет лагерей, направляя на Колыму и в Заполярье на строительство железной дороги Воркута — Лабытнанги (стройка 501).

В 1948 году по Северу прокатилась волна восстаний. Двадцатипятилетники-солдаты, перенесшие страшные немецкие концлагеря, не смогли перенести ужаса сталинских лагерей. В Лабытнанги они ухитрились перебить охрану и, вооружившись, двинулись по болотам в сторону Воркуты под командованием бывшего заключенного, полковника Воронина, в надежде захватить радиостанцию и рассказать всему миру о творящихся в СССР беззакониях. По пути обезоруживали охрану встречных лагпунктов и освобождали заключенных.

Лагерная вохра, привыкшая пасти безоружных, не могла оказать какое-либо сопротивление. Были вызваны регулярные войска, артиллерия, танки и авиация. Воркута уже готовилась к эвакуации, но подоспевшая помощь остановила повстанцев под городом. Они были расстреляны с самолетов, уцелевших загнали в шахты.

Но это случится после, а сейчас идет 1946 год. Строим «дар правительства шахтерам» — благоустроенные коттеджи стоимостью 20 тысяч рублей с рассрочкой на двадцать лет. Этот «дар» вручался шахтерам за самоотверженную работу во время войны.

Работа была организована поточным методом. С домостроительного комбината поступали готовые детали домов, и на подготовительных каменных фундаментах производилась сборка, подключались вода, отопление, электроэнергия.

Я едва успевал выносить по координатам контуры зданий и надворных построек, следом шли землекопы, каменщики по кладке фундамента, за ними сборщики домов.

На подвозке леса к домостроительному комбинату работали военнопленные японцы из Квантунской армии. Японцы не считали себя пленными, объясняя: «Наш Микадо, ваш Сталин», и руками изображали рукопожатие: «Вам надо помогай».

В городе была напряженная обстановка. Свиристствовала, как говорили, большая банда «Черная кошка». Трещали кемеровские магазины, ограбление за ограблением. На дорогах патрулируют автоматчики, город словно на осадном положении. Пострадал наш надзиратель Бардаков — среди белого дня на улице ткнули его по голове, оглушили и отняли пистолет. В карьере, откуда наши машины вывозили камень на фундаменты, угнали самосвал.

В феврале 1947 года мне нужно было выехать на шахту «Северная» для согласования ряда вопросов с шахтоуправлением и горным надзором. Путь неблизкий — около десяти километров, а мороз 40 градусов. Начальник колонны распорядился запрячь его лошадь в санки, и с кучером из спецпоселенцев отправляюсь в путь.



Подъезжаю к шахтоуправлению, оставляю лошадь с кучером и прошу его никуда не отлучаться, а сам иду утрясать все служебные дела. Пробыл я не более часа, выхожу, ищу лошадь и кучера, но никого не вижу. Ну, думаю, очевидно, замерз и, не дождавшись меня, рванул обратно. Придется ловить попутку и с ней возвращаться.

Радом с шахтоуправлением чайная. Дай, думаю, зайду — хоть чайком побалуюсь, а навстречу мне из чайной выходит кучер.

— Где лошадь? — задаю ему вопрос.

— Да я только зашел погреться на минутку, лошадь стояла на привязи у коновязи...

Лошадь с санками успели украсть.

Вернувшись, написал объяснительную докладную о происшествии, думал, тем дело и закончится. Но не тут-то было. Оперчекотдел ухватился за возможность завести новое «дело» — о хищении подводы — и подвести его под Закон от 7 августа 1932 года, по которому за десять гвоздей, найденных в карманах рабочего, или за колоски, собранные на полях после уборки урожая, как и за крупные хищения, давали одинаковый срок — по 10 лет ИТЛ.

В это же время из Москвы пришло постановление о снижении мне срока, и я вот-вот должен был освободиться. Как я благодарен начальнику Кемеровожилстроя — Мосевичу Андрею Андреевичу, поставившему крест на раздуваемое новое дело и потребовавшему списания лошади и санок на убытки производства!

## **Глава 15**

### **Недолго на свободе**

На свободу я вышел 18 июня 1947 года. Меня усиленно уговаривали остаться при лагере по вольному найму, намекая, что с шестимесячным паспортом и 39-й паспортной статьей очень будет трудно прожить. Я категорически отказался. Только домой, к родителям.

Наши главные специалисты — профессора, доктора наук Щукин и Левановский, знавшие меня еще по Горшорлагу, написали отличную характеристику (Щукин и Левановский в свое время проходили по процессу Промпартии, отбывали срок на канале Беломорстроя, досрочно освободились, и с орденами Трудового Красного Знамени). Со справкой о досрочном освобождении и характеристикой я отбываю в Омск.

В Омске живу на нелегальном положении. Делаю попытку через знакомых устроиться на работу на железную дорогу. Начальник службы пути, посмотрев справку и характеристику, предлагает мне два места: начальником Куломзинского балластного карьера или начальником Железнодорожной части в городе Калачинске, добавляя, что такие люди, как я, им очень нужны. Вопрос о прописке может решить их железнодорожный НКВД. Забирает мои документы и обещает сообщить о результатах ходатайства.

Месяц проходит в ожидании. Я отдыхаю дома от всех передряг. Но как-то к отцу заходит преподаватель Омского педагогического института Грачев. Мне он сразу сделался подозрительным своими расспросами о лагерной жизни. Стараюсь перевести разговор на какие-нибудь пустяки.

Грачев оказался стукачом, и буквально через два-три дня после его посещения подъехала черная

легковая машина, и меня забирают в НКВД.

После долгих объяснений меня отпускают, дают четыре дня срока, чтобы забрать справку об освобождении из службы пути и выехать из Омска, в противном случае угрожают арестом и тюрьмой.

Так и не дождавшись решения московской инстанции железнодорожной службы НКВД и получив вызов из Северо-желдорстроя, я выехал в управление в Княж-Погост, поселок Железнодорожный. На станции Вельск выхожу из вагона на перрон и сталкиваюсь с начальником ПТЧ (Производственно-техническая часть) Аппаровичем. После расспросов, куда и зачем еду, предлагает:

— Выноси вещи из вагона, дальше не поедешь, будешь работать у нас, в Вельском отделении. Всю переадресовку буду утрясать я.

Так я опять вернулся на свое старое место, но в новом качестве — вольнонаемным с шестимесячным паспортом.

Квартиру нашел в городе Вельске по Октябрьской улице, в доме 64, у старушки Кесслер.

Несмотря на то что военное время прошло, стиль работы с засиживанием до поздней ночи был еще в моде.

Моя хозяйка удивлялась, как можно столько времени проводить на работе — по четырнадцать и более часов.

— Моего отца, — говорила она, — называли «Ваше превосходительство», он был действительный статский советник, управляющий Департаментом удельных царских земель. В департаменте чиновники начинали работать в 10 часов, а к 17 часам заканчивали работу.

Какой-то великий князь из царской семьи приехал с ревизией в департамент. Управляющий обратился к чиновникам с просьбой:

— Эти дни подольше задерживайтесь на работе, покажите свое рвение и усердие перед Его сиятельством, авось заметит и подбросит вам какую-нибудь награду.

Князь, конечно, заметил это и спросил управляющего:

— Почему чиновники до сих пор на работе, хотя рабочее время закончилось?

— Это, Ваше сиятельство, они свое рвение к работе показывают.

— Что, разве за день не успевают выполнить свою работу? Почему же не уволите их?

Вот так рассудил князь. Сравнение было, конечно, не в пользу нашей штурмовщины.

1948 год. В мае поступила телеграмма об откомандировании меня в Княж-Погост, поселок Железнодорожный, на разбивку базиса и оси моста через Ракпас (приток реки Вымь).

В гостинице, где я остановился, меня встретили с большим почетом, явно принимая за какое-то высокопоставленное лицо. Отдельный номер, блюда в гостиничном ресторане готовят по спецзаказу, плату за проживание не берут, уверяя меня, что я у них редкий и желанный гость. Что-то подобное гоголевскому «Ревизору» творится. Или Коми республика уже достигла высоких идеалов коммунизма. Пытаюсь выяснить в своем учреждении, там смеются. «Живи, — говорят, — не берут с тебя денег, ну и радуйся!»

Быстро заканчиваю работы на будущем мосту, сдаю всю разбивку по акту и собираюсь возвращаться к месту основной работы. В день отъезда ко мне в номер постучали. Входит неизвестный гражданин, рекомендуется секретарем райкома партии, интересуется, всем ли я доволен, спрашивает, не будет ли каких руководящих указаний, и просит выступить с докладом перед избирателями.

— За кого вы меня принимаете? — поинтересовался я.

— Как «за кого»?! Вы — наш депутат, вы — знатный машинист Северо-Печорской железной дороги Болдырев!

Пришлось разочаровать посетителя и, заплатив за все услуги, расстаться со слишком гостеприимными хозяевами.

Лежа на вагонной полке, я вспомнил своего бывшего техника-нивелировщика Мясникова, освободившегося в 1943 году и ушедшего на фронт. Мошенник высшей пробы, сходу подделывал любые подписи. Ему, как Остапу Бендеру, подносили деньги на тарелочке с голубой каемочкой.

После Победы он вернулся, побывал у меня, похвастался наградами, партийным билетом, рассказал о своих фронтовых похождениях. За бутылкой водки я спросил его:

— Ну что ж, будешь работать в системе лагерей?

— Ну нет, зачем разминиваться на мелочи? Займусь прежней работой. У нас в Советском Союзе еще много доверчивых дураков, которых запросто можно обвести вокруг пальца.

Как фронтовику городские власти предложили ему принять под руководство котласский ресторан. Отработав месяц, Миша Мясников скрылся в неизвестном направлении, прихватив не только выручку, но и все скатерти, шторы, не тронув посуду и обстановку.

В 1948 году получаю пятигодичный, клейменный 39-й статьей паспорт.

Руководство лагеря начинает хлопотать о снятии с меня судимости, чтобы закрепить меня за ГУЛЖДС. Но в это же время (об этом я узнал позднее) по всем НКВД был спущен секретный приказ об изоляции всех тех, кто в 1947 году отбыл срок по 58-й статье, за исключением

пункта 10 (агитация). Приказ был подписан Берией. И началось повторное выдергивание ранее освободившихся. Люди исчезали, как и в 1937 году.

## Глава 16

### Осужден на вечное поселение

Летом 1949 года меня вдруг вызывают на медосмотр. В приемной в ожидании осмотра томятся люди. Подошла очередь, захожу. Сидят врачи в чекистской форме; короткий медосмотр с заключением: «Здоров!» Процедура окончена.

Продолжаю работать, но заметил, что всех, кого вызывали на медосмотр, помаленьку начали забирать. Жду своей очереди.

12 ноября 1949 года меня подвергают новому аресту и увозят в город Архангельск.

Новое следствие, снова допросы. Попытки приписать мне новые «злодеяния» в потрясении устоев советской власти были безуспешными.

Следствие заканчивается. Подписываю протокол, где значится, что новыми инкриминирующими материалами следствие не располагает, то есть — полное отсутствие улик для обвинения.

— Ну, теперь можно собираться на волю? — задаю следователю вопрос.

— Нет, мы вас отправим сами в другое место, где будете на свободе и работу себе выберете по своему усмотрению, а здесь режимная область, и вам, как судимому, находиться здесь нельзя.

Переводят в Петровскую тюрьму. Просторная камера, сорок человек «постояльцев», в основном архангельские врачи еврейской национальности, корреспондент газеты «Правда Севера», инженеры, геологи и только два или три человека без определенной специальности.

Все лица еврейской национальности сидели из-за Голды Меир, премьеры государства Израиль. Всем им

предъявлялось обвинение в «сионизме». Приезд Голды Меир в Советский Союз вызвал у нашего правительства всплеск антисемитизма к евреям — подданным СССР.

В конце марта — сбор этапа, и везут в вологодскую пересыльную тюрьму. На пересылке сижу в камере, где собраны люди со всех тюрем страны. Мое внимание привлекает страдающий водянкой немногословный человек, и кого-то он мне напоминает, но кого? Фамилия Радомысльский мне ничего не говорит, только известно, что его вместе со всей семьей высылают в Кустанай.

На прогулку выпускали сразу несколько камер, там происходит обмен сведениями, кто где находится, кто куда выехал. Из разговоров выясняю, что Радомысльский — родной брат Зиновьева. Сходство с братом поразительное.

Собирают этап. Грузят в эшелон из телячьих вагонов, опутанных колючей проволокой. Сопровождает этап знаменитый вологодский конвой, славящийся среди заключенных своими зверствами.

На каждой остановке грохочут по обшивке вагона и пола деревянными молотками на длинных ручках в надежде обнаружить замаскированный пропил для побега.

Станция Омск. Повагонно выводятся люди и под усиленным конвоем их ведут в баню. Около эшелона собралась толпа людей. Раздаются голоса:

— Такого-то не встречали?.. Не слышали?.. Не в вашем эшелоне едут?..

Конвой орет:

— Прекратить разговоры... Шире шаг, так вашу мать!

В бане помывка «по-спринтерски» — шайка воды и пять минут на мытье.

Раздается команда:

— Выходи!



Успел сполоснуться или не успел — вылетаем пулей в предбанник, чтобы успеть разыскать свою одежду из вошебойки, побыстрее одеться и не «травить» терпение конвоя.

В вагон загоняют, как овец.

— Быстро! Так вашу... — орет сержант, размахивая молотком, и с размаху бьет им замешкавшегося старика по спине. — Шевелись, старая кляча.

Старик от удара упал. На руках втаскиваем его в вагон и требуем начальника конвоя.

От принесенного завтрака и хлеба категорически отказываемся. Начальнику конвоя заявлен протест, и требуем прокурора. До прихода прокурора вагон пищу не примет.

Пришел какой-то молодой человек, отрекомендовавшийся прокурором, выслушал жалобу и изрек, что принять какие-то меры к сержанту он не правомочен, и порекомендовал написать жалобу в НКВД по приезду на место.

Разговор окончен. С грохотом накатывается дверь вагона, лязгают запоры.

Пришедшие в ярость из-за своего бессилья, мы дружно запели:

Широка страна моя родная,  
Много в ней лесов, полей и рек.  
Я другой такой страны не знаю,  
Где так вольно дышит человек!

Эту песню подхватил весь эшелон. Забегала охрана с криками:

— Прекратить пенье! Будем стрелять!

— Стреляйте в «вольных людей», — раздаются в ответ крики.

К составу цепляют локомотив, и эшелон уводят на станцию Московка в глухой тупик. Столпившиеся у эшелона люди машут нам платками. Женщины плачут.

Ночью, воровски, эшелон покидает Омск.

На станции Новосибирск — выгрузка. Загоняют в «воронки» и везут на пересылку в Дзержинский район, в расположенную в этом районе новую тюрьму. На пересылке через несколько дней формируют этап.

Начальник пересылки объявляет этапируемым:

— Вы люди вольные, поедете в пассажирском вагоне к новому месту жительства с сопровождающим. Прошу вас соблюдать порядок и поддерживать дисциплину, посадка в грузовые машины.

На станции Новосибирск-Главный проходим мимо двух седобородых швейцаров на перрон и садимся в указанный сопровождающим вагон. Куда везут, не говорят.

Станция Чаны. Выходим из вагона и сразу попадаем в кольцо автоматчиков с собаками. А ведь ехали с одним сопровождающим. Да и тот не был вооружен!

Привезли в село Венгерово. Всех загнали в деревянный сарай, именуемый клубом. У дверей охрана. В клуб стали заходить какие-то мужики:

— Бухгалтеры есть? Печники? Механизаторы? Строители?

Вопросы... вопросы... Кого-то записывают себе в блокнот, кого-то вызывают уже на «волю».

Я сижу задумавшись. Вся эта сцена в клубе напомнила мне невольничий рынок из романа Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома».

Подходит ко мне лысоватый мужичок, рекомендует председателем колхоза.

— Вы бухгалтер?

— Нет, я путеец-строитель.

— О, инженеры нам нужны, — и уговаривает меня ехать к нему в колхоз. Мне в ту пору было совершенно

безразлично, где находиться.

— Я сейчас добегу до начальника НКВД Сударева и попрошу заменить мне в заявке бухгалтера на инженера. Я вас беру к себе в колхоз.

Выкликают мою фамилию. Выхожу. Пришедший за мной сопровождающий ведет меня в Венгеровский НКВД.

В комнате, куда меня привели, за столом сидят начальник НКВД майор Сударев, первый секретарь райкома партии Евстратов, заместитель предисполкома Сурмило и двое офицеров НКВД из Новосибирска. Мне дают прочесть постановление Особого совещания при НКВД о том, что за контрреволюционную деятельность я приговорен на вечное поселение и в случае побега мне грозят каторжные лагеря с 25-летним сроком.

— Распишитесь в уведомлении, — говорит один из офицеров.

Что ж, придется расписаться, хотя текст постановления противоречит марксистской диалектике, утверждающей, что вечного в природе не бывает.

— А вы опять за свое, — проговорил Сударев, — отказываетесь «разоружиться»? Почему вы проситесь в колхоз, а не хотите остаться в райцентре?

— Райцентр мне никто не предлагал. И вы не сможете обеспечить меня профилем моей работы. А идти в колхоз — это мое личное желание.

— Работать за «палочки» (Так именовали трудовень. — *Н.Б.*)? — встревает в разговор Сурмило. — А «палочка» обеспечивает двести граммов зерна, и копать в навозе?

Я с негодованием ответил:

— Вы что, социалистическую форму хозяйства, где работают лучшие люди страны, сравниваете с навозной кучей? Пишите: только в колхоз!

Разговор окончен, выхожу, встречает меня мой председатель колхоза им. Ленина — Григорьев Василий

Николаевич.

— Я слышал весь ваш разговор, — говорит он. — Вот сто рублей, с вами еще пять человек плотников и механизатор. Сходите в чайную, подкрепитесь, переночуете в гостинице, а утром за вами приедут. — Пожал руку. Уехал.

Утром прибыла за нами пароконная подвода. Погрузились, через двадцать пять километров приезжаем в деревню Орлово — усадьбу колхоза. К нашему приезду подготовили встречу. Посреди улицы поставили столы, уставленные и жареным и пареным. После выпивки и закуски развели по квартирам. Вечером меня вызывают на правление колхоза.

— Мы решили поставить вас бригадиром животноводческой бригады с подчинением вам строительной бригады. Бывшего бригадира животноводства, Аганю Кудрик, передаем сельсовету в секретари.

Работать в колхозе долго не пришлось. Только успел привести в порядок служебные помещения, приступил к ремонту животноводческих построек, убрал с территории скотного двора навоз, как нагрянул проверяющий ссыльных:

— Завтра будьте в селе Венгерово, вызывает майор Сударев.

— Если майору нужно видеть меня, то я его ожидаю здесь. Мной подписан документ, запрещающий мне пересекать границы сельсовета, и я нарушать его не собираюсь. — А у самого сердце екает: уж не за разговор ли в НКВД хотят новый срок примотать?

Встречаю председателя, который и задает мне вопрос:

— Почему вы хотите переехать в райцентр? Мне комендант сказал, что вы переводитесь в Венгерово. Разве вам так плохо у нас?

Я передал ему разговор с комендантом.

— Хорошо, я позвоню Судареву и улажу все.

Через три дня вновь приезжает на мотоцикле с коляской комендант с распоряжением Сударева доставить меня в райцентр со всеми манатками.

В Венгерове разговор с заместителем Сударева — капитаном (к сожалению, забыл его фамилию).

— Есть распоряжение о трудоустройстве вас в райцентр, а сейчас идите к председателю исполкома.

В кабинете председателя был его заместитель Сурмило.

— Ну, как работа в колхозе? На вашу учебу советская власть деньги затратила, а вы не хотите вернуть долг государству? Идите сейчас к начальнику отдела сельского и колхозного строительства товарищу Попкову, будете работать у него.

Прихожу к Попкову, а сам в душе рад, что все устраивается к лучшему. Тот пишет приказ о зачислении меня в отдел старшим инженером с окладом 80 рублей (в то время это была завидная зарплата), и я приступаю к работе в новом амплуа.

Знакомлюсь с Венгеровым и его обитателями. Местные жители — народ очень хороший, гостеприимный. Более половины населения — ссыльные.

Сторожем гостиницы был бывший генерал Конюхов из политуправления Белорусского военного округа. Бухгалтером в райкомхозе — бывший председатель исполкома Нагорно-Карабахской автономной области Сурен Мирзоян (от которого я узнал много о Бери — то, о чем сейчас свободно пишут газеты). В отделе землеустройства работал Григорий Григорьевич Будагов, сын строителя моста через Обь в Новониколаевске. Работали инженеры Московского автозавода им. Лихачева, артистка Одесского оперного театра Лариса Шварц, белорусский литератор Бялик, крупный украинский инженер-мелиоратор Поддубный.

Главным инженером Венгеровского райкомхоза был Покровский Мстислав Владимирович. Штукатуром райкомхоза подвизался бывший польский капрал Лева Кецлахес, так и не принявший советского подданства. В 1955 году он уехал в Польшу, забрав свою жену из местных и кучу ребятишек, нажитых за период ссылки. Кагья Ян Михайлович, инженер, работал в отделе сельского и колхозного строительства техником. Всех не перечислишь.

На периферии, объезжая колхозы для ознакомления с состоянием скотных дворов, я встречал много интересных людей. Один из них — Александрович — убежденный идейный анархист. Около тридцати лет кочует по тюрьмам и ссылкам вместе с женой и кучей детей, но не отказывается от своих убеждений. Другой — Медведев Николай Николаевич, бывший ротмистр Александрийского гусарского полка («черные гусары»), воевал на Румынском фронте. Полк их после боев стоял в Кишиневе на «ремонте». Слухи о революции в России докатились до полка. Медведев собрал свой эскадрон, объявил гусарам о свержении самодержавия и предложил:

— Война для нас окончена, кто желает, может возвращаться в Россию.

Сам же остался в Бессарабии. В 1939 году вошли в Бессарабию наши войска. К тому времени Медведев работал директором кишиневского музея. Арест по обвинению в измене Родине (?!), 10 лет лагерей и ссылка. В колхозе сторожил колхозные тока.

Работа моя была связана с командировками. Знакомился с состоянием построек животноводческих ферм в колхозах и совхозах, давал рекомендации по организации производства кирпича, использованию камыша для изготовления камышитовых плит, изготовлению черепицы и финской стружки для кровельных работ.

Получив разрешение на приобретение охотничьего ружья, в свободное время я с двустволкой уходил на охоту.

Наступил 1953 год. Из дома получаю печальное известие, что арестован мой отец. Минотавр по-прежнему подстерегает своих жертв. Не нахожу слов описать свое состояние.

Смерть Сталина принесла некоторое душевное облегчение, хотя «мясорубка» по инерции продолжает свою работу. Арест и расстрел Берии вызвали ликование среди ссыльных, ожидающих перемен к лучшему.

Пошли слухи о пересмотре дел, началось и перемещение в верхних эшелонах районной власти. Начальник Венгеровского НКВД майор Сударев был уволен из органов НКВД, снят и Евстратов. В село приехали из Москвы следователи по разбору дел и рассмотрению жалоб.

На мою жалобу в Верховный Суд приходит в августе обнадеживающий ответ, что дело пересматривается и в ближайшее время нужно ожидать положительный ответ. В октябре вызов в НКВД. Объявляют, что я свободен согласно списку (кажется, в списке было девятнадцать или двадцать фамилий), полученному из Москвы, и выдают пятигодичный паспорт.

## **Глава 17**

### **Хоть теперь-то — воля?..**

С таким паспортом в начале марта 1955 года приезжаю в Омск, получаю постоянную прописку, становлюсь на учет в военкомате и с 5 марта начинаю работать в Омской экспедиции Гипродортранса.

Вскоре возвращается отец, осужденный трибуналом войск НКВД на 25 лет каторги за «террористический анекдот». Его полностью реабилитировали.

Долгий, трудный путь к дому закончен.



**Н. М. Игнатов**  
**Выпавшая доля**

## Глава 1

### Ташкентская тюрьма

14 марта 1935 года, ночью, меня, курсанта 1-й радиотелеграфной Среднеазиатской школы НКВД в городе Ташкенте, арестовали и посадили в одиночку. Все, кого забирает НКВД, поначалу думают, что это ошибка, скоро разберутся и выпустят (это мне говорили в лагерях тысячи эков, сидевших по 58-й статье). Я тоже так считал.

В первый же день моего пребывания в камере я составил себе режим дня, в котором большое внимание уделял занятиям акробатикой. В 1933 году я окончил Техникум Циркового Искусства<sup>[11]</sup> с номером «Полет с батута». На прогулке во внутреннем дворе я прыгал флик-фляки<sup>[12]</sup> с рондата<sup>[13]</sup> и заканчивал сальто-мортале. И так несколько раз. Работники НКВД смотрели на мои прыжки из окон.

На шестой день меня повели на допрос. На допросе следователь мне сказал, что я обвиняюсь в измене Родине. Мне — расстрел, а всем моим родным — по 10 лет лагерей.

С этого дня меня стали водить на допрос чуть ли не каждую ночь. Однажды в кабинете следователя было открыто окно. Мне в голову пришла мысль выброситься из него на голову (это был четвертый или пятый этаж). Но если бы я сделал это, то тогда меня признали бы виновным и моих родных отправили бы в лагеря на 10 лет.

Так каждую ночь меня водили на допрос, а днем в камере были слышны звуки из кинотеатра, где шла картина «Веселые ребята»: Утесов пел «Сердце, как хорошо на свете жить».

В свое время я приехал в теплушке в Ташкент и попал в радиошколу. Там я сразу включился в самостоятельный коллектив, сделал простенький эквилибр, играл в оркестре на барабанах. Нам сшили комсоставские сапоги и хорошую форму для выступлений. Все шло нормально — изучали азбуку Морзе, работали на ключе, и я был на хорошем счету.

Однажды мы совершили марш-бросок на пятнадцать километров с полной выкладкой. Это проверка бойцов на выносливость. Прошли два километра, и меня попросили, чтобы я понес кроме своей винтовки еще одну — какой-то курсант не мог нести свою. Я так, с двумя винтовками, и дошел до финиша, а того курсанта, чью винтовку я нес, довели до конца под руки.

Через день после марш-броска было собрание, и выступал тот, винтовку которого я нес. Он сказал, что прошли мы хорошо. Я встал и спросил, кто разрешил ему говорить, когда его винтовку несли и его самого последние два километра вели под руки?

Выступавший оказался секретарем комсомольской организации, сыном секретаря горкома или райкома партии. После моих слов на собрании отношение ко мне тут же изменилось. Эта курсантская элита решила меня проучить. Среди курсантов был боксер второго разряда, и меня чуть ли не силой заставили с ним боксировать.

У меня был большой опыт драк. Четыре зимы я дрался на Бабьегородской стенке (кулачных боях). Они устраивались каждую зиму по воскресным и праздничным дням метрах в ста пятидесяти — двухстах от раздела Москвы-реки и канавы (от стрелки). В этом месте к воде были спуски шириной метра три, и летом там работал перевозчик, возивший в Хамовники и обратно всякие грузы. Стенка (бои) начиналась часов в 10-11 дня. Начинали ребята лет двенадцати —

пятнадцати, потом ребята повзрослее, а к вечеру — уже извозчики, ломовые и легковые. Сходились шеренги с Хамовников и с Замоскворечья, и начинался бой. Правила были очень строгие: в рукавицах ничего не должно было быть. Бить ты мог стоящего перед тобой или того, кто стоит справа или слева. Если тебя сильно ударили или ты устал, ты мог повернуться спиной к стенке и выйти из боя — на твое место приходил кто-нибудь другой. Несколько раз приезжала конная милиция для разгона стенки. Но извозчики останавливали лошадей и снимали с них милиционеров. Потом стали приезжать пожарные машины и обливать стенку водой из шланга. Так бои постепенно прекратились.

На стенке я приобрел мастерство боя. Когда после стенки я возвращался домой с синяками и опухшими губами и мать спрашивала, что случилось, то отвечал, что катался на санях с горы и упал.

Мой бой с боксером второго разряда длился только один раунд. За это время я отправил его в нокдаун два раза, и он отказался боксировать дальше. Вскоре меня арестовали.

Следователь все время настаивал, что я сам влез в радиотелеграфную школу. Я ему отвечал, что меня вместе с другими отправили в Ташкент из военкомата в Москве. Так продолжалось несколько допросов. Однажды меня привели к следователю днем. У него был курсант из радиошколы. Курсант стал рассказывать следователю анекдот, рассказанный якобы мною: как Михаил Иванович Калинин во время приема французского посла с женой перемотал с юбки жены посла всю шерсть в клубок и та сидела без юбки. Такой анекдот до этого я ни разу не слышал (к тому же он и не смешной).

После этого меня от следователя перевели в общую камеру (там уже сидело человек десять — двенадцать). Среди заключенных были мулла, учитель, бухгалтер. Там я увидел, как эки делают игральные карты. Сначала берут мякиш хлеба и тщательно его пережевывают, потом пережеванную массу истирают столовой ложкой через тряпку. С нижней стороны тряпки собирают протертую массу. Этой очень клейкой массой склеивают два куска газеты или бумаги. Высохшая бумага получается очень крепкой, и из нее нарезают карты. Черную краску тоже делали сами: жгли резину над миской, собирали копоть и мешали с клейкой массой. Вместо красной краски использовали кровь. После этого через трафареты раскрашивали карты. Края карт натирали чесноком для крепости.

Наша камера была длинная и высокая, играли всегда на нарах со стороны двери. Дверь в камеру запиралась на два замка. С одним эком — крепким парнем — я отрепетировал, пока открывали замки двери, вставать ему на плечи и класть карты на рефлексор электрической лампы, которая висела над дверью. Нас гнали в душ, а в камере делали тщательный обыск (шмон). В раздевалке душа наше белье тоже обыскивали. Потом мы возвращались в камеру, брали карты с рефлексора и садились посреди камеры играть. Вскоре все повторялось заново, и нас это забавляло. Охрана предложила нам отдать карты, и мы отдали их взамен на шашки.

Через несколько дней меня отвезли в радиошколу, где надо мной был показательный суд военного трибунала. Прокурор называл меня космополитом и тунеядцем. Дали мне 4 года лагерей по статье 66, часть 1, УК Узбекской ССР (статья 58, пункт 10, УК РСФСР). Произнося последнее слово, я сказал, что это не суд, а комедия. Прямо с суда два курсанта и командир повели

меня через весь город в тюрьму. Охрана тюрьмы отвела меня в камеру.

В камере ко мне подошел один зэк и сказал, что ему нравятся мои сапоги, на что я ответил, что они мне тоже нравятся. Тогда он ударил меня по лицу. В ответ я его так ударил, что он отлетел на два метра. Он поднялся и, схватив с нар доску, замахнулся ею. Но я левой рукой отвел доску, а ударом правой повалил его. Тогда он подбежал к двери и стал стучать в нее ногой. Потом достал откуда-то кусок безопасной бритвы, задрал рубашку к подбородку, оттянул кожу на животе и разрезал бритвой живот сантиметров на десять, так чтобы пошло много крови. Охранник открыл дверь, и его увели, а мне дали его место. Так прошел мой первый день в тюрьме.

Через пару дней был день передач. Все, кто в нашей камере получил что-нибудь, не глядя, положили все на мои нары. Я сказал, чтобы забрали свои передачи и отдали их кому угодно.

В нескольких передачах была анаша (зэки также называли ее «планом»). В тот раз я попробовал покурить ее, но больше пробовать не стал.

Однажды меня отвели в контору тюрьмы. Там меня попросили написать заявление о том, что я отказываюсь от своего последнего слова на суде.

## **Глава 2**

### **Среднеазиатский лагерь (Сазлаг)**

Дней через пять нас вызвали на этап и повели в лагерный пересыльный пункт на Кулюк. Вели нас через весь город, и по дороге человек пять сбежало. Привели нас на Кулюк — большое поле, огороженное двойным рядом колючей проволоки, со сторожевыми вышками. Часа через два меня вызвали к начальнику, который спросил меня, что я могу показать (посреди поля там была небольшая сцена с маленькой комнатухой). Я сказал, что мне нужен реквизит. Тогда меня отвели к столяру, и я нарисовал и рассказал ему, что мне нужно сделать. К вечеру реквизит был готов.

Я стал выступать по три раза в неделю. Также в мою обязанность входило по утрам по списку вызывать на этап эков. Кормили меня хорошо, но проработал я недолго, потому что заболел малярией. У меня сильно поднялась температура, и меня отвезли в больницу. Там меня кололи хиной и акрихином. Но это мне не помогало: по-прежнему звенело в голове, днем температура была 41 градус, а по ночам бил озноб и стучали зубы. Меня переводили из палаты в палату, и так я дошел до последней, после которой был морг. К тому времени я похудел на пятнадцать килограммов. Врачи, обходившие утром палаты, уже не обращали на меня внимания. Среди них был фармацевт, который однажды подошел ко мне — остальные врачи уже ушли — и спросил, когда у меня обычно начинается приступ. Я сказал, что в половине четвертого дня. Он сказал, что санитар принесет мне лекарства, а я должен в 3 часа пойти и искупаться в хаузе (небольшой пруд, выкопанный на пути арыка). В 3 часа я прыгнул в воду, но вылезти сам не смог — мне помогли ходячие

больные, которые, узнав, из какой я палаты, очень удивились и отвели меня обратно. В палате я сразу же принял лекарство. В эту ночь малярия меня не трепала, но я очень сильно потел. Уже через несколько дней меня перевели в другую палату. Мне становилось лучше, но есть я не мог. Тогда мне сделали тридцать уколов (по пятнадцать в каждую руку) мышьяка, отчего правый бицепс у меня распух. После этого аппетит у меня повысился настолько, что я продал сапоги и после каждого завтрака и обеда покупал хлеб и виноград. Я очень сильно поправился и, чтобы войти в форму акробата, из куска веревки сделал скакалку и прыгал по 1500 раз перед завтраком и обедом. Через неделю я уже мог прыгать сальто-мортале, флик-фляки и спокойно стоять на руках.

Из больницы меня отправили обратно на Кулюк. Начальник сказал, чтобы я занял комнату на сцене и, как до болезни, занялся той же работой (реквизит мой был цел). И все пошло по-старому.

Через две недели меня вызвал начальник. Он сказал, что пришло распоряжение, предписывающее осужденным военным трибуналом по 58-й статье (с пометкой в «деле») работать только с кайлом, пилой, лопатой или тачкой. За нарушение распоряжения начальнику предусматривалось взыскание. Он также сказал, что я завтра утром после вызова на этап поеду на кирпичный завод, а сам он поговорит с начальником завода, который меня и пристроит.

На заводе меня поставили десятником. В мою обязанность входило принимать вместе с заводским приемщиком от зэков кирпич (сырец). Вскоре я нашел способ сдавать один и тот же кирпич два раза, что позволило зэкам «выполнять» норму. Им разрешили получать по 800 граммов хлеба и передачи. Большинство заключенных были узбеки<sup>[14]</sup>.



В те времена в лагерях процветал лагерный бандитизм, причем не без помощи начальников лагерей. По прибытии нового этапа они грабили бытовиков и заключенных по 58-й статье. Также там существовал такой порядок — приходил вор в законе и заявлял: «Самозванцев нам не надо — бригадиром буду я».

Вскоре я привык к условиям такой жизни, стал даже репетировать.

## Глава 3

### С агитбригадой по Бамлагу

Как-то после медицинской комиссии, рано утром, приехали машины, и всех русских перевезли в другой лагерь. Перед отправкой узбеки подарили мне чапан (халат из верблюжьей шерсти), подушечку и мешочек толочка.

Через день нас по списку посадили в машины. Мы сидели в кузове, а два охранника — на кабине. Охранники нас предупредили, что будут стрелять без предупреждения в того, кто встанет. Привезли на станцию Ташкент-Товарный. Там нас передали по списку с нашими документами другому конвою, который нас рассадил по товарным двухосным вагонам по сорок человек в теплушке. С нашей машины я был первый в списке. Я вошел в теплушку, влез на верхние нары и занял место у узкого зарешеченного окна. В вагоне, от дверей налево и направо, было по двое нар. Дверь напротив входной двери была забита, и в нее был врезан унитаз (параша). Как только я оказался в теплушке, сразу бросил курить. Каждое утро на остановках я прыгал флик-фляки, сальто-мортале, делал арабские колеса на месте. У меня была веревка — прыгал через скакалку, стоял копфштейн<sup>[15]</sup>, отжимался на руках в стойку, после чего кушал. И так каждый день. Ехали мы куда-то на Север. Через десять дней нам выдали махорку по полпачки на человека на неделю. Я курить бросил и менял махорку на сахар. Сахар давали по два куса (пиленых) на день. Зэки играли в карты на сахар и махорку. Я один раз сел играть. Проиграл махорку и выиграл сахар за неделю.

Я вспомнил, как в 1923 году под Пасху играл в «расшибалочку». Играют так: чертят две черты на расстоянии пяти-шести метров одна от другой, собирают с играющих монеты и ставят на черту, от другой черты бросают биты — это были царские медные пятаки; чья бита ближе к черте, тот бьет первым. Так я всех ребят с нашего и с соседних дворов обыграл. Под вечер собрались ребята старше нас и стали играть в карты на чердаке при свечах. Играли в «буру». А играли до тех пор, пока уже нечего было ставить. Позади меня стоял мой старший брат, и по законам того мира он не имел права играть за меня. Выиграл я много денег и разных вещей. И все отдал старшему брату. Он мне дал денег. У меня было два друга. Мы купили бутылку водки. Первый раз в жизни я выпил стакан водки, отчего мне стало очень плохо. После этого выпил три кружки молока, и с тех пор я не мог пить водку и вино. Когда видел, что люди пьют водку, у меня кружилась голова, и я падал, несмотря на то что был уже взрослым, акробатом.

Меня зэки уговаривали снова играть, но я отказывался. Ехали мы сорок пять суток. Приехали в Забайкалье, станция Пашеная. Сразу из вагонов нас, зэков, погнали в санпропускник. Из нашего вагона только я один вышел с небритой головой (нам, политическим, статья 58-я в то время разрешала носить волосы). Зэков, которые сами не могли ходить, из вагона выводили охранники и вели их до санпропускника под руки. В санпропускнике мы вымылись, а наши вещи пропарили. И нас загнали в только что выстроенное паровозное депо с цементными полами, а мороз был 15 градусов. Я расстелил свой халат из верблюжьей шерсти, положил под голову подушку, подаренную мне узбеком в Сазлаге, и стал засыпать. Вскоре ко мне подошли два зэка, разбудили и

стали расспрашивать, кто я. Узнав, что я артист цирка, акробат, они предложили мне работать в агитбригаде (им нужен был партнер). В лагерях существовал порядок: по прибытии новых этапов начальники посылали своих представителей (придурков) для отбора нужных специалистов. Я ответил, что в Сазлаге сказали, что в моем «деле» есть отметка, что мне разрешено работать только на общих работах: кайло, пила, лопата, тачка. Но они меня уговорили, я собрал свои вещи и снова пошел в санпропускник. Там я еще раз помылся, мне дали новое белье, костюм, новый перешитый бушлат, ботинки и повели. Здесь же, на станции, на запасных путях стояли три вагона: пассажирский и два товарных. Один из товарных вагонов был четырехосный, другой — двухосный. В пассажирском вагоне жили артисты-зэки из агитбригады, по два человека в купе. В четырехосном вагоне находились кухня, столовая, и там же мы репетировали в дороге. Столы и скамейки складывались к стенке вагона. В двухосном вагоне жили портной и сапожник — чудесные мастера-зэки. Там же лежал реквизит и жили два проводника-зэка пассажирского вагона. Я познакомился с будущим партнером. Имя его — Гриша, фамилия — Вольдгендлир; себя он именовал Григорасом. Он привел меня в пассажирский вагон, познакомил с бригадиром агитбригады — Матусевичем Степаном.

Артисты и музыканты жили по два человека в купе, мне показали мое место, и на другой день мы начали репетировать простенький номер эксцентриков. Гриша мне сказал, что меня взяли с этапа потому, что ему нужен был партнер. Дней через пять мы показали эксцентрику, и нас включили в программу. Принимали нас очень хорошо, а через месяц мы приготовили номер силовых акробатов.

Там, на БАМе, говорили не «лагпункт», а «фаланга». На стоянках мы репетировали в клубах и домах культуры, а в дороге — в четырехосном вагоне. Наша бригада обслуживала БАМ-лаг от Читы до Хабаровска. Шло строительство вторых путей, и мы обслуживали фаланги (лагпункты), строившие вторые пути. В бригаде был украинский поэт Загул Юрий Дмитриевич. Он писал оды к торжественным дням, которые читал бригадир Степан Матусевич. Также там были две сестры-певицы, певец Георгий Виноградов, два драматических артиста (муж и жена) — они ставили скетчи — и музыканты.

Наша база находилась на станции Урульга, где мы делали программы, там же мы получали довольствие. Это было Второе отделение БАМлага. Начальником здесь был Большаков. С подготовленной программой мы проезжали по трассе и возвращались в Урульгу. Кормили нас очень хорошо. В вагоне-столовой в углу стоял столик, на котором всегда были хлеб, масло и красная икра. Можно было между обедом и ужином зайти и съесть бутерброд. Вечером, когда мы приезжали с концерта, дядя Федя, повар, приходил в наш вагон и спрашивал каждого, кто что хочет завтра на обед. Одеты мы были тоже хорошо: вс нам шили собственные портной и сапожник. Стояли наши вагоны на больших станциях, и мы ходили в вагоны-рестораны за папиросами, фруктами и сладостями. Так что убежать могли в любой момент.

Из лагеря я домой родным не писал — боялся, что их могут забрать. Однажды я выступал на одной фаланге. Ко мне подошел дворник, живший со мной в Москве в одном дворе, и назвал меня по имени. Я не отзываюсь и говорю ему, что он ошибся, а он все-таки написал жене, что видел меня. Жена пошла к моей маме и сказала ей, что ее муж видел меня в лагере и что я работаю артистом в агитбригаде.

Программа была очень хорошая, и мы часто давали в городах и поселках платные концерты. Однажды мы приехали в Урульгу делать программу. Я пошел на стадион — там тренировалась местная футбольная команда. Я спросил разрешения постучать по мячу — мне разрешили. После тренировки ко мне подошел председатель спортобщества и предложил завтра сыграть за них — они должны были играть с читинской командой «Локомотив». Я согласился. На другой день состоялась игра. Мы выиграли 3:0, а я забил все три гола. Эту игру смотрел начальник Третьей части БАМлага (начальник НКВД БАМлага). Меня вызвал наш бригадир Матусевич и сказал, что я поеду завтра в город Свободный играть в футбол.

Я вспомнил, как начал играть в футбол. Это было в 1922 году. Я жил во 2-м Бабьегородском переулке. Он проходил параллельно Москве-реке, и между нашим переулком и Москвой-рекой в то время был пустырь — там пасли коз и коров. А в 1922 году построили стадион СКЗ (спортивный клуб «Замоскворечье»). Там играл футболист Селин Федор. Мы, ребята, ходили на стадион, болели за команду, помогали в разметке поля, носили разведенную известь. Руководил разметкой Селин. За нашу помощь нам давали старые мячи, которые мы носили сапожнику. Он их чинил и заклеивал камеры. Селин нас учил разным ударам по мячу, и так я научился азам игры в футбол. В то время перед игрой из каждой команды выделяли по игроку, который бежал стометровку. От СКЗ бежал всегда Николай Соколов, вратарь, и он всегда прибегал первым.

Я ехал в вагоне для эков БАМлага. По дороге посадили десять женщин, которые не могли сами родить. Их везли в город Свободный, в эковскую больницу. Не доезжая до Свободного, наш вагон

соскочил с рельсов и метров двести катился по шпалам. Пока ехали по шпалам, почти все женщины родили самостоятельно.

Приехал я в город Свободный. Меня встретили, забрали из вагона, отвели на стадион. Там на мое имя выписали документы, в которых говорилось, что я работаю в изыскательской партии БАМлага (зэк играть не имел права). На руки документов не дали — они находились у начальника команды. И сразу ко мне прикрепили двух охранников в штатской одежде. Жили мы на стадионе, и всегда рядом с моей койкой была койка охранника.

Мы играли на первенство Дальневосточного края. Сыграли две игры — и обе выиграли. Третья игра у нас была в городе Благовещенске. Приехали мы туда за день до игры. На другой день у нас была тренировка. После тренировки я познакомился с девушкой и пошел провожать ее домой. Она жила у реки Амур. Во дворе нас встретил большой пес, который на меня зарычал. Девушка его успокоила, и мы пошли в сад. Там была беседка. Пока мы находились в беседке, пес рычал и лаял. Часов в 12 я от нее ушел. Пришел на стадион, а там — ЧП. Мои охранники полагали, что я убежал, и собирались сообщить об этом начальнику Третьей части. Охранник, который пошел за мной и девушкой, пытался перелезть через забор, но пес порвал ему брюки и поранил ногу. Все уладилось.

На другой день мы играли. С одной стороны стадиона была трибуна, закрытая от солнца, и там располагалась правительственная ложа. В середине первого тайма что-то просвистело над нашими головами. Оказалось, что снайпер через футбольное поле застрелил какого-то большого краевого начальника. Во втором тайме на первых минутах игры у ворот противника меня сильно ударили сзади по правой

ноге — так, что с поля меня вывели под руки. И меня отправили в Урульгу.

Я снова приехал в агитбригаду Матусевича. Врач прописал растирание, и через десять дней я приступил к работе. Я приготовил танец «Яблочко» с акробатикой. Мне сделали костюм. Танец очень хорошо проходил, и я включился работать на барабане в джаз-оркестре. Моя занятость программе была очень большой.

Как-то вернулись раньше. Ко мне подошел наш музыкант и сказал, чтобы я подошел к бригадиру. Тот мне сказал, что меня вызывает начальник фаланги. Начальник меня познакомил со своей дочерью и сказал, что мы с ней можем идти гулять за зону. Мы пошли — охрана нас пропустила. Часа два мы гуляли за зоной. Она мне сказала, что десять раз смотрела наше выступление на разных фалангах, ездила с отцом по местам, где мы работали.

Однажды мы работали на одной фаланге, где заготавливали щебенку для подсыпки под шпалы. Ко мне подошел зэк и сказал, что он музыкант и работал в трио «Крэин, Пинки и Шорт». В начале 30-х годов они работали за границей, и по возвращении в СССР их арестовали и дали по 5 лет по 58-й статье. Он мне показал свои мозолистые руки. При этом у него текли слезы, и он говорил, что никогда больше не сможет работать музыкантом.

Дело было осенью. К нашим вагонам в Урульге прицепили паровоз и куда-то без остановок повезли. Привезли нас в Хабаровск. Оказалось, что там проходила партконференция Дальневосточного края, а художественно ее обслужить было нечем, и поэтому срочно агитбригаду из заключенных вызвали со станции Урульга. После нашего выступления к нам на сцену поднялся Блюхер и каждому пожал руку. На следующий день нас повезли на реку Зею. Там воинская часть построила второй мост через реку. В честь этого



события прошли торжества, и мы давали концерт в столовой. Переодевались мы в подсобке и на кухне. Я там познакомился с каптером части. Он из Москвы, и мы жили в Москве рядом. Он с этого банкета дал мне много апельсинов, лимонов, мандаринов и конфет. Я открутил одну сторону большого барабана, и он мне насыпал полный барабан. После выступления нам подали машину и отвезли на станцию.

По приезде в Урульгу мы стали готовить программу для Нового, 1937 года. Но в ночь на 13 декабря за мной пришли два энкавэдэшника и забрали в КПЗ. А 15 декабря у меня был день рождения. Все артисты бригады пришли ко мне. В КПЗ мы устроили свидание, и они принесли мне фруктов и сладостей. На другой день меня переслали в город Свободный. По приезде в Свободный меня отвезли в Сколпу (тюрьма в скалах). На следующий день я попросил бумагу и написал начальнику Третьей части. Просил с ним свидания. Не знаю, то ли по моему заявлению, то ли у него были дела в тюрьме, но через день меня отвели в контору тюрьмы, где мы встретились с начальником. Я ему сказал, что ничего не нарушал. Он попросил потерпеть немного.

## **Глава 4**

### **Котлас — Чибью**

Через день меня отвезли на станцию и посадили в проходящий поезд в столыпинский вагон (вагон, в котором полки на ночь соединяются, и там спят по три человека). В то время в каждом поезде был вагон для эков. Ехали мы куда-то на запад. Проезжая какую-то станцию, услышали по радио бой московских курантов и поздравления Сталина с наступлением 1937 года. В тот день у меня было очень плохо с сердцем. Привезли нас в город Котлас. В Котласе был самый большой пересыльный пункт, там было много трехнарных барakov. Нас расселили по баракам и через день стали гонять по медкомиссиям.

Все это продолжалось дня три. За нашим здоровьем тщательно следили — чтобы не засылать на Воркуту больных. Однажды вечером нас на грузовых машинах отвезли на товарную станцию Котлас. Затолкали в товарные вагоны без нар и сразу отправили. Приехали мы на станцию Мураши. Там нас выгрузили и передали с нашими делами другому конвою. И мы пошли этапом по тракту.

Через пятьдесят километров пришли на этапный лагпункт. Охрана, стоявшая при входе в лагерь, принимала нас с делами от охраны, которая нас вела от станции Мураши. Обувь у нас была плохая и худая. По приходу мы сушили портянки и обувь, снова обувались, пили кипяток и ложились спать на нары. Такие этапные лагпункты обслуживались уголовниками с маленькими сроками — они приносили воду и топили печь, сделанную из железной бочки и стоявшую посередине барака.

Нам давали в день 600 граммов очень плохого, с чем-то смешанного хлеба и 150 граммов соленой трески. Утром выдавали хлеб и рыбу, и почти все зэки сразу ее съедали, а вечером пили кипяток. Я всегда шел первым. У меня был маленький узелок, в котором лежали брюки клеш, матросская тельняшка, полуботинки и «бублик» для кофштейна. Однажды мы пришли после этапа в барак. Я выпил кружку кипятку, просушил ботинки с портянками, обул их, чтобы не украли, и лег спать, положив узелок под голову. Но вскоре проснулся, почувствовав, что у меня из-под головы тянут узелок. Я увидел зэка, который обслуживал барак. В руке у него был топор. Я сгруппировался и прыгнул с верхних нар ему на голову, как прыгают в цирке, отбивая подкидные доски, схватил топор и пошел на второго зэка, который стоял от меня метрах в четырех и держал в руке нож и мешок с награбленными вещами. Он побежал к выходу из барака, где выбросил нож и мешок, а потом направился к вышке охранника. Я взял мешок и бросил его зэкам, сказав, чтобы разбирали свои вещи. Одному зэку золотую коронку сняли вместе с зубом. Через десять минут явился начальник охраны с двумя охранниками, вооруженными винтовками, и потребовал топор и нож.

Я лег и стал засыпать. Меня разбудили и сказали, чтобы я шел к врачу (в бараке в углу была отгороженная комнатка). Врач налил мне столовую ложку рыбьего жира и с тех пор стал давать мне утром и вечером по ложке.

После неудавшегося грабежа этап наш объединился и стал по вечерам в бараке петь «Чубчик».

В нашем этапе врач со своей аптечкой ехал на санях. Вторые сани были для охраны, которая по очереди на них отдыхала. Я не помню, сколько дней мы шли этапом от станции Мураши до города Чибью. Дойдя до Чибью, мы прошли еще километров пятнадцать,

остановились в лесу, спилили несколько сосен, подожгли их, а когда они сгорели, разбросали угли и легли на прогретую землю (мороз был около 45 градусов).

## Глава 5

### Меня взяли в театр

Когда проходили Чибью, я увидел рекламу театра (там шел спектакль «Лев Гурыч Синичкин»). Наутро другого дня я попросил врача, чтобы он дал мне направление в поликлинику из-за опухоли правого бицепса, и на основании этого направления мне дали пропуск через посты до Чибью. Я пришел в Чибью и пошел сразу в театр. Там я нашел режиссера и сказал, что я акробат, на что он ответил, что акробаты им не нужны. Тогда я сказал, что у меня есть танец. Мне сказали, чтобы я пришел на следующей неделе, в четверг, к 2 часам. Я очень расстроился, пошел в поликлинику, отметил пропуск и пошел в лагерь. А там уже стояла брезентовая палатка и две печки (когда я уходил, на том месте ничего еще не было). Пока я шел до Чибью и обратно, меня шесть раз останавливали и проверяли пропуск. Пришел я в лагерь очень расстроенный. Доктор спросил, как мои дела. Я сказал, что мне надо в четверг идти в театр к 2 часам. Он сказал, чтобы я не расстраивался. Лагерь уже ходил на лесоповал. Доктор мне выписал освобождение от работы.

Я усиленно готовил танец «Яблочко». В четверг с утра я получил справку и пошел в театр. Там я встретился с режиссером, который познакомил меня с пианистом. С ним я уточнил ритм танца. Я пошел на сцену за боковую кулису и переоделся (костюм у меня был с БАМлага). Долго ждал. Пианист от волнения выгрыз кусок падуги<sup>[16]</sup>.

Просмотр состоялся во время перерыва в репетиции. Танец был построен на акробатических трюках. В конце каждой музыкальной фразы — сальто-мортале или

флик-фляк. Одну музыкальную фразу целиком я прыгал на руках и заканчивал арабскими колесами на месте в очень быстром темпе. Мой танец артистам и режиссеру понравился. Режиссер подозвал какого-то работника театра. Он меня повел по конторам, где меня зачислили в театр, поставили на довольствие. После этого повели меня в барак, в котором я должен был жить. Посреди барака шел коридор, по обе стороны от которого были комнаты на четыре койки (по две койки у стены). В центре каждой комнаты стояла печь. Жили в бараке работники театра. Зэк, который меня привел, показал мою комнату и кровать. Я стал знакомиться с хозяевами комнаты. Слева от двери жил Георгий Дутченко, украинец, оперный певец, баритон. До ареста он работал в Киевском оперном театре. Вторым был Алеша Попов, хормейстер, до ареста работавший с Ольгой Высоцкой, диктором на Центральном радио. С правой стороны жил Михаил Названов, драматический артист из МХАТа. Его арестовали после поездки за границу и дали 5 лет по 58-й статье. На другой день меня познакомили с балериной Валентиной Ратушенко. Мы с ней стали репетировать и сразу сделали танец. Ратушенко родом была с Украины, но жила в США. Она приехала в Китай, в город Харбин. Передавая КВЖД Китаю, СССР предложил желающим вернуться на Родину. Среди согласившихся была Ратушенко. Но вместо Украины она попала в Усть-Вымский лагерь с 5 годами по 58-й статье. Она работала в театре балериной и балетмейстером в опереттах. Ратушенко поставила мне танец грума. Помимо танца я в качестве барабанщика присоединился к джаз-оркестру.

В театре организовали выездную эстрадную бригаду, которая ездила по лагпунктам с концертами. Однажды мы выступали на одном лагпункте, где заключенные были родственниками Зиновьева и других высших политиков. Они работали с радиоактивной

водой. Сначала те, кто начинал работать в этом лагере, поправлялись и чувствовали себя хорошо, но потом мясо у них начинало отходить от костей.

У нас была театральная столовая и барак, в котором жили только работники театра. Мы с Ратушенко приготовили несколько новых танцев. Ратушенко дружила с Михаилом Названовым.

Итак, я стал нужным работником в театре. Барак был с кирпичными печками, которые совсем не держали тепло. Вечером мы приходили в барак, топили на ночь печь, а утром, если на улице была температура 30 или 40 градусов ниже нуля, то у нас в комнате было всего лишь на десять градусов теплее — разве что ветра не было. Мои партнеры по комнате, не вылезая из-под одеяла, брали белье и одевались, а я вставал с постели и бежал на улицу, чтобы, зайдя в барак, сразу же одеться.

## **Глава 6**

### **В особом лагпункте. Я объявляю голодовку**

Так я прожил, работая в театре, до декабря 1937 года. В начале декабря, ночью, пришли два охранника и увезли меня в КПЗ. На другой день меня перевезли в лагерь, на Особый лагпункт. Там была не лесозаготовка, не строительство железной дороги на Воркуту, а лагерь, где истребляли заключенных, осужденных по статье 58-й военным трибуналом. Давали 300 граммов хлеба пополам с опилками и пол-литра затирухи (мука, разведенная в воде). Работать не было смысла, все равно это ничего не даст. Я в том лагере прожил два месяца. Охрана была из штрафников, которым давали 400 граммов хлеба помимо приварки (трехразовое питание). В лагерь привозили зэков из других лагерей. Там я видел, как охрана застрелила двух зэков (у одного были хорошие сапоги, а у другого пиджак). Эти убийства квалифицировались как «попытка к бегству». Зэки там становились доходягами, и их отправляли умирать в больницу.

В лагере я сошелся с одним зэком, с которым мы рядом спали на нарах (имени я его не узнал). Однажды мы были за баракom, и там у кухни доходяги собирали на помойке картофельные шкурки. В одном из доходяг мой друг узнал своего бывшего начальника и сказал мне об этом. Вечером мы долго лежали и не могли уснуть. Из головы никак не выходила мысль о том, что скоро и мы дойдем до такого состояния. На другой день он меня уговорил пойти на работу на лесоповал. Мы спилили два дерева, обрубили сучья, разожгли костер и сели около огня. Через некоторое время он встал,



подошел к пню спиленного дерева, положил на него левую руку и топором отрубил себе кисть. Конвой сразу же отвел нас в лагерь, и его увезли. Меня это очень расстроило. Я всю ночь не спал. Себе руку я рубить не мог. Я был акробатом и очень любил свою профессию. Моя работа доставляла мне радость. Я дал себе слово, что меня не доведут до того состояния, в котором я увидел бывшего начальника своего друга. Я решил умереть от голода и объявил голодовку. После этого начальство лагеря начало проводить надо мной «эксперименты». Каждый день мне приносили жаренную на свином сале картошку. Так я выдержал четыре дня, а на пятый жарить картошку перестали.

Обычно на пятый день, проведенный без пищи, у человека проходит желание к еде. Я пролежал без еды дней двадцать. Каждое утро приходил лагерный доктор и мерил мне температуру. Я лежал на нарах, и перед моими глазами проходила вся моя жизнь — с тех пор, как я только начал себя помнить.

Нашего отца в 1914 году забрали на фронт. Моя мать с пятью детьми осталась в Москве. До войны отец работал приказчиком в магазине фабриканта Прохорова, и вплоть до революции Прохоровы помогали нам — дарили под Рождество и на Пасху детям зимнюю и летнюю одежду.

В самом начале службы на фронте отец прислал письмо, в котором просил мать сфотографироваться со всеми детьми и прислать фотографию на фронт. Мама так и сделала. Помню, как в ноябре 1914-го она наняла извозчика и повезла нас фотографироваться. Мама и две сестры сидели в пролетке, мы с младшим братом — у них в ногах, а старший брат — рядом с извозчиком.

После этого с ноября до мая я болел. Лежал в Морозовской больнице. Когда меня забрали оттуда, я не мог ходить, и братья и сестры какое-то время возили

меня в коляске, которую где-то достали. Я переболел корью, скарлатиной и дифтерией.

Мне было четыре года, когда меня побил один мальчик. Я пришел пожаловаться своей маме, та в этот момент стирала белье. Оставив стирку, она жалостливым голосом сказала: «Бедный мальчик», вслед за тем сняла со стенки ремешок и начала стегать меня по попе, приговаривая: «Никогда не приходи жаловаться!» Я понял, что мне надо побеждать («нос в крови, а наша берет!»). Так мама научила меня вырабатывать характер, и к осени я уже сам бил одногодок.

После революции мама ездила в деревню Лябинка, и там родственники давали ей продукты. Новый, 1918 год мы встречали без елки. Вместо нее мы нарядили елочными украшениями фикус и водили вокруг него хоровод.

После встречи Нового года мама и старшая сестра Катя заболели испанкой (разновидность гриппа), и в деревню некому стало ездить. Скоро продукты кончились, и семья стала голодать. Хлеба нам давали по маленькому кусочку, который мерили спичечным коробком. Чтобы прокормиться, мы — мой младший брат, я и старший брат Вася — стали ходить по магазинам и пекарням. Однажды у пекарни, где грузили на ломовые телеги хлеб, мы тайком отламывали горбушки. Извозчики погрузили хлеб и уехали. Мы увидели, как из ворот пекарни выехал трамвай с хлебом (в пекарню были проведены рельсы), за которым закрылись железные ворота. С левой стороны ворот, внизу, была доска, в которой был сделан вырез для стока воды, и как раз возле этого выреза сидел сторож. Вася скомандовал нам с младшим братом раздеться (на нас были пальто со старших сестер, длинные рукава на них были на концах завязаны веревками — чтобы не мерзли руки) и лезть в этот

вырез. Мы разделись и пролезли под ворота. За воротами с правой стороны находилась платформа, на которой стояла вагонетка с буханками хлеба. Мы взобрались на платформу, взяли по буханке, опять подлезли под ворота, оделись и пошли домой.

Дома мы застали доктора, который пришел к матери и сестре, у которых поднялась температура. Старший брат отрезал от буханки маленький кусочек и дал ее доктору. Доктор выписал рецепты, и я с младшим братом тут же отправился на Серпуховскую площадь в аптеку Ферейна. Купив лекарства, мы отправились домой, пообедали и пошли по магазинам, отламывая по пути от заборов доски для топки печи. Так в течение двух недель мы каждый день ходили к пекарне и приносили по две буханки хлеба.

Однажды по приходе домой нас встретила средняя сестра и сказала, что слышала от подруги, будто домоуправ ходит по квартирам и подселяет каких-то людей, поэтому лучше запереть дверь и никому не открывать. Мы так и сделали. Вскоре мы услышали стук в дверь и голос домоуправа, требующего ее открыть. Раз мы этого не сделали, несколько человек стали ее взламывать. Тогда мы решили вооружиться: старший брат взял ухват, я кочергу, а младший — чапельник (у нас на кухне была русская печь). В это время взломщики уже сорвали с петель одну створку входной двери. Но тут мимо проходил сосед-инвалид и, увидев, что они делают, устыдил их, и им пришлось уйти. Но через несколько минут взломщики пришли снова и окончательно выбили дверь. Одного из вломившихся в переднюю старший брат ударил ухватом и раскроил ему висок. У того хлынула кровь, и всей компании пришлось ретироваться. Старший брат снова прибил петли и повесил двери, но больше взломщики не появлялись.

Как-то раз утром я с младшим братом отправился в пекарню. Когда мы подобрались к вагонетке, оказалось,

что хлеб лежит только на ее верхних полках, и мне пришлось за ним лезть. В это время из пекарни выходили две женщины. Нас поймали, привели в пекарню, накормили хлебом с маслом (этим маслом смазывали формы для хлеба) и спросили, чьи мы и откуда. Мы рассказали об отце на фронте, о больных сестре и матери. Перед тем как уйти, младший брат спросил, можно ли прийти в пекарню завтра. Нам разрешили, дав вдобавок хлебных корок. Так мы стали ходить в пекарню.

Вскоре мама поправилась, и мы ее устроили на работу в пекарню. Для нас же это обернулось очень плохо: меня и младшего брата мама отдала в приют. Это был распределитель на Шаболовке — двухэтажное здание за карбюраторным заводом. Раньше там был мыловаренный завод.

Мама привела нас и ушла. У нас были черные волосы, и ребята начали дразнить нас жидками. Когда ушли педагоги, они захотели с нами подраться. Я сказал, что брат драться не будет. Я стал драться по очереди и побил тринадцать мальчишек. После этого я сказал, что сегодня больше драться не буду. А на следующий день со мной никто драться не захотел.

Так началась наша жизнь в детском приюте. Вскоре нас с братом отправили в приют на станции Подосинки (ныне Ухтомская), где мы жили на бывшей даче Пельтцер. Места там были очень красивые. Пока мы там жили, нам часто давали какао и булочки (это была помощь из Америки).

Однажды старшие ребята полезли на чердак дачи. Там, за трубой, они нашли кожаный мешок, полный зеленоватых бумажек. Они взяли немного бумажек и дали сторожу, который попросил несколько штук для курува. Как-то раз директор увидел, как сторож сворачивал самокрутку из одной такой бумажки, и спросил, откуда она у него. Сторож сказал, что от

ребят. Тогда директор позвал этих ребят, и они ему показали место, где был спрятан мешок. Директор взял этот мешок, и больше в приюте его никто не видел. Вместо него нам прислали из Москвы нового директора-женщину по фамилии Авербах. Приехала она с тремя детьми.

Спали мы в помещении дачи. Кухня и столовая были метрах в двухстах от дачи. Там же была большая конюшня, рядом с которой жили красноармейцы. Иногда они давали нам лошадей и вместе с нами ездили купать их в пруду возле дачи.

За прудом, ближе к железной дороге, были два ангара с самолетами. Однажды к летчикам из Москвы прилетел Троцкий. Прилетел он на самолете «Илья Муромец». В одном из ангаров сделали сцену, на которой потом выступали Троцкий и разные артисты. На выступление из приюта привели и нас.

Самолеты тогда были маленькие. Иногда при посадке они цеплялись за верхушки деревьев и падали на землю. Зимой мы бегали на места падения самолетов. Там мы снимали с самолетов резиновые жгуты, которые оттягивали концы лыж самолета назад. Конечно же, этим жгутам мы находили множество применений.

Летом мы часто ходили с преподавателем на поля орошения (орошение тогда только начинало развиваться, и на этих полях пробовались первые оросительные системы), которые были ближе к Люберцам. Их называли полями Вильямса. Мы любили туда ходить потому, что работники всегда давали нам морковь, репу и брюкву.

В приюте у нас была коробка с коллекцией бабочек. Тайком мы делали из булавок, на которых были прикреплены бабочки, рыболовные крючки, и ловили на них в пруду карасей. Пока мы следили за удочками,

позади нас собирались кошки и котята, которые сдирали рыбу с крючка, как только мы ее вытаскивали.

Однажды, когда мы были построены парами для того, чтобы идти купаться в Косино, нас подвели к столу, на котором лежала разоренная коробка с бабочками. Один из наших педагогов стал у каждого спрашивать, кто это сделал, смотря при этом в глаза. Никто не сознался. После этого всех повели купаться. Когда шли по поселку Подосинки, мы с братом перелезли через забор и пошли ловить карасей. Часа через два прибежал мальчик и сказал, что, когда все возвращались в приют с купания, двое ребят нашли бомбу и уронили ее. Бомба взорвалась, и многих детей ранило: тех, кто стоял близко, — в ноги, кто дальше — в грудь. Только одному мальчику осколок попал в голову, и он умер. Мы же с братом просто по счастливой случайности остались невредимыми — из-за того, что пошли на рыбалку.

Как-то раз ко мне подошла педагог, ведя за собой мальчика. Она взяла меня за руку и повела нас обоих в конец сада. Пока мы шли, мальчик рассказал, что это я вынул булавки из коробки с бабочками. Тогда я ударил его правой ногой в лицо так, что он даже упал. Потом я вырвал свою руку из руки педагога (наверное, она сама меня отпустила) и убежал. Вечером, когда подошло время ужина, я вернулся, думая, что меня тут же накажут. Но никто мне даже не напомнил о моем проступке. В приютах ябедникам всегда делали темную, в лагерях же стукачей просто убивали. Я всегда ненавидел таких людей. Наверное, это у меня от рождения.

Так мы с братом прожили в приюте до зимы. Зимой приехала мама и забрала нас домой, сказав, что с фронта вернулся отец. По приезде домой отец стал учить нас грамоте и правописанию. Мама также ездила в деревню за продуктами.

Летом 1919 года папа заболел, и мама повезла его в деревню лечить. Мы остались в доме одни, а мама долго не приезжала. До отъезда мама кормила с окна голубей, и они к этому привыкли. Когда стало нечего есть, мы переловили их, сварили и съели.

Приехала мама и снова отдала меня и брата в приют, потому что папа умер в деревне.

Когда ребенка отдают в приют или детдом, то для него это гораздо хуже, чем для взрослого тюрьма. Но мы уже были в приютах, так что знали тамошние законы. Вместе с братом мы пробыли в приюте вплоть до 1920 года, когда брата забрали домой, и я остался в детдоме один. Здание детдома находилось где-то между площадью Маяковского и Цветным бульваром.

Летом 1920 года мы выехали на дачу в Серебряный Бор. Там на Ходынке были оружейные склады, которые — после того, как их подожгли в 1917 году, — долго горели и взрывались.

Однажды после завтрака, когда детдомовцы расходились кто куда, я решил пойти на Ходынку. Там я нашел гранату (тогда я еще не знал, что это такое), вывинтил из нее какую-то трубку, похожую на патрон, с чем-то черным внутри. Этой трубкой я поменялся с одним мальчиком на сломанный перочинный нож. Он же решил выковырять это черное, чтобы сделать из трубки наконечник для карандаша. Он вставил гвоздь в трубку и ударил по нему камнем. Трубка взорвалась, и ему оторвало левую кисть.

Вскоре мы переехали с дачи в Москву, и к нам из отпуска вернулся наш директор. Однажды он вызвал меня к себе в кабинет. Он долго расхаживал по комнате, все время спрашивал меня, зачем я вытащил капсулю из гранаты. Потом подошел ко мне и сильно ударил меня ладонью по лицу. Я схватил чернильный прибор и бросил ему в лицо. После этого выпрыгнул в открытое окно кабинета со второго этажа и немного

повредил правую ногу. Выбежал на улицу, сел на буфер трамвая «Б» и поехал домой, за Крымский мост. Сразу домой я не пошел, а дождался темноты, пробрался в наш подъезд и залез в один из ящиков между вторым и третьим этажом, где зимой хранили продукты. Там я и спал.

Утром встал и пошел на базар, чтобы стащить себе что-нибудь поесть. На шестой день такой жизни меня поймали. Мама хотела отдать меня обратно в детдом, но я сказал, что тогда я снова убегу и домой уже больше не вернусь. Так я остался дома.

Мама по-прежнему работала в пекарне. Мы с ребятами часто ходили на пристань, где недавно открылся прокат лодок. Там мы помогали мыть лодки, и лодочник давал нам на воскресенье двухпарную лодку. На ней мы перевозили отдыхающих на Воробьевы горы. Отдыхать ездили семьями, с детьми. Как правило, брали с собой провизию, самовары.

Хозяин лодочной станции днем в свободное время учил нас плавать брассом и как спасать утопающих. Сначала необходимо повернуть человека на спину, успокоить его; если же он в панике хватается за вас, то нужно набрать побольше воздуха и начать опускаться на дно — тогда он сам вас отпустит. Все эти уроки мне в жизни оченьгодились.

В 1932 году я поломал правую ногу в стопе, а до этого, в 1931 году, на первом курсе Техникума Циркового Искусства мы с Анатолием Гавриловым сделали для практики оригинальный номер с икарийскими<sup>[17]</sup> и акробатическими трюками на столе и бочонке. После перелома я этот номер работать не смог, и один студент, по фамилии Курепов, предложил мне работать мимическую пародию на артистов кино Пата и Паташона. Нога моя по-прежнему не срасталась,



и врач прописал мне ортопедический ботинок с супинатором, у которого шнуровка шла от самых пальцев ноги. В этом ботинке я ходил весь день и не снимал его даже на ночь.

Как-то мы репетировали в холле техникума. Моего партнера подозвал к себе Воинов, студент нашего курса. Он сидел в первом ряду, а на манеже в это время репетировали жокеи. Когда Курепов подошел к нему, тот толкнул его прямо под скачущую лошадь. Но мой партнер успел повернуться, оттолкнулся от лошади и упал за нею. Я подошел к Воинову и сказал, что он мог сделать товарища инвалидом, не лучше ли пойти во двор и там выяснять свои отношения? Тогда он, вставая, ударил меня головой в лицо. В последний момент я успел закрыться от удара локтем левой руки, а правой ударил его так, что он перелетел на второй ряд.

На другой день, рано утром, когда мы пришли репетировать, из бокового прохода вышел Воинов с ножом в руке, перепрыгнул через барьер и замахнулся на меня. Я схватил его руку, вывернул ее и ударил его так сильно, что он ударился головой о барьер. После этого к нам подошел администратор Смулянский и сказал, что будет брать нас на концерты. Мы сделали номер и поехали работать в Тульскую область, в места разработок бурого угля. Спали мы в клубах.

Однажды утром мы пошли купаться на речку. Пока купались, пригнали стадо коров. У нас были красные трусы, и, когда мы вышли из воды и пошли через стадо, один бык заметил красный цвет и погнался за нами. Убегая от него, нам пришлось прыгнуть в воду. Бык в воду не полез, а стал ходить по берегу и бить землю ногами. Сидя в воде, мы замерзли и, сняв трусы и спрятав их под мышкой, вышли из воды и пошли через стадо, где женщины доили коров.

Там же, в Тульской области, мы с партнером пошли купаться на пруд и, опаздывая к началу работы, решили переплыть его (пруд был метров сто шириной, а обходить его пришлось бы километра три). Мы связали свои вещи, привязали их на голове и поплыли. Я доплыл до другого берега, а партнер, не доплыв двадцать метров до другого берега, стал кричать, что тонет. Когда я подплыл к нему, он тут же схватил меня за руку. Я — как учил меня хозяин лодочной станции — стал опускаться на дно, и он меня отпустил. Я отплыл немного в сторону и сказал ему, что если он будет меня хватать, то я его брошу. С таким условием я его и вытащил.

В 1923 году напротив стадиона СКЗ была мусорная свалка, простиравшаяся до Нескучного сада. Ее засыпали, стадион закрыли и стали на всей площади что-то строить. Через Крымский Вал сделали деревянный мост через дорогу и позже там построили павильоны — это была первая сельскохозяйственная выставка. Открыли ее в начале 1923 года. Билеты были из плотной бумаги и стоили 50 копеек. Я подсмотрел: контролерши с утра после открытия выставки какое-то время рвали билеты, но потом уставали и просто бросали их целыми в урну. Мы с другом, когда контролеры отвлекались, подменяли полные урны на пустые. После этого шли за павильон, вытряхивали урны и собирали целые билеты, которые потом продавали возле касс, где стояли большие очереди. Так мы делали три дня, пока однажды, когда мы вытряхивали урны, нас не поймали администраторы выставки. На этом наш «заработок» кончился. На «заработанные» мной за эти три дня деньги сестрам купили обувь и рубашки.

Осенью мама снова отдала меня в детский дом-распределитель на Полянке. Жил я там недолго. В

самом начале моего пребывания я по пожарной лестнице забрался на чердак. Там висело несколько кругов конской колбасы — их оставил дворник-татарин (в то время в Москве дворниками служили только татары). Я взял два круга, надел их на себя, закрыл сверху рубашкой и спустился вниз. Мы с ребятами съели колбасу, которая показалась нам очень вкусной. Но на другой день на чердаке колбасы не было — дворник обнаружил пропажу и убрал колбасу.

Зимой, когда умер Ленин, нас педагоги парами повели прощаться с вождем. Было очень холодно, и я отморозил нос и уши.

Вскоре мама взяла меня домой. К тому времени старшая сестра уже работала. Брат также работал на Прохоровской мануфактуре («Трехгорке»).

Летом мы большую часть времени проводили на Москве-реке. На другой стороне реки построили водную станцию «Динамо». Пускали туда только по членским билетам. Детей же — за 25 копеек за вход. Мы брали 20 копеек в рот и переплывали Москву-реку. На том берегу были теннисные корты, площадки для прыжков (а мы уже тогда хорошо прыгали акробатические прыжки). Членами «Динамо» могли быть только работники с Лубянки и партийные работники. Причем играть в теннис могли только состоятельные люди — одна ракетка стоила три месячных зарплаты простого человека, не считая теннисных туфель и костюма.

В 1925 году мы — ребята нашего двора — пошли в райком. Там нас направили в мастерские. Здание, где располагались мастерские, раньше было детским приютом Рукавишникова. Это было рядом с Министерством иностранных дел — Смоленский бульвар, дом 30. Нас определили в химическую мастерскую, так как во всех остальных мастерских места уже были заняты.

В чанах красили сети из мочала в зеленый камуфляжный цвет для военной маскировки. При мастерских была столовая, где после обеда мы на столах играли в пинг-понг. К мастерским был прикреплен человек из райкома по фамилии Мездреков с круглым лицом, изъеденным оспой. Он запрещал нам играть и все время заходил в столовую. Но мы выпрыгивали в окна, и поймать он нас не мог. Однажды он пришел с тремя парнями; по-видимому, они тоже были партийцами — рядом с мастерскими был райком ВКП(б). Они встали у окон, а Мездреков отобрал ракетки и сетку. Вместе они порвали сетку и поломали ракетки. При этом они называли пинг-понг буржуазной игрой, в которую нельзя играть. Позднее нам все время об этом напоминали.

В мастерской мы изготавливали анилиновые красители и проводили различные анализы. В 1928 году я сдал экзамен на аппаратчика химической промышленности. Сдавал я в Госцветметзолото. Мне надо было определить, сколько в царских 20 копеек серебра. Я провел анализ и определил, что в монете 60 % серебра и 40 % меди. Мне дали справку с хорошей оценкой, и я поступил работать в ЦНОЛ (Центральная научно-опытная лаборатория), где делали заводскую аппаратуру. Там я проработал полтора года, пока не поступил в 1930 году в только что открывшийся Техникум Циркового Искусства. Техникум я окончил через три года с номером «Полет с батутом», в котором помимо меня было еще два человека. Это были Борис Гусев (ловитор<sup>[18]</sup>), Мухин Иван (прыжки на батуте). Я же был вольтижером<sup>[19]</sup>.

Этот номер мы вместе работали недолго. В 1934 году мы должны были ехать в город Юзовку (позднее его переименовали в Сталино, сейчас это Донецк). Перед отъездом в Москву приехал из Юзовки мой брат и

сказал, что там так холодно, что руки примерзают к тросам. Я решил не ехать. Мне надо было призываться в армию.

После этого я устроился работать в Московский мюзик-холл. В то время там шли постановки «Артисты варьете», «14-я дивизия в рай идет» (в спектакле мы изображали чертей, прыгая с колосников на резиновых жгутах) и «Севильский обольститель». Мне режиссер дал небольшую роль в эпизоде Варфоломеевской ночи в «Севильском обольстителе». Одетый и загримированный под раввина, я выбегал на сцену, спасаясь от погони, и бежал в противоположный боковой проход. Из прохода навстречу мне выходил охранник. Я посреди сцены делал сальто-мортале на живот, подбегали охранники и секирой отрубали мне голову. Один из них поднимал голову (бутафорскую копию головы охраннику подавали из люка в полу сцены), показывал ее зрителям и бросал к рампе. Я поднимал свою голову, ее снова отрубали, и на этом сцена кончалась.

Однажды из райкома пришел начальник ЛИТа<sup>[20]</sup> и сказал, что не может такого быть, чтобы старому жида не могли сразу отрубить голову, и что сцену нужно убрать из спектакля. Ее убрали.

## **Глава 7**

### **Больница — лагпункт для выздоровливающих — лесоповал**

Доктор в лагере стал слушать мне сердце и проверять пульс два раза в день. Постоянно лежа на нарах, я стал себя чувствовать легче, днем выходил из барака и ходил около него. Однажды утром пришел доктор и измерил у меня температуру. После этого он ушел, и через минут двадцать меня уложили в розвальни и повезли в лагерную больницу. Пока мы ехали, в ушах у меня звучала какая-то незнакомая, но красивая музыка.

Главврач больницы был мне знаком. Вместе с ним мы шли в 37-м году этапом от станции Мураши до Чибью, и он всю дорогу кормил меня рыбьим жиром.

У меня была цинга. Главврач принес килограмма полтора сахару и приказал мне ничего не есть до тех пор, пока я его весь не съем. Каждый день он мне приносил молодые побеги сосны и ели — их я должен был жевать и потом глотать. Благодаря стараниям моего друга я стал быстро поправляться и вскоре встал на ноги.

После выздоровления меня отправили в лагпункт, где содержались доходяги и выздоравливающие, присланные, как и я, из больниц. Кормили нас хорошо: 600 граммов хлеба и три раза в день давали приварку. Несмотря на это, много людей умирало.

В лагере мне предложили в качестве работы ходить по утрам в лагпункт, который был возле тракта на Воркуту, и приносить оттуда почту. Работа эта мне очень нравилась. Бывало, идешь по лесу и видишь красавца глухаря на верхушке ели или голову лося,

выглядывающего из зарослей. Но вскоре меня сняли с этой работы и поставили пилильщиком на пиле — изготавливать доски для гробов.

К тому времени я настолько поправился, что стал прыгать акробатические прыжки, жать стойку на руках.

В лагпункте нас часто обследовали врачи. Однажды после одного из таких обследований меня отправили на лесоповал. Как-то раз в лагере было совещание техперсонала, и меня вызвали туда. Меня спросили, работал ли я в цирке. Я ответил, что работал. Мне предложили разбивать заторы на лесосплаве, и я согласился. Я вспомнил, как мальчишками мы весной при ледоходе на Москве-реке бегали по льдинам. Скобой, привязанной за конец веревки, мы вылавливали из воды все, что могло сойти за дрова, и вытягивали это на берег. Так мы снабжали себя топливом, а лишнее иногда и продавали.

По распоряжению начальника лагеря меня включили в разбиватели заторов, сшили сапоги, дали лошадь, на которой я ездил вместе с инженером сплава.

На всем участке сплава заторы случались только дважды, и оба раза на одном повороте реки. Нужно было добежать по бревнам до середины реки, выбить одно или два бревна и после того, как весь сплав тронется дальше, бежать обратно на берег. В 1937 году много бревен после затора осталось на берегу.

Еще во время голодовки я перестал бриться, и за то время, что я голодал, у меня выросла черная курчавая борода и усы. Из-за этого зэки прозвали меня «пахан». Как-то раз я попросил у начальника лагеря разрешения помыться в бане. Он мне разрешил. Когда я мылся, пришли три зэка и стали отталкивать меня от чана с горячей водой. После того как я их тоже оттолкнул, один из зэков меня ударил. Я дал сдачи. Тогда на меня набросились все три зэка. Я хорошо играл в футбол и

побил их в основном только ногами. Эти зэки работали столярами — делали начальнику лагеря мебель. Они пожаловались начальнику, и он приказал парикмахеру сбрить мне бороду и усы. Один зэк после этого тут же сказал про меня: «Был пахан, а стал — пацан».

В целом сплав леса прошел хорошо, и инженер по сплаву при всех похвалил меня за работу.

После этого начальник лагпункта назначил меня каптером. Я должен был получать от завхоза продукты, отдавать их на кухню, а хлеб раздавать по утрам зэкам. Среди молодых ребят, отбывавших срок, было много доходяг, которых я подкармливал, — многие поправились и стали выполнять норму работы, за что получали по 800 граммов хлеба и приварку по первой категории.

Через два месяца после того, как я начал работать, у меня в каптерке случилась ревизия, после которой обнаружилась недостача на 300 рублей. За это меня должны были судить как за диверсию на продуктовом фронте (в то время голодавшим колхозникам, собиравшим с уже убранных хлебных полей колоски, давали от 5 до 10 лет лагерей по 58-й статье). Но так как я уже отбывал срок по 58-й статье, а за то, что я работал каптером, должен был быть наказан начальник лагеря, мою недостачу списали на усушку и утруску. Работа каптера, конечно же, мне больше не светила, и меня определили в бригаду пожарных для тушения костров, которые оставляли лесоповальщики.

К тому времени я был физически здоров и уже начал выступать среди заключенных с эквилибром. Но после голодовки я был духовно мертв, меня ничто не интересовало и мне ничего не хотелось.



## Глава 8

### Я обретаю себя

Однажды я ловил на удочку рыбу в реке (за зону меня выпускали) и поймал двухкилограммового язя. После этого, казалось бы, незначительного происшествия внутри меня как будто что-то перевернулось. Я снова почувствовал себя живым, восстановил свой танец «Яблочко» с акробатикой, с одной заключенной сделал номер поддержки. Мы даже выезжали выступать в близлежащие села.

Как-то раз в лагере кончились продукты, а привезти их должны были только через сутки. Меня и еще двух заключенных вызвал к себе начальник и сказал, что мы под руководством одного зырянина пойдем ловить рыбу. Зырянин познакомил нас с нашими обязанностями. Я должен был стоять на носу лодки и бить острой щук; второй зэк должен был сидеть посередине лодки и добивать щук, чтобы они не бились. Зырянин же управлял лодкой. На высоте двадцати сантиметров от носа лодки была «коза» — площадка из проволоки, на которой жгли сосновые корни (горят они очень ярко).

Мы сели в лодку и поплыли вверх по течению. После трех часов гребли мы сделали остановку, развели костер и попили чаю. После этого мы разожгли смолье на «козе» и тихо поплыли вниз по течению. В темноте были ясно видны спинные плавники щук, стоявших у берега. Я бил щуку острой, тут же вынимал ее из воды и передавал сидящему посередине. Он добивал щуку на остроге и тихо клал ее в лодку, чтобы не спугнуть рыбу. Утром мы вернулись в лагерь с полной лодкой щук. Начальник лагеря был очень доволен — он не ожидал такого улова.

В то время я уже работал три номера: эквилибр, танец «Яблочко» и поддержки. Мы часто ездили в близлежащие села и лагпункты, выступали там вместе с другими артистами. Помимо нас в программе был певец, разговорник и баянист.

Когда едешь в село и ветер дует навстречу, то всегда издали чувствуешь запах шанег — пирогов с чуть протухшей рыбой.

Так я прожил до 1939 года. Ранним утром 14 марта начальник дал мне справку о том, что я отбыл свой срок, и я поехал в Сыктывкар, чтобы получить документы. До тракта было километров двадцать, и, когда я дошел до него и сел на пенёк возле дороги, у меня неожиданно хлынули слезы. Машины проезжали мимо, а слезы текли и текли, хотя я не знал отчего. Когда слезы перестали течь, я встал, умылся снегом, остановил машину, идущую в Сыктывкар, и, показав справку, поехал...

**А. П. Буцковский**  
**Судьба моряка**

## **Глава 1**

### **Моя жизнь до ареста**

Родился я в 1926 году, 30 сентября, в деревне Песчано-Озерка Амурской области в семье крестьянина.

То, что я впервые запомнил в своей жизни, — это коллективизация. Жили плохо, семья была большая — девять человек. В колхоз родители не вступили, и мы переехали в Благовещенск Амурской области.

В начале 30-х шел по России страшный голод. Мы жили в городе в нищете и голоде. Однажды я с отцом пошел на базар и там увидел брошенных голодных детей. Они лежали под базарными прилавками, на тротуарах. Их, живых, но уже не способных двигаться, ели мухи и черви. Это было так страшно, что с тех пор прошло уже более полувека, а я все еще вижу это, как наяву. Брошенных детей было очень и очень много.

Спасая от голодной смерти, родители вывезли нас на остров Сахалин.

В 1937 году мы возвратились с Сахалина в Благовещенск. Отца не прописали, причина — выехал из деревни, не вступив в колхоз. В тот же год отца сослали в село Мазаново Амурской области. Не колеблясь ни минуты, я с отцом отправился в ссылку, чтобы облегчить его судьбу. Поездом доехали до станции Белоногово, а потом проделали длинный путь пешком. Начиналась зима, был октябрь или ноябрь, уже много снега. Мы шли пешком и тащили за собой санки со своими пожитками, и так двести с лишним километров. Мне тогда было одиннадцать лет.

Зиму 1937/38 года прожил я с отцом, вернее, отец всю зиму работал в тайге, от поселка в шестидесяти километрах, а приходил в поселок раз в месяц. Однажды, идя из тайги через реку Селемджу, он

провалился под лед и чуть не утонул. В тот вечер я очень ждал отца, но вместо обычных 10 часов вечера он пришел почти в 2 часа ночи, весь обмерзший. Благодаря его крепкому здоровью все обошлось благополучно, и через день он опять ушел в тайгу заготавливать лес.

Лес заготавливали вручную, норма на человека — 15 куб. метров, а оплата слишком маленькая: 150–180 рублей в месяц (цены довоенные).

Я учился в четвертом классе, школа маленькая, деревянная, в классах холодно, хотя печи топили два раза в сутки. Ученики — дети ссыльных, таких же, как и мой отец. С питанием было плохо, не всегда я ел хлеба вволю, всегда чувствовал голод, и ко всему этому заедали вши, от которых трудно было избавиться. Спали все на полу, и взрослые и дети, коек не было.

К концу апреля 1938 года отцу разрешили выехать к семье, и вновь двухсоткилометровый путь прошли мы с отцом пешком. Еще лежал снег, и фанерный ящик с нашими пожитками, к которому были подделаны полозья, мы тащили волоком по снегу. Шли почти десять дней. Вскоре снег растаял — это было, когда мы вновь пришли на станцию Белоногово. Затем поездом с тремя пересадками приехали в поселок Кивдо-Копи Амурской области. Здесь я встретился со своими сестрами, Анной и Полиной, братьями, Афанасием и Виктором, и самым близким для меня человеком — мамой.

1938 год подходил к концу. В одну из октябрьских ночей агенты НКВД ворвались в нашу комнату, где мы жили семьей в семь человек. Я проснулся от резкого стука и, открыв глаза, увидел людей в черной одежде — их было трое: один стоял в раскрытых дверях, а двое — у нашей постели (спали мы все на полу). Один из этих людей ударил отца сапогом, а у мамы потребовал на всех документы. Мама дрожала и плакала, но агенты ругали маму, что она долго ищет документы, хотя на

поиски документов ушло каких-нибудь три-четыре минуты.

Пнули и меня и приказали закрыть глаза. Я сильно боялся за отца, что его могут забрать, но на этот раз все обошлось. Агенты ушли, хлопнув дверью. Сестры мои ничего этого не видели и не слышали — они спали. Мама с отцом так и не смогли уснуть до утра. Этот день я никогда не забывал, где бы ни был.

В предвоенные годы приходилось много работать: косить и убирать сено, копать огород, а осенью собирать урожай и переносить его на себе за шесть — восемь километров. Урожай убирали всей семьей. Зимой — учеба. Одежды не хватало, обуви была одна пара огромного размера на двоих.

А еще труднее стало в 1941 году, как началась война. Через год, когда мне исполнилось шестнадцать лет, я добровольно ушел в армию, прибавив себе в возрасте два года, но вскоре меня отчислили как несовершеннолетнего. Пошел работать в шахту мотористом. Трудное было время: карточная система, в основном хлеб, и никаких других продуктов. За перевыполнение плана по выходе из шахты — два пирожка.

В 1943 году меня призвали в армию. Уходя на Великую Отечественную, я не предполагал, что мне долгие годы после ее окончания придется томиться в тюремных застенках, в лагерях Сахалина, мыса Лазарева, Колымы и холодной Якутии, а выйдя на свободу, еще не раз столкнуться с произволом властей. Но это будет потом. В армии я служил пулеметчиком станкового пулемета максим, вторым номером, в 12-й отдельной стрелковой бригаде. Вес у меня был 48 килограмм, боевая нагрузка — 43 килограмма.

Много я увидел уже здесь несправедливости и жестокости по отношению к военным служащим. После учебной подготовки наш батальон вышел в лес. В

течение недели нам приказывали на ночь раздеваться до нижнего белья, и мы спали на ветках, лежащих на снегу. Палатки были летние и не отапливались. Многие заболели. Я дважды выступал против таких порядков, меня наказывали.

В конце концов меня перевели в Военно-Морской Флот. Я благодарил судьбу, что оказался во флоте. Здесь было легче, хотя бы кормили сытнее. В рационе часто была американская тушенка, колбаса в банках, сыр.

Победоносно заканчивалась война, в числе других моряков я побывал на Аляске, на американской военноморской базе Колд-Бей, где мы получали боевые корабли для Советского Союза. На одном из них, фрегате 25, я вернулся в СССР.

Принимал участие в войне с Японией, освобождал порты Северной Кореи. В 1946 году мне повезло: опять поездка в США. Я увидел города Портленд, Чикаго, Новый Орлеан, Сан-Франциско, Сиэтл, Панамский канал. Вновь закупали корабли для России. По возвращении в СССР продолжал служить в разных портах — Владивостоке, Советской Гавани, Камчатке, Порт-Артуре — и не догадывался, что, написав однажды в автобиографии о ссылке отца в 1937 году, сам окажусь жертвой.

По флоту идут разговоры: арестованы Русланова Лидия Андреевна — Народная артистка СССР, Кузнецова — жена секретаря Ленинградского обкома партии; какое-то «Ленинградское дело» открыто, по нему арестовывают сотни людей. Прошел слух, что арестована часть моряков из тех, кто был в США. Слухи, как эхо, доносились до каждого моряка.

И вот зловещая дата в моей жизни — 4 марта 1950 года. Я, матрос миноносца «Ведущий», арестован агентами МГБ войсковой части 25084. Меня обвинили в

восхвалении жизни в США. Допросы велись по ночам, показания вырывали силой.

Суд приговорил меня к 10 годам лишения свободы и 5 годам поражения в правах с запретом проживания в крупных городах, то есть — после отбытия всех мер наказания — к «добровольной» ссылке в Сибирь. Вот об этом и пойдет речь дальше.



## **Глава 2**

### **Арест и тюрьма**

Ничего плохого по службе не предвещал Новый, 1950 год. В конце 1949 года мы вернулись из города Комсомольска-на-Амуре на новом миноносце «Ведущий». По тому времени техническое вооружение корабля соответствовало последнему слову техники.

Я стал подумывать о гражданской жизни, о демобилизации. Хотя я уже и находился седьмой год во флоте, на кораблях еще служили моряки 1921 и 1922 года рождения, поэтому никто не знал, когда начнется демобилизация военнослужащих 1926 года рождения. А время было тревожное. На флоте с быстротой молнии расползались слухи о репрессиях. Вскоре я убедился, что репрессии — это явь. Мои знакомые гражданские моряки, братья Коваленко, рассказывали об арестах в гражданском флоте. Все, о чем они говорили, подтвердилось, когда я сам оказался в тюрьме.

Думаю, что меня взяли на прицел давно. Может быть, за месяц или за два до ареста я стал замечать, что меня больше не ставили в наряды, воздерживались отпускать в увольнение. К тому времени я был женат. Если женатых в субботу или воскресенье отпускали в увольнение с ночевкой, то меня увольняли с 19.00 до 23.00. Все это меня настораживало. Однажды я увидел на корабле в каюте замполита человека в гражданском костюме. Наверное, в эту же ночь мне приснился сон, как будто у меня оторвался на левой руке мизинец, а мне не было больно. Дня через два, 4 марта 1950 года, я в 14.00 отправился со службы домой, по пути зашел к жене на работу, взял у нее сапоги, чтобы сдать в ремонт. Придя домой, решил переодеться в гражданскую одежду. Надел плащ, в сумку положил

сапоги и вышел на улицу. Не успел отойти метров на двадцать — двадцать пять от ворот дома, как и ко мне подскочили два неизвестных человека, схватили за руки, нанесли удар по шее и потащили к машине. Сознание я не терял и, оказавшись в машине, понял, что это агенты МГБ: это их почерк, почерк 1937 года.

В машине кроме шофера и этих двух, которые схватили меня, находился еще один человек. Теперь я отчетливо сознавал, что прощаюсь со свободой надолго. Привезли в МГБ по улице Китайской; это зловещее здание во Владивостоке знают почти все. Мимо этого здания я ходил несколько раз, будучи в увольнении. Здесь содержались заключенные, здесь их допрашивали и пытали, а их стоны и крики заглушал стук колес трамвая по рельсам. Втолкнули меня в одну из трех камер подвального помещения. Просидел в ней три дня, никуда не вызывали, не кормили; спал, сидя на бетонном полу. Затем отвели в один из кабинетов — там сидел полковник. Меня посадили на стул, прикрепленный к полу. Когда я сел, полковник сказал с усмешкой: «Вот, голубчик, и ты поймался, отсюда еще никто не уходил, и ты не уйдешь живым». Потом вошли еще двое, и меня заставили подписать какую-то бумагу; думаю, что это был ордер на арест. И в тот же день (это было уже 7 марта) меня отправили в тюрьму.

Оказавшись в одиночной камере владивостокской тюрьмы и сознавая всю несправедливость этого, я пришел к выводу, что лучше всего покончить с собой. Но как? Никаких средств, какими можно было бы воспользоваться для этой цели, в одиночной камере не было. Камера находилась на втором этаже, размером два на четыре метра, толщина стен — более метра, сводчатый потолок, окно с решеткой и козырьком и мощная металлическая дверь. В потолке, примерно на высоте двух метров, вмонтирована электрическая лампочка. Первая мысль, пришедшая в голову, —

замкнуть на себе провода, но брали сомнения: мне не было известно напряжение сети. Спустя пару дней мне удалось через охранника узнать, что напряжение всего лишь 127 вольт, но я все же решил попробовать замкнуть на себе провода. Несколько дней я тренировался в прыжках в высоту и уже свободно мог достать электролампочку и патрон, хотя они находились в металлической сетке. За эту сетку я мог бы и держаться.

В камере я был один. Ну, думаю, надо решаться. Вдруг мне показалось, будто за моей спиной что-то мелькнуло. Я невольно повернулся и увидел на полу небольшой свернутый листок — страницу из какой-то книги. Я развернул его и начал читать: там шла речь о большевиках, приговоренных к расстрелу. Сидя в одиночных камерах и зная, что уже завтра будут расстреляны, они занимались физической зарядкой. Это придало мне силы, и я отказался от попытки самоубийства, ведь я точно знал, что мне грозил не расстрел, а 10 лет заключения: такой приговор выносили всем непокорным — тем, кто хотел знать правду и видел несправедливость.

Начались допросы, они проходили ночами в здании на Китайской. Следователи применяли физическую силу. Как правило, били двое — резиновыми сапогами по почкам. Так длилось около десяти дней. После изнурительных допросов и побоев меня перевели в другую камеру, в которой находилось два уголовника. С ними оказался и я, политический. С этого момента на допросах стали меньше применять побои, да к тому же и я решил оказывать сопротивление. На очередном допросе следователь Гурьянов взял пистолет и, подойдя ко мне, чтобы нанести удар, несколько раз замахнулся им, но я сказал, что если он ударит меня еще раз, то я задавлю его. В то время у меня было еще достаточно сил сделать это, невзирая на последствия.

Тогда меня продержали в МГБ всю ночь, не давали пить и даже не водили в туалет, хотя такая необходимость была. Через двенадцать часов меня снова отправили в тюрьму.

В апреле 1950 года меня перевели на третий этаж, уже в третью по счету камеру. В камере находились Боев Анатолий Яковлевич и два японца: один из них, Савамура, — простой рабочий, второй, Имай, — настоящий самурай. Чуть позже к нам поместили Емшанова Толю, армейского солдата.

Итак, нас в камере пятеро. Следовательно оставался у меня все тот же Гурьянов, но он уже не предпринимал попыток применять физическую силу. Он понимал, что физически слабее, и один на один не рисковал связываться со мной, но путем разных обманов начал фабриковать протоколы допросов. Он заставлял меня подписывать чистые листы бумаги, а затем заносил в них все то, что нужно для обвинения, и так делалось неоднократно.

В тюрьме было тяжело морально, газет не давали, передачи не разрешали, не было переписки с женой.

В один из дней я поставил вопрос перед следователем: если не разрешат продуктовые передачи, я что-нибудь сделаю с собой или со следователем. После этого разрешили получать от жены продуктовые передачи.

Конечно, все это время жена не знала, где я, хотя и предпринимала все усилия к моему розыску. Была и на корабле. Командир корабля, капитан третьего ранга Жеребин, знал, где я, но ей сказал, что ему неизвестно мое местонахождение. Как вели себя органы по отношению к моей жене, я узнал позже, когда удалось организовать нелегальную переписку. Непосредственными связистами служили охранники тюрьмы, хотя они ничего и не подозревали. Существуют разные возможности нелегальной переписки. Способ,

которым воспользовался я, разработал в тюрьме капитан дальнего плавания Поздняков. Жил он раньше во Владивостоке на улице Дальзаводской, в доме 2, был осужден по сфабрикованному делу на 10 лет. Связь заработала, но об этом чуть позже. Немного слов о камере.

Как я уже говорил, в камере, куда меня перевели в последний раз, находилось пять человек. Нас окружали метровые бетонные стены, над головой был куполообразный потолок. В переднюю стену вмонтирована железная дверь с массивными засовами, небольшим закрывающимся окошком, в которое подавали пищу, а поверх окошка было круглое отверстие диаметром 4-5 см (глазок), через которое с наружной стороны охрана вела наблюдение за сидящими в камере. В потолок вмонтирована электрическая лампочка в металлическом колпаке. Свет лампочки освещал половину камеры, и читать в вечернее время при свете лампочки было практически невозможно, да, впрочем, читать все равно ничего не давали.

В стене напротив двери было окно с металлической решеткой, а снаружи над окном свисал козырек, закрывающий дневной свет. Да и само здание располагалось так, что солнечные лучи никогда не попадали в камеру, поэтому даже днем у нас царил мрак. В камере размером восемь квадратных метров уместилось пять коек, вмонтированных в бетонный пол, и маленький стол из двух досок. В углу стояла зловонная бочка (параша), которую ежедневно в 5 часов утра выносили в туалет и выливали из нее содержимое. Постельные принадлежности состояли из ватного матраса, байкового одеяла, ватной подушки и одной простыни неопределенного цвета. Простыни меняли в десять дней один раз. Тогда же водили в баню, расположенную на территории тюрьмы.

Все мы пятеро были подследственными, всех нас обвиняли в каких-то вредных взглядах. На допросы возили в закрытой машине ночью, обратно в тюрьму привозили утром. Днем спать не давали. Допросы вели обычно два следователя, а когда применяли физическую силу, то один следователь уходил из кабинета, чтобы не было свидетелей. Как я уже писал, мне фабриковал дело следователь Гурьянов из в/ч 25084 МГБ. Допросы и издевательства продолжались два месяца.

Трудно было в застенках противостоять насилию, и, чтобы сохранить жизнь, я решил подписывать все, что напишет следователь. Связи с волей не было, одиночество и тюремные стены сыграли свою роль, и я стал ощущать себя настоящей жертвой МГБ. В камере мы обменивались советами, как нужно держаться на следствии, а затем и на суде. Изучали японский язык. Стали интересоваться деятельностью тюремной администрации. Подсчитывали, сколько прибывало в тюрьму и сколько уходило на этап. А отправлялось в лагеря более трех тысяч человек ежемесячно. Одно было утешение — получение от жены продуктовой передачи. День получения передачи считался праздником. Содержимое делили на всех, в том числе и на японцев, — в камере все равны. Япошки были признательны за нашу помощь и за все благодарили. Как хотелось бы встретить тех двух японцев, однокамерников 1950 года, а ведь их судили и дали по 25 лет лишения свободы.

Так шли дни серой жизни, похожие друг на друга. Два месяца в застенках, и никаких сведений о жене. Что сделали с ней органы госбезопасности? И только получение от нее передач давало мне основание пока верить, что она жива.

И вот состряпано дело, и меня ждет суд, не просто суд, а военный трибунал — Тройка. Вот он, суд

советский: на суде — никого, тайный суд. Один запуганный свидетель (жену, как выяснилось потом, тоже хотели сделать свидетелем). Вот и все. Всего полчаса, и путь к свободе отрезан на десять лет (не считая тяжелых последствий), что я и предполагал.

Опять тюрьма, но теперь другая камера, для осужденных. Там уже находился Анатолий Боев — ему дали 10 лет, и еще несколько человек — они получили тоже по 10 лет. На другой день судили Толика Емшанова — 10 лет. В этой камере я встретил человека, которому удалось установить нелегальную связь с волей, — капитана дальнего плавания Позднякова, осужденного тоже на 10 лет.

Всем осужденным разрешалось по одному свиданию с родственниками. Свидание проходило у главных ворот тюрьмы в специальной комнате, перегороженной капитальной стеной. В стене было окно без стекла, с двух сторон огороженное металлическими решетками. Решетки были очень мелкими и располагались на расстоянии полуметра друг от друга, так что через них едва различались черты лица, но слышимость была хорошая. В той половине комнаты, где находился заключенный, пришедший на свидание, стоял надзиратель, но время от времени он выходил — думаю, тем самым он проявлял какую-то жалость. В отсутствие надзирателя можно было говорить что угодно. Примерно дня через два-три, как мне вынесли приговор, я сумел сообщить о себе своей жене. К тому времени я уже познакомился с Поздняковым. Ему дали разрешение на свидание, а я подготовил записку жене, где сообщил, как можно мне написать, используя обычную газету, и объяснил на примере, как это делается. Отдал Позднякову, и ему благополучно удалось передать записку своей жене, а она отдала моей. Сомнений не было, что код стал известен на воле, так как уже на второй день я получил передачу и

краткое сообщение. Это придало мне силы, и я окончательно решил для себя, что в любых сложных ситуациях есть выход и его нужно всегда искать. Таким кодом мне приходилось пользоваться неоднократно, затем появился другой канал связи. Разница была только в том, что код Позднякова действовал в оба направления, по другим каналам связь шла только в тюрьму.

Прошло уже много времени, и все же, если кто-нибудь, прочитав мои воспоминания, поймет, как это делалось, может быть, когда-нибудь воспользуется этим способом и скажет спасибо. Вначале на бумаге составляешь нужный текст, желательно как можно короче, затем берешь обыкновенную газету и, начиная с первой страницы, свою информацию помечаешь в газете, читая ее по порядку. Найдя в газете букву, с которой начинается свой текст, под ней иголкой делаешь прокол, и так дальше, пока не подберешь весь текст. Когда все готово, в эту газету завертываешь что-нибудь из продуктов и вместе с передачей относишь в тюрьму. В тюрьме все это отдают в камеру, здесь не моргай — продукты нужно забрать, а в другую газету, со своим, заранее приготовленным, текстом, завернуть посуду и передать дежурному, а он отдаст сверток тому, кто приносил передачу. А уже дома, держа газету на свету и читая по буквам, помеченным дырочками, можно узнать все, что хотели сообщить. Таким образом, нелегальная связь была налажена. Порой газеты не пропускали в камеру, но на воле сразу узнавали об этом, и сообщения шли по другим каналам. Однажды после очередной нелегальной передачи записки произошло неожиданное, которому трудно было поверить.

В тюрьме все имеет значение: и стук коридорных дверей, и сколько пар ног прошло, их тяжесть, и как долго открыта коридорная дверь, и сколько раз



поворачивается ключ в замке — все это нужно распознавать на слух. По звуку ключа в замке знали, кто заступил на дежурство, по топоту ног определяли время суток — в общем, каждое наблюдение потом выливалось в определение действий тюремной администрации.

Охрана тюрьмы рьяно исполняла свои обязанности и не давала нам никакой слабину. Питание было плохое. Утром ложка сахара, вернее, мерка в 10 граммов, и то сахар мокрый, в обед баланда и кирзовая каша, вечером тоже баланда. Сахар обычно раздавал старшина, и нам стало известно, что он же исполнял смертные приговоры. Мы забастовали и потребовали, чтобы его заменили. Позже сахар стали выдавать дежурные по этажу.

Охранники были преданы своему делу и долгу. И все же среди них мы обратили внимание на одного, пожилого. Он показался нам вроде бы не таким, как все. На его дежурстве по нашему этажу нам удалось кое-что выяснить: сколько арестантов находится в тюрьме, ежедневное количество прибывающих в тюрьму и убывающих на этап — как политических, так и уголовников. Его данные подтвердили наши догадки и расчеты, расхождений почти не было. Из коротких разговоров с ним удалось выяснить, что он болен, у него большая семья и живут они очень бедно. Мы решили давать ему что-нибудь из своих продовольственных передач, и он стал принимать. После нескольких дежурств этого охранника мы сблизились с ним и уже от него узнавали, какие дела в городе. Он рассказывал, что идут аресты, что среди работников МВД какое-то замешательство, тюрьма забита заключенными, лагеря переполнены, а аресты продолжаются. Он говорил, как нужно вести себя на следствии и на суде, но это нам было уже не впрок.

Обычно, когда приносили передачу, дежурный подходил к окошку камеры и спрашивал, кто ожидает передачу; при этом он называл первую букву фамилии, кому была передача, а тот, кто ждал, добавлял остальные буквы своей фамилии, и, если все сходилось, передачу отдавали тому, кому она адресована. Теперь, при дежурстве нашего старичка, передачи давали нам по неписаному закону. Кому приходила передача, того вызывали в коридор и там ее отдавали; взамен мы давали дежурному что-нибудь из продуктов.

И вот тот случай, о котором я хотел упомянуть. Это произошло в один из майских дней. Мне принесла жена передачу. Дежурил наш знакомый, он вызвал меня в коридор и стал отдавать продукты. Передача была солидная, кроме всего, в ней было две больших копченых атлантических селедки. Я предлагал ему многое, но он сказал, что ему хочется соленого. Я отдал ему одну селедку, а с остальными продуктами он отвел меня в камеру. Об этом я рассказал Боеву, он был старше меня и опытнее и сказал, что с таким делом нужно быть осторожнее. И мы тут же сели поглощать принесенное. Минут через десять открылось окошко камеры, и наш охранник назвал мою фамилию. Сказал: «На выход». Все были в недоумении, гадали, что же случилось. В растерянности был и я. Но все разъяснилось, как только я подошел к столику дежурного. Он был один, на столе стоял его скромный обед, и здесь же лежала подаренная мною разрезанная селедка, а из ее внутренностей торчал какой-то предмет, похожий на бумажный тонкий карандаш. Это была записка. Дежурный сказал: «Бери и читай». Записка была от жены, она писала, что ее запугивают органы МГБ в/ч 25084, ее допрашивают, сказали, что я враг народа, и еще многое другое. Затем дежурный зажег спичку, и записку мы сожгли. Я вернулся в камеру, обо всем рассказал. С этого дня у нас

установились тесные связи с охранником, а жена, узнав об этом, передачи носила в те дни, когда дежурил наш человек.

Так записка в животе селедки и знакомство с дежурным охранником поддерживали желание жить и не сдаваться, мечты о том, что наступит время, и все прояснится, что все же восторжествует правда в нашем обществе.

## **Глава 3**

### **Камера смерти**

В далеком туманном детстве, которого и не было, я, будучи в ссылке с отцом в 1937 году, слышал разные истории от ссыльных о тюрьмах и камерах смерти — тех камерах, в которых находились люди, приговоренные к расстрелу без суда и следствия.

Через камеры смерти прошли многие видные советские полководцы, ученые, врачи, простые люди. И вот, находясь в тюрьме Владивостока, я сам лично убедился в существовании камер смерти. А случилось это так.

Ожидая утверждения приговора, замученный допросами и побоями, я решил все подробно написать жене, но не по коду, а открытым текстом на бумаге. Шансов, что моя писанина попадет жене, было мало, но если ее перехватит охрана, то пусть и они знают, что творится в стенах их тюрьмы и в следственных органах. Я отлично сознавал, что, попадись мое письмо охране тюрьмы, не избежать мне наказания, но я был готов ко всему.

Долго не приходилось обдумывать, как выбросить писанину за тюремную стену, но, как позже выяснилось, от места, откуда я выбросил сверток, до дороги, где могли поднять его люди, пришедшие с передачами, было более ста пятидесяти метров. На такое расстояние бросить бумажный сверток, хотя и с высоты, почти невозможно, и вся затея с самого начала была обречена на провал, но, как говорится, риск — благородное дело. Все же опишу, как это произошло. Наша камера находилась на четвертом этаже, в углу, ближе к тюремной стене. Перед нашей камерой, закрытой металлической дверью, был еще металлический

решетчатый тамбур, тоже с металлической дверью, закрывающейся на замок. Дверь тамбура выходила в общий коридор, в котором было огромное окно с крупной решеткой. Через это окно видно было тюремную стену, вахту и людей, пришедших с передачами. Почти что мимо этого окна мы проходили ежедневно, когда нас водили в туалет. Как выбросить писанину, ведь дежурный идет рядом? Но план разработан уже давно, нужно рисковать.

Когда выводили в туалет, то дверь в камеру оставляли открытой, а закрывали только дверь тамбура. В тот день, когда мы решили выбросить сверток, дежурил более терпимый охранник. В 16 часов он открыл дверь нашей камеры и сказал, чтобы мы выходили на оправку. Выходя, мы закрыли дверь камеры, и сработал автоматический замок, а когда все вышли в коридор, дежурный закрыл дверь тамбура. Пробыв в туалете около десяти минут, как обычно, пошли в свою камеру; я шел последним. Дежурный открыл дверь тамбура и сказал, чтобы мы заходили в камеру. Кто шел первым, закричал, что дверь в камеру закрыта. Дежурный пошел к двери, все заключенные столпились у него на пути, загораживая дорогу и тем самым выигрывая время. Тогда я двумя или тремя крупными шагами приблизился к коридорному окну и что было сил бросил свою писанину через решетку, в надежде на то, что она долетит до дороги, и быстро вернулся в тамбур, где все стояли скопом. Дежурный уже открыл дверь камеры, и мы зашли в нее. Анатолий Боев спросил, видел ли я, что моя писанина перелетела через стену. Этого сказать я не мог, потому что, бросив ее, я мгновенно отошел от окна. Несколько минут мы молчали, мысленно измеряя расстояние от окна до дороги, и пришли к мнению, что это провал — расстояние слишком большое. Мое послание упало около стены со стороны тюремного корпуса, на

запретную полосу. Там его охрана подобрала и передала начальнику тюрьмы. Остаток дня прошел в напряжении, а ночью мне приснился сон, будто в карман моей флотской шинели попал мышонок.

Утром следующего дня, примерно около 14 часов, меня вызвали к начальнику тюрьмы. Все в камере сразу поняли, что наша затея провалилась; это понимал и я. Меня завели в кабинет. За столом сидел начальник тюрьмы, самодовольный и радостный, глаза его горели, он торжествовал. От его стола до двери, где я стоял, было метра четыре или пять, и среди бумаг, лежавших на столе, я увидел серые листы своей писанины.

Начальник тюрьмы взял их в руки и показал мне, а затем спросил, мои или нет. Я ответил, что мои.

Я гордился тем, что мы еще не сломлены совсем, что можем бороться в тюремных условиях. Услышав мой ответ, начальник тюрьмы вызвал к себе какого-то офицера и сказал: «Этого моряка посадить на пять суток *туда*». Вот куда «туда», я не знал, но понял, что куда-то далеко. Мы спуускались по лестнице на нижние этажи, перед нами открывались и закрывались железные двери, а затем стали спускаться еще куда-то, и я догадался, что это и есть «туда». Это была подземная часть здания. Узкий коридор, освещенный электрическим тусклым светом, по одну сторону — камеры. Открыли одну дверь и втолкнули меня внутрь. Я понял, что это и есть камера смерти. Вначале меня охватил ужас. Первое, на что я обратил внимание, — это стены, на которых было выцарапано много фамилий приговоренных к смерти. В одном месте прочитал: «Сижу последний день, завтра расстрел» — и подпись. Я не сомневался уже, что это была одна из камер смерти, где приводили приговор в исполнение и куда порой помещали непокорных — для усмирения. Эти камеры два-три раза в месяц белили, закрашивая надписи на стенах, но, несмотря на тщательную

побелку, слова можно было прочесть. Камера — около 5 кв. м, бетонный пол, у одной стены бетонное возвышение сантиметров на десять — это кровать, здесь же забетонировано огромное железное кольцо, к которому приковывали заключенных. Следы цепей. Судя по всему, в этой камере незадолго до моего прихода что-то произошло. При тщательном осмотре стен я обнаружил кровь. Бетонный пол пропитан человеческой кровью. Запах в камере был мне знаком с войны — он стоял среди убитых.

Вещей со мной не было. Постели никакой. Тут же бочка (параша). В сутки 200 граммов хлеба плюс кружка воды, тоже 200 граммов. В таких условиях я провел двое суток и решил объявить голодовку. Бумагу мне не дали, чтобы письменно заявить об объявлении голодовки, но и положенные 200 граммов хлеба тоже не дали. На исходе были третьи сутки. Я твердо решил голодовать до конца и готов был умереть в этой камере.

Обычно смена дежурств в тюрьме происходила в 18 часов; примерно в это же время открылся «волчок» двери моей камеры, и я увидел знакомого охранника. С ним был еще один. Затем «волчок» закрылся, а я стал думать, что бы это означало. Вскоре «волчок» открылся снова, и знакомый охранник мне сказал, что я зря голодую, этим ничего не добьюсь и голодовка только нанесет вред моему здоровью. Он принес хлеба и каши, и я не мог не согласиться, что, действительно, голодовка — это подрыв моих моральных и физических сил. На другой день он еще раз подкормил меня, и мне оставалось отсидеть в камере смерти немногим более суток. Прошло и это время, и спустя ровно пять суток меня вернули в общую камеру.

Здесь ребята подкормили и рассказали, что они знали, где я находился. Так вот я и побывал в камере смерти. Даже сейчас, когда пишу эти строки,

содрогаюсь от страха, который пережил тогда. А потом пошли обычные тюремные дни в ожидании приговора.

И вот приговор утвержден, и вскоре нас всех отправили на этап, в пересыльный лагерь на Второй речке. Жена моя знала день, когда нас этапируют, и пришла к тюрьме. Здесь я ее увидел впервые после моего ареста. Разговаривать не разрешали, всех заключенных посадили на корточки и долго так держали. Гражданских близко не подпускали, они стояли метрах в пятидесяти от нас. Я крикнул жене, что увозят нас на Вторую речку, а потом неизвестно, куда дальнейший путь.

Вторая речка — пересыльная тюрьма, поставщик рабочей силы Дальстрою МВД. Здесь я пробыл около месяца, а затем нас отправили в путь-дорогу.



## Глава 4

### Мыс Лазарева

В один из последних дней августа 1950 года под усиленной охраной с собаками нас повели на товарную станцию Второй речки, там загрузили в вонючие товарные вагоны. Постели не было, только двухэтажные нары из досок; здесь же, в вагоне, и туалет, а вернее, лоток в приоткрытой двери. Еще стояла жара, а пить не давали. Питания в первый день тоже не было. Вот так и повез поезд нас в неизвестность, и только к концу третьих суток мы стали смутно представлять себе, куда нас везут. Но все же стало известно, что ждет нас непроходимая тайга. После поездки в товарняке в городе Софийске Нижне-Амурской области перегрузили нас в машины — и дальше в путь. В дороге узнали, что везут нас строить туннель под Татарским проливом. В машинах мы сидели по тридцать человек, ехали более суток. И вот конечный пункт назначения — мыс Лазарева. Это самая восточная точка нашей страны. Расстояние между мысом и островом Сахалин через Татарский пролив — восемь километров. Еще до революции через эти места бежали политические, здесь и родилась песня «Бежал бродяга с Сахалина медвежьей узкою тропой». Туннеля мы не увидели. Работы по прокладке туннеля были засекречены и назывались «стройка 500».

Итак, мыс Лазарева, стройка 500. Лагерь только что выстроен. Бараки рублены из неошкуренных бревен, с двухэтажными нарами из жердей. На работу повели на второй день — прокладывать в непроходимой тайге автодорогу. Но это не было похоже на автодорогу, а скорее на железнодорожное полотно. Инструмент — пила ручная, лопаты и лом. Нужно было не только

пилить лес, но и корчевать пни, снимать растительный слой земли и делать насыпь с кюветами. Гоняли на этот участок по восемьсот человек. Путь был длинный, почти семь километров в один конец, пешком туда и обратно.

В день делали по 800 метров готового железнодорожного полотна. Техника — арестантская тачка. Прошло уже много времени, а мыться было негде, к тому же пришла зима. Развелись вши. Я носил тельняшку вместо нижней рубашки, так в этой тельняшке развелось столько вшей, что страшно даже вспоминать. Вши не давали спокойно спать, а утром нужно было идти на работу. Прошел слух, что дорога, которую мы строим, пойдет к туннелю, а сколько нужно построить метров, никто не знал. Работы велись ускоренным темпом.

В один из воскресных дней мы отдыхали в лагере. На территории лагеря горел костер, и я решил избавиться от вшей: снял тельняшку и сжег ее, но вшей почти не убавилось, они ползали по верхней одежде. Не знаю, связано это со вшами или нет, но в лагере вспыхнула эпидемия. Многие болели. Сильно больных на работу не гоняли, они оставались в зоне. Оставшиеся в зоне сжигали на костре вшей, тряся бельем над огнем. В лагере были эстонцы, латыши, татары, русские, узбеки, грузины и заключенные других национальностей. Все были слабые и изможденные, русские оказались более выносливые. О питании говорить не приходится, кормили плохо, об этом свидетельствует лагерная пословица: «Стройка 500, баланды — 500, хлеба — 500»; спрашивали, где стройка «кило двести». Да, действительно, всего давали по 500 граммов, и стройка была тоже под номером 500.

За работой день за днем проходили месяцы лишения не только свободы, но и всех человеческих прав. Я заболел цингой, отнялась правая нога, сочилась кровь из полости рта. Мое положение оказалось

критическим, но о черном дне я всегда помнил. У меня в тайнике (в книжке) хранилось 100 рублей, отдал эти деньги врачу, он сделал мне в течение десяти дней пять или шесть уколов аскорбиновой кислоты, и я стал выкарабкиваться из тяжелого состояния.

Кому это расскажешь: вот лежишь больной, никому не нужный и никто тебе не может помочь.

Да еще знаешь, что твои родные подвергаются гонению за тебя. Думаешь так, и жизнь становится бессмысленной. Такое ужасное состояние охватывало многих. Появились случаи самоповешения.

После излечения я ходил на работу в лесоцех, так как со своей больной ногой не мог трудиться на строительстве дороги. В цехе таскал доски, возил в тачке опилки. Цех изготовлял столярные изделия для лагеря и для стройки МПС (Министерства путей сообщения).

Первоначально переписки не было, по всей вероятности, наши письма сжигала администрация, но затем вроде бы разрешили два письма в месяц. Здесь я вспомнил про код и решил написать жене, где я нахожусь и как можно доехать до мыса Лазарева. Письма проверялись, цензором был оперуполномоченный лагеря — Надейкин, но наш код расшифровке не подлежал и даже не вызывал подозрения у лагерной администрации. Потом, спустя пару месяцев, я убедился в том, что жена все знает точно обо мне. В письмах мы, заключенные, писали, что живем хорошо, кормят отлично, относятся к нам хорошо. А что поделаешь? Напиши правду — лишат переписки. Я уже несколько раз получал от жены денежные переводы. За деньги подкупал себе питание: хлеб, сахар, рыбные консервы. Купил кое-что из нижнего белья. На работе постепенно избавлялся от вшей.

Было лето 1951 года. Стало известно, что намечается большой объем работ по строительству дамбы и железной дороги через Татарский пролив. Но как это будет все осуществляться, никто не знал. Не так уж много прошло времени, как мы на мысе Лазарева, а сколько уже событий: случаи самоповешения, воры зарубили топором экономиста-заключенного, двух зарезали, подкололи уже несколько человек, а в один из дней воры совершили побег.

Много я слышал о побегах революционеров, каторжников, а тут, казалось, и бежать некуда: все перекрыто, кругом вода и засекреченные посты, и вдруг — побег. Честно говоря, у меня даже стало легко на душе: все же есть сильные люди, способные в любой ситуации находить смелые решения.

Вот о них несколько слов.

## Глава 5

### Побег

Мне приходилось слышать еще в детстве о побегах заключенных из тюрем и лагерей. В нашем поселке Кивдо-Копи Амурской области еще до войны были угольные шахты. На одной из шахт работали заключенные. В нашем бараке по соседству с нами жила семья Петренко Петра Петровича. У него было много дочерей, и старшая дружила с охранником лагеря. Звали его Гончаров Федор, вот он и рассказал, что из лагеря бежали три человека. И как видно из его рассказа, он не проявлял рвения к их поиску. Слышал я о побегах и находясь в тюрьме Владивостока. Бежали отовсюду, или пытались бежать. Насколько мне известно, политические редко рисковали, но они, как могли, помогали тем, кто бежал. Практически убежать было невозможно. Вся тайга была усеяна лагерями и секретными постами. И куда уйдешь без питания?

Уже в 1950 году я слышал о побегах из других лагерей стройки 500, но финал был один — опять лагерь. Через мыс Лазарева проходит нефтепровод Оха (Сахалин) — Софийск; это те места, которые описаны в романе В. Н. Ажаева «Далеко от Москвы». В поселке Лазарева, знаменитом первым в стране нефтепроводом, выстроенным заключенными еще до войны, жил один человек по имени Егор. Он не работал нигде, а жил на средства, которые получал от МВД за поимку беглецов. За одного зэка платили «прилично», как выражался Егор. Денег — пять тысяч, спирт, белая мука, мясо, чай. И Егор оправдывал такие подачки, служил усердно. После любого побега приходили сотрудники МВД к Егору и давали задание: «Найди!»

Егор брал винтовку, приличный запас боеприпасов, сухой паек и — вслед за беглецами. Шел иной раз по месяцу и настигал свою жертву. Беглеца он не приводил в лагерь, уничтожал на месте, а в лагерь приносил кисти рук, которые отрубал у своей жертвы. Лагерная администрация делала с них отпечатки пальцев, сличала с отпечатками пальцев на формуляре, и, если все сходилось, Егор получал свое. Говорят, что он даже имел за свои гнусные дела орден нашей Родины. В поселке его ненавидели, но сделать с ним ничего не могли, так как у него была тайная охрана.

Вели нас однажды с работы. Один охранник сказал нам: «Вон тот Егор, от которого еще никто не уходил».

Стояла уже глубокая осень, из нашей зоны видно было, что на берегу появился лед. Рыбаки готовились к зиме, убирали свои плавсредства на зимнюю стоянку, но много лодок было еще на воде. Проснулся лагерь в этот день, как всегда. К 7 часам утра всех выгнали к вахте, чтобы вести на работу. В бригаде, в которой работал я, в основном были политические. Пришли мы на объект, минут через двадцать явился из лагеря дежурный, нас вновь построили, считали несколько раз, а затем повели в лагерь. Здесь мы узнали, что из нашего лагеря убежали три человека. Следов побега никаких не было. Когда бежали, ночью или вечером, неизвестно. Ко всему этому утром, когда мы встали, лежал снег; следов никаких, даже опытные собаки ничего обнаружить не смогли. Побег был настолько умный и дерзкий, что как это произошло, мы узнали лишь после того, как беглецов поймали.

А все произошло так. Работая длительное время на объекте, уголовники прятали там в укромных местах гражданскую одежду, а как накопили все необходимое — бежали. В наш лагерь регулярно один раз в неделю заходила ассенизационная машина («говновозка»). Шофер был из числа заключенных, но бесконвойный, у

него кончался срок. Эта «говновозка» в назначенный день приезжала в зону после 23 часов. Пришла она и в тот день в положенное время, но высосала не все содержимое в уборных — осталось много места в бочке, вот туда, в эту жижу, и залезли все трое: они стояли в говне по грудь.

«Говновозку» остановили на проходной, открыли люк, посмотрели, что там жидкое содержимое, и выпустили за пределы лагеря. Машина медленно и благополучно дошла до объекта, где хранилась одежда. Беглецы вылезли, обмылись в ледяной воде, переоделись, сели в лодку и под веслами ушли через Татарский пролив на Сахалин. Тем временем поиски велись здесь, на мысе, и в прилегающих районах. Шли пятые сутки, все это время мы сидели в лагере, на работу нас не водили. Беглецы, добравшись до Сахалина, скрывались в лесу, пока не кончились запасы продовольствия. Голод заставил их зайти в один из поселков. Повсюду было объявлено о побеге заключенных; знали об этом и на Сахалине. Зайдя в одну из избышек, беглецы попросили дать им поесть. Хозяин с подозрением отнесся к незнакомым людям и незаметно отправил своего сына в поселок, где есть сельсовет, чтобы сообщить в МВД, что, не исключена возможность, это те, которых разыскивают. Он накормил гостей и уложил спать, пообещав помочь добраться до Александровска. Рано утром, в 5 часов, разбудил их, те вышли на улицу и увидели, что избышка окружена чукчами и нанайцами. Бежать было некуда. Один из беглецов хотел бежать, ему подстрелили ноги. Затем всех связали и увезли в то село, где есть связь с МВД. И как только в МВД получили сообщение о поимке, выехали туда.

Мы увидели их здесь, уже у зоны. На одной лошади ехал охранник, на другой — привязанный к ней подстреленный беглец, а два других, с завязанными

назад руками, были привязаны к хвосту второй лошади. За ними ехали еще два конвоира. Вот так закончился этот побег.

С этого момента режим в лагере еще более ужесточился.



## Глава 6

### Встреча

Прошел год, каждый ушедший день я отмечал в своем календаре. Еще оставалось более трех тысяч томительных дней до освобождения, и о свободе оставалось только мечтать. За это время не было случая, чтобы кого-нибудь помиловали, хотя многие писали в Президиум Верховного Совета СССР. Бывали и радостные моменты, и, кажется, один из дней прошедшего года был праздничным для всего лагеря.

Как обычно, придя вечером с работы, я умылся и собрался идти на ужин, как вдруг услышал свою фамилию: меня кто-то искал. Ко мне подошел один бесконвойный и передал записку. Когда я ее развернул, то увидел знакомый почерк. У меня затряслись руки и ноги, и я никак не мог сообразить, где та, что написала записку. Собравшись с силами, я прочел: «Сашок, я приехала к тебе, нахожусь на вахте. *Твоя Аня*». Да, это была записка от жены. Даже не верилось, что действительно жена приехала, но это было так. Она была рядом со мной, только мы находились по разные стороны колючей проволоки.

Мои обращения к администрации о разрешении свидания ни к чему не привели. Мне не дали разрешения встретиться с женой. На третий день, подкупив охрану, мы встретились с ней в рабочей зоне. Свидание длилось около часа. Жену уже искали по поселку, чтобы вывезти ее с мыса, под угрозой ареста. И вот, после проведенного вместе часа, мы вновь расстались, уже на долгие годы.

Слух о приезде моей жены распространился по всему лагерю. Ко мне приходили и спрашивали, действительно ко мне приезжала жена или нет, и,

узнав, что моя жена была здесь, восхищались ее мужеством, тем, как она отважилась приехать в эти засекреченные места. Да, она была первой женщиной, которая приехала на мыс Лазарева к своему мужу. Меня администрация допрашивала, как смогла найти меня жена. Конечно, секретов своих я не выдал.

Ко мне администрация стала относиться с подозрением, даже некоторое время меня не выпускали на работу: держали в лагере под наблюдением. Боялись, что я смогу совершить побег. Несколько раз обыскивали, но потом убедились, что это не входит в мои намерения, и стали водить на работу.

И вновь пошли серые будни лагерной жизни. После отъезда жены через некоторое время стали поговаривать, что всех политических перевезут на Сахалин. Вскоре это подтвердилось.

Заканчивая свои воспоминания о мысе Лазарева, хочу еще раз подтвердить, что здесь находился один из лагерей под номером п/я 241/15, который входил в стройку 500. Стройка была секретная. Управление стройки 500 МВД находилось в городе Софийске. Начальником строительства был подполковник Арайс. Начальником лагеря п/я 241/15 был майор Зарубин, оперуполномоченным — старший лейтенант Надейкин. (Если писать историю Сахалинского туннеля, то мои сведения могут пригодиться.) В лагере были уголовники и политические. Среди политических в этом лагере были мои друзья: Боев Анатолий Яковлевич и Емшанов Анатолий.

В архивах МВД по стройке 500 есть книги зачетов; эти книги составлялись ежеквартально, по ним можно точно узнать, сколько было политических и сколько уголовников. Для составления книг зачетов привлекали и заключенных, у кого был хороший почерк. Я несколько раз участвовал в составлении этих книг. Что они представляют собой, я помню до сегодняшнего дня.

Размером примерно 30 х 40 см, количество листов — примерно около сотни.

## Глава 7

### Сахалин

Итак, мы на Сахалине, недалеко от поселка Погиби Рыбновского района. Здесь действительно уже были начаты работы по возведению дамбы. Предполагалось соединить дамбой поселок Погиби и мыс Невельского (расстояние около сорока километров), а по суше Погиби соединить железной дорогой с городом Александровском; где-то здесь и должна была пройти железная дорога из туннеля. Зима выдалась суровая, работы велись в две смены, на некоторых участках даже в три.

Новое место, новые заботы, а тут еще я заболел желтухой. Но меня поддерживало морально то, что жена благополучно доехала домой, — я получал регулярно от нее письма. Она поддерживала мое существование и материально. Все это было главным фактором в моей жизни, и я думал о будущем.

Многие из охраны лагеря на мысе Лазарева оказались на Сахалине. В коротких перерывах мы вспоминали прошлую свою жизнь и мечтали о будущем. Воспоминания о прошлом и детстве не скрашивали нашу участь, потому что кошмарные дни пребывания в лагерях заслоняли все хорошее и не давали никакой надежды на будущее.

Об отношении администрации к заключенным можно написать много, и все только плохое, за исключением отдельных случаев.

Администрация боялась заключенных, не только живых — мертвых еще больше. Очередные похороны на Сахалине и заставили меня вспомнить всю процедуру захоронения заключенных.

С похоронами людей мне пришлось иметь дело еще в детстве. Я не хоронил своих родственников, но чужих, совсем незнакомых людей я перехоронил много. Хорошо помню 1938 год. Мне было двенадцать лет, жили мы в поселке. Отец работал в поселковой больнице, ему дали лошадь. Поселок наш был большой, работали две шахты, лесозавод, водолечебница, электростанция и ряд других предприятий. Школ было две. Учился и я, в большой двухэтажной школе. Дисциплина в школе была отличной. Учителей уважали, боялись директора. На всю школу была одна уборщица; все она успевала делать: подавала звонки, мыла полы, дежурила в раздевалке. Зимой я учился. Летом работы дома было много, и ко всему этому отец брал меня с собой на работу, когда ему одному справиться было не под силу. А такая тяжелая работа собиралась, как правило, к выходному дню.

Насколько я помню, в то время почему-то свозили из других мест в нашу больницу людей в тяжелом состоянии, тех, кого избили на допросах в НКВД, и, как правило, такие больные умирали, а родственникам об их смерти не сообщали. Вот этих умерших и приходилось мне с отцом хоронить. Отец с вечера предупреждал меня, чтобы я на следующий день к обеду приходил в больницу, а к этому времени могила, которую он рыл один, была уже готова. Во второй половине дня мы запрягали лошадь, заходили в морг, брали мертвого, кого нужно было хоронить (его помечали белой тряпичкой, привязанной к ноге), клали в гроб, забивали крышку, ставили гроб на телегу и везли на кладбище. Там опускали гроб по доскам в могилу и засыпали землей. Ни крестов, ни пометок не ставили, и только бугорок земли напоминал какое-то время, что там есть захоронение.

Таким образом хоронили мы много, в неделю по три-четыре человека, и так все лето. Заставляли хоронить в

разных местах кладбища. Затем отец уволился из больницы и перешел работать на электростанцию, а мертвецы еще долго снились мне.

Вспомнил я об этом потому, что те похороны были связаны с репрессиями людей в далекое довоенное время, а теперь, когда сам оказался репрессирован, я узнал, как хоронят в лагерях.

Увидел похороны заключенных еще на мысе Лазарева. Жили в тяжелых условиях, и в первый же год существования лагеря стали умирать заключенные. Умершего доставляли на вахту, там его врач вскрывал, определял причину смерти, затем умершего завозили обратно в зону и клали в подготовленный гроб, рядом укладывали крышку, потом опять подвозили к вахте. В это время выходил дежурный вахтер, подходил к мертвому, ударял его со всего маху тяжелым молотком по голове, а затем длинным металлическим штырем прокалывал в двух или трех местах живот, и только после того грузчик в присутствии этого вахтера и еще двух вахтеров забивал гроб крышкой и увозил к месту захоронения. Хоронили где-то под горой, точно не знаю, да это было и секретом МВД. Знаю, что умершему в гроб клали фанерную бирку, где указывались фамилия, имя, отчество, год рождения, статья и срок по приговору. Родственникам об умерших не сообщали. Так вот и исчезали люди с земли, и никто не знал куда. Один заключенный, бесконвойный, рассказывал мне, что некоторых умерших сжигали вместе с гробами.

Как только нас, в основном политических, перебросили на Сахалин, мы сразу приступили к работе. Часть бригад направили рубить ряжи — опоры для морской дамбы, а две бригады направили на отсыпку железнодорожного полотна. Примерно нужно было отсыпать двести километров. Поэтому работы, как на воде, так и на трассе, велись в две смены. Нам было известно, что где-то рядом идет строительство

подводного туннеля под Татарским проливом, и хотя строительство ведет МПС, но и там есть заключенные. Будучи еще на мысе Лазарева, мы строили на горе какую-то большую площадку и начали копать шурф, но потом на том объекте появились вольнонаемные, и мы больше там не работали. На своей работе по отсыпке трассы наша бригада работала тоже в две смены.

Отсыпано было около двадцати километров или больше, трасса подошла к небольшой речушке шириной метров двадцать. Через нее был проложен ветхий мост. Берега речушки покрывались уже льдом, в речушке было много рыбы. Обедали мы всегда у костра. Пользовались дарами речки, это была для нас помощь. В работе стали появляться перерывы, так как экскаватор, который грузил грунт в машины, находился уже далековато от бригады. Дали команду перегонять экскаватор в песчаный карьер на противоположный берег речушки. Весил он 20 тонн, а имеющийся мост едва выдерживал пустые грузовые машины. Нам приказали при любых обстоятельствах перегнать экскаватор через реку. Брода через речку нет, глубина речки — три метра.

Трассовое начальство приказало укрепить мост дополнительными сваями. И вот развели по кругу несколько костров, в центре — свободное пространство, и мы стали нырять в бурлящую, холодную воду, разумеется, в нижнем белье и, пробыв в воде пять — семь минут, выскакивали на берег и между костров обогревались, затем опять в воду. Таким образом в течение дня мы ныряли до тридцати раз. И так двое суток. Мост укрепили, для пробы пустили скрепер в 15 тонн весом — вроде бы мост не дрогнул. Затем пошел экскаватор. Дойдя до половины, он заглох, мост затрещал. Но все обошлось нормально, буксиром оттянули экскаватор, нашли потом причину, почему он заглох, все отремонтировали, и через пару дней он

работал в новом карьере, а речушка уже полностью покрылась льдом. На нашем участке все начальство спешило с этими работами: нам говорили, что мы отстаем от графика работ МПС. Мы знали, что под проливом ведется строительство туннеля. И те же заключенные, что оставались в лагере на мысе, были переброшены на строительство туннеля — это мы узнали уже в феврале 1953 года.

Я лично туннель не видел, но точно знаю, что он есть, кроме того, в самом проливе есть вентиляционный шурф.

Наступил март 1953 года. Работы на этих важных объектах не прекращались. Зима в 1953 году на Сахалине выдалась теплой, потому и наступление весны было заметным. Снег начал таять, на работу стало тяжело ходить в мокрой обуви. Вспыхнула желтуха, прицепилась она и ко мне. Я ослеп. Но моя слепота длилась недолго — все свои сбережения я отдал за лекарство и рыбий жир. Пил рыбий жир — и становился крепче, хотел жить. Желтуха отступила, но прицепилась цинга.

Что происходило за рубежом и в нашей стране, мы не знали. Газет не было, радио тоже. Новости узнавали от вольных на объекте. Исполнилось уже три года моего заточения. Утром 5 марта 1953 года, как обычно, ушли на работу, а в зоне воздвигался большой столб и подвешивали к нему репродуктор. Заключенные поняли, что в стране что-то произошло. Вечером около двух тысяч заключенных нашего лагеря собрались у репродуктора. И здесь мы услышали о смерти И. В. Сталина.

Должен сказать, все стояли не шевелясь и, несмотря на то что мы были лишены свободы, никто не радовался его смерти. Отдельные уголовники стали обсуждать случившееся. Политические молчали, да и что тогда можно было говорить? Ведь еще так недавно



закончилась война, с именем Сталина шли в бой в Великую Отечественную, с его именем закрывали амбразуры вражеских дотов, гибли в партизанских отрядах. Его имя — это имя Родины, так понимали тогда. Знали мы о репрессиях, сами сидели в тюрьмах и лагерях, но мы обвиняли всю нашу систему управления государством и вину за репрессии возлагали не только на одного Сталина, а на все руководство страны — Молотова, Ворошилова, Булганина, Маленкова и др.

О моем отношении к Сталину особый разговор. После его смерти в руководстве лагеря пошло брожение, охрана была растеряна. Вскоре вышел указ об амнистии уголовников, они ликовали, а нас, политических, ждала неопределенность. Ходили слухи, что всех политических должны расстрелять; это и я слышал от охранников. Одним словом, после указа об амнистии остановились жернова крупнейших строек: МПС 508 и МВД 500. Стройки стали быстро сворачиваться; затем, к концу марта, все объекты на Сахалине закрылись, а нас, политических, загрузили в самосвалы и перевезли на мыс Невельского.

Думаю, что нас перевезли на мыс Невельского для того, чтобы не рассекретить стройку 500, которая выполняла работы, связанные со строительством туннеля под проливом.

## **Глава 8**

### **Мыс Невельского**

Мыс Невельского находился южнее мыса Лазарева примерно на пятьдесят — семьдесят километров. Здесь так же, как и на мысе Лазарева, велись работы, связанные со строительством туннеля. Весь участок от города Софийска до мыса Лазарева, Сахалина и мыса Невельского был запретной зоной. Въезд сюда был запрещен. И только окольными путями, в одиночку, без транспорта можно было проникнуть в эти края.

Прибыв в лагерь, мы узнали, что нам придется здесь еще поработать. В лагере находилось несколько сот политических, были и уголовники-рецидивисты. Водили работать на строительство восьмисотметрового причала, начатое еще до нашего приезда. Упорно ползли слухи, что отсюда нам пути нет, здесь мы и должны умереть, построив причал. Переписки не было, вся связь была прервана.

Помню, в один из дней нас завели в небольшой лог между скал, на возвышенных местах установили пулеметы и нацелили на нас. Что хотели с нами сделать, не знаю, но, во всяком случае, нас там держали очень долго, охрана от нас отошла на необычное расстояние. В тот день мы не работали. Может быть, это и была примерка, как нас потом нужно было засыпать после расстрела. Но что-то готовилось против политических.

После этого случая на второй день мы узнали об аресте министра МВД Бери. Лагерная администрация находилась в растерянности, но готова была выполнить приказ по уничтожению политических заключенных. Работы все приостановились, была какая-то неопределенность, но страх, что расстреляют, почему-

то исчез. Мы знали, что нас не освободят, но и Колымы не миновать. Там уже сложили свои головы тысячи и тысячи таких же, как и мы.

Наступил август 1953 года. Стали готовить нас к отправке, но мы не знали куда. Приехала медкомиссия. Отбирали молодых и здоровых. В составе медкомиссии я увидел одного знакомого врача, он был братом Вовки Павлова, с которым я учился в школе еще до войны. Он узнал меня и сказал, что лагерь, в котором мы находимся, закрывают совсем, а нас отправят еще дальше Колымы.

После трехдневной комиссии на рейде мыса Невельского появился грузовой пароход «Феликс Дзержинский». Было известно, что на пароходе уже находилась большая группа заключенных, около двух тысяч человек. Приступили к погрузке. К пароходу водили небольшими группами. Политических было восемьсот человек, это точная цифра.

Нас загрузили в отдельный трюм, без уголовников. И вот мы оказались на пароходе, и нельзя не описать тех событий, что произошли в те дни.

В трюм (твиндек), вмещающий при нормальных условиях сто пятьдесят человек, нас загрузили восемьсот. Несмотря на то что лето было на исходе, стояли жаркие августовские дни, поэтому в переполненном трюме стояла невыносимая жара.

Прошло около двух часов после погрузки, а люди уже начали задыхаться. В этом железном ящике не было вентиляции. Стены покрылись влагой. Единственный люк, связывающий наш трюм с наружным воздухом, наглухо был закрыт. Люди стали падать, пораженные тепловым ударом, а те, которые еще держались, тяжело дышали и покрывались потом, но, несмотря на наши просьбы о помощи, начальство не собиралось принимать меры к разрешению проблемы.

Создалось критическое положение, даже закаленные стали изнемогать. Нужно было во что бы то ни стало рассредоточивать людей, но на это начальство не шло. Выход был один: отказаться от приема пищи и объявить голодовку. Но кто может это организовать?

Вдруг открылся люк, и через отверстие послышалась команда конвоя:

— Принять пищу!

Группа заключенных, собравшихся у трапа люка, среди которых был и я, отказалась от принятия пищи. Люк захлопнулся. Зашумели в трюме, слышны были стуки и на палубе. Происходило что-то непонятное; те, кто находился в трюме, не понимали, что происходит на палубе, и наоборот.

Зная морские международные правила, я решил, что мне нужно возглавить заключенных и вести потом борьбу за осуществление наших требований.

Я сказал, обращаясь ко всем:

— Вот так, братцы, пока на пароходе будет голодовка, пароход не выйдет в море: это закон моря. Нам необходимо официально объявить голодовку. Если этого мы не сделаем сейчас, пароход выйдет в море, и мы задохнемся в трюме.

Со всех сторон послышались возгласы:

— Правильно! Правильно! Мы доверяем тебе возглавить объявление голодовки, а что требуется от нас, мы все сделаем!

С этого момента меня стали почему-то называть «дипломат», а потом присвоили и «фамилию» — Дипломатов. Коллективно мы обсуждали, как нам быть дальше. Я присел на трап, взял бумагу и начал писать выдвигаемые нами требования к администрации.

Это было более тридцати пяти лет назад, а я дословно помню, что писал тогда. Наши законные требования были такие:

*Командованию, осуществляющему  
перевозку политических заключенных  
Органам корабельной медицины  
Капитану парохода «Феликс Дзержинский».*

В твиндек, вмещающий 150 человек, погружено 800. Отсутствует вентиляция, нет холодной воды. Отсутствует вентиляционный туалет, нет места для приема горячей пищи, нет посуды. За три часа пребывания в трюме появились пораженные тепловым ударом, им не оказывается медицинская помощь. Все это противоречит санитарным нормам по перевозке людей. В связи с невыполнением вами нормальных условий мы, все 800 человек, объявляем голодовку и ТРЕБУЕМ:

1. Оказать нуждающимся медицинскую помощь.

2. Рассредоточить из трюма до 500 человек в другие места, вплоть до расселения на верхней палубе. В случае невыполнения наших законных требований в течение двух часов, могут возникнуть тяжелые последствия, в результате которых могут оказаться человеческие жертвы.

От имени восьмисот человек подписалось пятеро, первой стояла моя подпись.

Свои требования мы передали охране и стали ждать ответ. Трюм гудел. Случайно мы обнаружили, что в нескольких метрах от нашего трюма находился еще один трюм с заключенными — уголовниками. По тюремной азбуке мы перестучались с ними. Их было около двух тысяч. Они поняли, что мы объявили голодовку, и готовы были поддержать наши дальнейшие действия.

У нас образовался комитет по координации всех действий. Мы знали, что борьба предстояла тяжелая, но

нас объединяло упорство, сила духа, сплоченность и чувство справедливости. Взяли на вооружение лозунг: «Один за всех и все за одного». Меня избрали председателем комитета.

Среди охраны МВД было много офицеров, от лейтенанта до полковника. После передачи наших требований с нами хотели вести переговоры рядовые охранники. Мы требовали главное руководство, и комитет решил вести переговоры только с теми, кому мы адресовали свои требования. Поэтому мне нужно было готовиться к переговорам и оправдывать данную мне фамилию. Меня поддерживал весь трюм, говорили: «Не сдавайся, дипломат», и мы пока не сдавались. Разработали план дальнейших действий. Оказывали посильную помощь больным, собирали влагу со стен, собранную воду делили также среди больных. С внутренней стороны трюма, у люка, мы выставили своих дежурных, в обязанность которых входило ни под каким предлогом не допускать в трюм нижних чинов. Вахта наша твердо знала, что переговоры я буду вести только с самым большим начальством, поэтому меня не беспокоили по мелким вопросам. А через закрытый люк шли к нам угрозы. Вот в очередной раз открылся люк, и оттуда слышались угрожающие крики, чтобы мы прекратили голодовку, а не то будут пущены в ход сторожевые овчарки. Из этого стало ясно, что наши требования до капитана парохода не доведены. Мы обсуждали теперь дополнительно, как быть с собаками, если их пустят к нам в трюм. Оказалось, что среди заключенных нашлись и усмирители собак. В немецком плену каждый из них, изможденный, голодный и избитый, выдерживал поединок с любой овчаркой, а здесь их было около тридцати; это не так уж и много. Получили подтверждение, что уголовники объявили голодовку, — это нас уже ободряло.

С момента подачи законных требований прошло более трех часов. И вот опять открылся люк, вверху мы увидели усиленную охрану с собаками. По трапу к нам в трюм спускалась представительная комиссия: заместитель начальника всего конвоя, судовой врач, заместитель капитана парохода по политической части и с ними еще свита рангом ниже. В люке торчали дула автоматов и рычали собаки. Руководство представилось, после чего подполковник спросил, где Дипломатов. Заключенные усмехнулись: они знали, что моя фамилия не Дипломатов, эта фамилия выдумана ими же. На вопрос я ответил, что Дипломатов — это я и есть.

Подполковник удивился и спросил:

— А почему ты такой маленький?

Да, я был мал, но в критический момент оказался нужным для восьмисот человек.

Начались переговоры здесь же, в трюме, в присутствии всех. Я понимал, что требование наше нашло адресатов, и по поведению комиссии видно было, что мы выигрывали сражение.

После десятиминутных переговоров подполковник сказал:

— Ну что ж, Дипломатов, пойдем на палубу и будем смотреть место, где можно разместить людей.

У меня возникла мысль: а не хотят ли изолировать меня от всех? Это опасение уловил и комитет, и меня одного не пускали. Тогда руководство согласилось, чтобы со мной пошел еще кто-нибудь. Пошли трое; оставшиеся в трюме заявили, что если с нами что случится или мы не вернемся в трюм, то они будут принимать меры к нашему возвращению.

Мы вышли на палубу, дул легкий ветерок. «Феликс Дзержинский» стоял на якоре; это шли уже четвертые сутки. Устройство торговых судов я знал хорошо, поэтому мне было известно, где можно было бы

разместить людей из трюма. Самым подходящим местом была носовая часть палубы. Определив место расселения, мы все трое спустились в трюм и стали готовить людей к подъему на палубу. Люк открыли через полчаса и предложили подниматься по трапу наверх. Вначале вышли все ослабленные, а затем и желающие, вышел и я. Мы расстелили свои телогрейки и жадно глотали свежий воздух. Оставшимся в трюме подвели вентиляцию.

К вечеру выдали горячую пищу и сухой паек за день голодовки. Мы нормально подкрепились, а пароход продолжал стоять на якоре. А ночью мы услышали команду: «Пошел якорь» — значит, уходим. Вначале мне было непонятно, почему мы пошли ночью. Утром я сообразил, что пароходное начальство не хотело проходить пролив Лаперуза в светлое время во избежание осложнений с японцами. А вдруг японцы остановили бы пароход и спросили, что за груз в трюме и что за пассажиры? Случись такое, неизвестно, чем могло все кончиться.

Утром мы проходили уже вдоль южной части Сахалина; эти места были мне известны, в этих водах я был несколько раз. Пролив Лаперуза, как я уже сказал, мы прошли ночью.

Днем мы написали записку, кто мы, куда следуем, на каком транспорте, запечатали в стеклянную банку и бросили в море — в надежде, что кто-нибудь ее найдет. О дальнейшей судьбе банки я не знаю и сейчас. Пароход шел нормально, шторма не было, весь путь светило солнце, и через пять суток мы были в столице Колымы — Магадане.



## Глава 9

### Колыма

Пароход не принимали к причалу; я видел, как сигнальщик передавал в порт сообщение, что на борту имеется ценный груз. Дали добро на вход в бухту и швартовку. Здесь же, в порту, мы услышали по радио, что пришвартовался пароход «Феликс Дзержинский» с ценным грузом. Мы пробыли на пароходе еще примерно пару часов, а затем стали выводить нас на берег для следования в лагерь, который находился в пяти километрах от порта.

Так мы, колонной по пять человек в ряд, под усиленной охраной с собаками шли от порта по всему городу. Люди на нас смотрели с сочувствием, некоторые плакали и говорили: «За что же их так жестоко ведут?» На всех перекрестках стояли работники МВД, регулировщики были тоже из МВД. На первых этажах зданий на окнах стояли решетки. Магадан — это большая тюрьма.

Пришли в лагерь. Он рассчитан на десять тысяч человек. Это пересыльная тюрьма по всему Колымскому краю. Хочется остановиться немного и здесь, хотя вроде бы моя судьба немного облегчилась, так как за время пребывания в лагере мне не пришлось работать на тяжелых работах. Временно меня взяли работать писарем. Отсюда комплектовались группы заключенных в разные точки Магаданской области. Отправляли самолетами «Дуглас», а также автомашинами. По сводкам этих отправок я узнал, что вся Магаданская область усеяна лагерями — живыми и мертвыми.

Руководство лагеря боялось политических заключенных, поэтому их старались как можно дальше отправить в тайгу. И вот через пару недель после

нашего прибытия скомплектовали большую группу политических, куда попал и я, загрузили в автомашины и отправили в путь, в Усть-Неру. Это более тысячи километров на северо-запад от Магадана.

Если не рассказать о пути, все тысячу пятьдесят километров которого я проехал на машине, то воспоминания о пребывании на Колыме были бы неполными. Конечно, сегодня трудно восстановить точные даты, когда все происходило, я помню все это по временам года. Хотел я вести дневник, но разве можно было тогда писать обо всем? В лагерях всюду делались генеральные проверки и отбирали все: письма от родственников, художественную литературу, чистую бумагу и конверты, куски старых газет, поэтому о ведении дневника не могло быть и речи.

Будучи еще на мысе Лазарева, в 1950 году, я достал себе справочник по лесоматериалам, выпущенный Издательством МВД; немного подремонтировал его, сделал переплет, а в переплете — маленький тайничок, в котором у меня всегда хранилось 100 рублей «на черный день». При обыске, глядя, что на справочнике всюду стоят штампы МВД, его у меня не отбирали. Так он и прошел вместе со мною по лагерям и дожил до сегодняшних дней. Правда, в 1988 году все таблицы я переплел в другой переплет и подарил своему зятю, Романову Коле, а старый храню у себя. Отбирали у нас и фотографии родственников. Да мне кажется, что иметь фотографии родственников было небезопасно. Несмотря на смерть Сталина и арест Бери, агенты МВД и МГБ по-прежнему могли схватить любого человека, обвинить его, а потом разбираться.

В начале октября нас стали грузить в автомашины, их было двадцать. В каждую машину сажали по двадцать пять человек; садились пятерками на корточки. Впереди в кузове стоял щит, за которым ставилось по три охранника: двое с винтовками и один с

автоматом. В кабине кроме шофера сидел еще один охранник — старший данной машины.

Покидали мы Магадан утром. Люди, идущие на работу, останавливались: на их лицах отображалось сочувствие. Население Магадана — это все сосланный цвет России, освободившиеся из лагерей, те, кому нет возврата на Большую землю. Поэтому они прекрасно понимали, что ждет нас.

По городу ехали со скоростью 15 километров. Кончился город, машины увеличили скорость. И вот мы на Колымской трассе. На дорогу это мало похоже, это действительно трасса. Широкая проезжая часть, отличное песчано-щебеночное покрытие, напоминающее асфальт. На дороге разметка, на каждом километре столб с надписью, сколько километров от Магадана или до Магадана, каждый километр разбит на пикеты, пикетажные столбики пронумерованы и покрашены в белый цвет.

Машины шли плавно. Километров через пятнадцать попался первый придорожный пустой лагерь, а через два-три километра — большое кладбище, затем вновь и вновь лагеря, и пустые, и полупустые, и забитые заключенными. Лагеря попадались очень часто, населенных пунктов не было. Дали нам сухой паек — хлеба 300 граммов и одну селедку. Сидеть на корточках очень трудно. В каком-то месте недалеко от дороги находился лагерь с заключенными, машины остановились, и нам разрешили освободиться от естественных надобностей, прямо стоя в машине. Это была нам передышка.

И опять в путь, в том же положении. Картина трассы не менялась. Через каждые триста — пятьсот метров попадались дорожные ремонтники из числа заключенных. Дорога отменная, от скорости колеса машины издавали гул. Слышал я в Магаданском лагере, что эта трасса готовилась под железку (железную

дорогу) и что она проходит по костям заключенных. Надо полагать, так и есть: если такую трассу прокладывали через леса и болота, в пургу и мороз, то жертв было много. Все строилось руками, основная техника — тачка и кирка.

К вечеру остановились около пустого лагеря, там, кроме охраны, никого не было. Нас всех поместили в этот лагерь. Это небольшие бараки из черных бревен с двухэтажными нарами, и никакой постели. Ужинали опять сухим пайком. К нашему счастью, в лагере была уборная. После трудной дороги мы быстро уснули.

Утром подъем в 7 часов, дали на завтрак горячей баланды. Вновь расселись в свои машины, но охрана была заменена почти на каждой машине. И снова в путь. Вскоре показалось большое село. Здесь мы увидели большие паровозные депо, железнодорожное оборудование, вагонные колеса — я убедился в том, что действительно эта трасса строилась под железку.

Село было на самом деле большое. Прочитали на одном здании, что это поселок Ягодное. Позади осталось более пятисот километров, а впереди чуть больше. Навстречу попадалось очень много грузовых машин разных марок. Поселок Ягодное — это ключевой узел Колымы. Отсюда шли пути на север и юг, запад и восток области.

Я сидел ближе к борту. Некоторое время считал, сколько машин обогнало нас и сколько было встречных. Если взять среднюю арифметическую, то в сутки по трассе проходило 800–850 машин. Заночевали еще раз в полузаброшенном лагере. Все было серым, и к тому же испортилась погода. Когда на следующее утро садились в машины, дул холодный ветер, да и чем дальше удалялись мы на север, тем становилось все холоднее и холоднее, а на каком-то перевале лежал снег. Мы изрядно замерзли, но потом, на спуске в долину, стало теплее.

И вот промелькнул тысячекилометровый столб, и нам осталось сидеть на корточках еще немного. Мы въезжаем в поселок Усть-Нера, это уже Якутская АССР. Итак, путь от Магадана до поселка Усть-Нера в тысячу пятьдесят километров позади, и все это расстояние я проехал в кузове грузовой машины, сидя на корточках.

## Глава 10

### Моя жена

Если я в своих воспоминаниях о тюрьмах и лагерях буду писать только о своих тяготах, то это будет несправедливо — ведь все мои мучения и страдания разделял со мной еще один человек, хотя его рядом со мною и не было. Это была женщина — моя жена, 1925 года рождения, уроженка бывшей Карело-Финской ССР, села Толвуя, — Хабарова Анна Петровна. Это была ее девичья фамилия. Став моей женой в 1949 году, она стала Буцковской; после того как меня репрессировали, она вновь стала носить свою девичью фамилию. Не обязательно писать о том, как свела меня судьба с этой женщиной. Скажу только, что до нашей встречи мы находились друг от друга на большом расстоянии: я служил во Владивостоке, она работала в городе Павлово Горьковской области. Соединив свою судьбу с моей, летом 1949 года она переехала к моим родителям, а в октябре того же года — во Владивосток.

Мы снимали не комнату, а уголок в 5,5 кв.м с высотой потолка 1,8 м. Отопления не было; обогревался этот уголок тогда, когда дверь открывалась на кухню хозяина дома. Умывальник был на кухне. В нашем углу — потом мы называли его комнатой — стояли кровать, армейская тумбочка и старый стул. Вот и вся мебель. Над койкой висело байковое одеяло, называли мы его «персидским ковром». Дневного света не было — комната не имела окна. На первый случай для жены хватало места, а я пропадал на службе. Дома приходилось бывать очень и очень редко, максимум два раза в месяц. В общей сложности это составляло восемь часов. За свой угол мы платили 10 рублей, за свет отдельно плюс еще за отопление на кухне. Наша

комната напоминала чулан или сени. Это было на улице Дальзаводской, 2.

В этой комнате и жила моя жена; она не роптала, не ныла, не просила каких-то благ. Она помнила о том, что жена матроса не должна ныть, и не ныла. В мое отсутствие — а это было почти всегда — вечерами при свете электролампочки читала Бальзака, Гюго, Тургенева, Надсона. А когда мы были вместе, то шли в Драматический театр им. Островского. Театр я очень любил, считал, что только здесь настоящая культура и искусство. Любил и цирк.

Но недолго продолжалась моя семейная жизнь, и, как уже я ранее писал, 4 марта 1950 года было последним днем нашей семейной жизни, днем моей трагедии и ее печали. Когда меня арестовали, жена ничего не знала. Вечером, придя с работы, она не нашла меня. Искала на второй день, третий, четвертый, но найти не могла. Потом все же на корабле она узнала, что меня арестовали, а спустя еще день или два она уже точно знала, что я в тюрьме. К этому времени в комнате нашей сделали обыск. Что искали агенты МГБ в/ч 25084, непонятно. И все же из альбома вытащили фотографию американского матроса, с которым я служил на Аляске в 1945 году.

Позже следователь Гурьянов называл американца шпионом и требовал от меня, чтобы я подтвердил, что это действительно американский шпион, что он дал мне задание. Задание это Гурьянов выдумал сам, но его замысел не удался. Американский матрос — это честный парень, по специальности рулевой, я тоже был рулевым, вот эта специальность и связывала нас, когда американские парни передавали нашим морякам свои фрегаты.

После обыска на квартире жену вызывали несколько раз ночью в МГБ; ее запугивали, заставляли сказать, что я якобы встречался во Владивостоке с какими-то

неизвестными личностями. Жену каждый раз подолгу не выпускали. Но она не дрогнула, она говорила обо мне то, что было на самом деле. За домом МГБ установило наблюдение. Когда мое дело было уже сфабриковано, наблюдение за домом сняли. Жене предложили покинуть Владивосток и взять развод. Развод она взяла после суда, но пока оставалась в городе, а когда меня уже вывезли из Владивостока, то про нее забыли. У МГБ были еще другие заботы. Так и осталась она жить одна. Пока я еще находился во Владивостоке, она морально и материально поддерживала меня. Ее мысли и стремления были направлены ко мне. Ее моральная поддержка придавала мне силы, и мне было легче переносить тяготы нелегкой жизни.

Когда я находился в первом лагере, на мысе Лазарева, она не только всячески поддерживала меня, но, невзирая на все запреты, кордоны и посты, добралась ко мне на мыс, за что я очень ей благодарен и помню об этом всегда. Все последующие годы она продолжала меня поддерживать всеми своими силами и возможностями, и было такое чувство, что она рядом со мною. Я ее часто видел во сне, но это было уже в Якутии.

Она поддерживала меня всегда, хотя и не была уверена, что мы когда-нибудь еще сможем встретиться. Она знала, что осужденных по политической статье после окончания срока не выпускают, а дают новый срок, и так до нескончаемости.



## Глава 11

### Якутия

Итак, в какой-то небольшой срок летне-осеннего периода 1953 года с Сахалина я добрался до поселка Усть-Нера. «Добрался» не то слово: меня, как и тысячи других, везли морским и сухопутным путем с усиленной охраной с собаками, не оставляли и все невзгоды.

В этом поселке долго нас, политических, не держали — наверное, около дней десяти. Помню, водили на работу — строить бараки. Лагерь был пересыльным, значит, путь предстоял еще дальше.

Действительно, отсюда готовили партии заключенных для отправки еще дальше на север. В поселке лежал снег, были небольшие морозы, а мы в летней одежде. Пришел день, и в одной из партий для отправки оказался и я. Нас посадили в самолет «Дуглас». Это транспортный американский самолет; такие самолеты видел я на Аляске. Наша группа состояла из восемнадцати заключенных и двух конвоиров. Когда мы летели, то на лицах конвоиров был страх: они боялись, думая, что мы можем их убить, но таких мыслей у нас не было.

Два часа летного времени, и мы уже в лагере поселка Батыгай. Огромный лагерь, тысячи на три. Здесь есть уголовники и политические. Заключенные работают в шахтах по добыче касситерита и еще какой-то руды. Здесь же, в поселке, фабрика по обогащению руды. Обогащенная руда в небольших сумках разных цветов под усиленной охраной в определенное время отправлялась в самолет для дальнейшей транспортировки. Думаю, что это и была урановая обогащенная руда. Кто работал в шахтах, получал зачеты.

Если план выполнялся на 151 %, к одному отбытому дню добавляли еще два — значит, срок сокращался. Кроме этого, существовало еще досрочное освобождение по  $\frac{2}{3}$  (по отбытии двух третей срока), но этот указ распространялся не на всех.

В первые же дни я узнал, что у многих заключенных есть зачеты по два, три, четыре года, даже по пять лет, и если бы к ним применить  $\frac{2}{3}$ , то они должны были бы быть уже на свободе, а они все по-прежнему находились в лагере.

В этом лагере в основном были с большими сроками — от 10 до 25 лет. Здесь я встретил много тех, кто вместе со мною был в трюме парохода «Феликс Дзержинский». Я обрадовался, что встретил единомышленников. Они все были в бригадах. Нашу группу распределили тоже по бригадам. Я попал в бригаду строителей, отработал уже несколько дней. Требовались печники. Я подумал, что печником все же будет легче, и дал согласие на эту работу.

Печное дело я освоил еще на службе благодаря одному матросу — это было в 1948 году в Советской Гавани. Нас оказалось в лагере два печника, водил на работу один конвоир, и не с винтовкой, а с наганом; это уже как-то было морально легче. Мороз был уже под 30 градусов. Наши кирзовые сапоги по дороге замерзали, но, придя к месту работы, мы отогревались — все же в помещении было тепло.

Делали печи в домах в основном для начальствующего состава. Работали мы честно, видели смысл в работе. Видели, что расценки на печи нормальные, можно заработать, хотя от расценки нам причиталось всего 30 %, а 70 % шло на лагерь. И все же в первый месяц работы мы получили по 150 рублей, это уже были деньги. Деньги есть — легче жить. У нас появилась возможность покупать себе продукты.

Работая на квартирах, просили хозяек, чтобы они что-нибудь нам купили из продуктов. И они покупали за наши деньги. Это были жены работников лагерей; среди них были очень добрые, милые женщины. Они всячески старались облегчить судьбу заключенных. И все это они делали в обход своих мужей и просили нас не говорить никому, кто что порою нам покупает. Об одной такой женщине я расскажу позже, потому что она сыграла большую роль в моем освобождении, но это было спустя почти два года и в другом лагере.

Мы получили зимнюю одежду и продолжали работать печниками. Шел уже 1954 год, нашим конвоирам надоело нас водить по домам делать печи, отпускали работать и без конвоя. Мы не нарушали распорядка лагеря. Точно в 7.00 уходили на работу и в 18.00 возвращались. С питанием у нас стало лучше, подкармливали на квартирах, кое-что сами покупали. Приносили и в зону продукты в нормах, что разрешалось. Из продуктов в лагерь можно было нести все, кроме чая и спиртного, общий вес продуктов не должен превышать двух килограммов. Дали временные пропуска на бесконвойный выход на работу. Спрос на печников оказался большим, и мы все работали и работали, а когда получили пропуска, нам разрешили работать до 8 часов вечера.

Положил я в свой тайничок уже семь или восемь сторублевых купюр «на черный день». О «черном дне» я никогда не забывал. В один из дней в поселковой пекарне рухнула печь, поселок и лагерь остались без хлеба. Быстро нашли нас, вызвали к начальнику лагеря и сказали, чтобы мы сложили пекарскую печь. Друг мой Ленька, бывший честный вор, отрешившись от воровских дел, работал уже многие годы в лагере на разных работах, печное дело знал лучше меня. Согласился и он на кладку пекарской печи. Когда мы пришли в пекарню, то увидели развалившуюся печь.

Старая печь работала круглые сутки — по десять-двенадцать выпечек делали. Мы решили сложить на том же фундаменте две печи.

Дали нам подсобную силу и все необходимые материалы. Работали по шестнадцать часов, ведь поселок и лагеря были без хлеба. Примерно дней за пятнадцать-двадцать печи были готовы, мы их затопили, и пекари сделали первые выпечки хлеба. На этих печах мы заработали по 500 рублей.

После этой работы нас вновь законвоировали. Меня направили в особо режимную бригаду, я никак не мог понять за что. И только спустя полгода узнал, что на моем формуляре было написано: «Политически опасен». Надпись эта появилась после того, как я возглавил политических во время голодовки на пароходе «Феликс Дзержинский».

Нет надобности подробно писать, что такое «особо опасен» или «политически опасен». Появись эта надпись в моих документах при жизни Сталина, давно бы мои косточки сгнили. От таких людей старались избавиться под предлогом попытки к побегу. Как правило, такие мероприятия охрана осуществляла в зимнее время. А делалось это так.

Заключенных привозили на объект, конвойные располагались на углах объекта друг от друга так, чтобы видно было всех заключенных и конвой. Старший конвоя заходил на объект и брал одного или двух «особо опасных» или «политически опасных» заключенных и заставлял их разводить костры для конвоиров. А дрова находились за пределами объекта — вот туда и посылали тех «опасных», и, как только человек переходил запретную зону, в него стреляли без предупреждения. Затем приезжало лагерное начальство, убитого забирали и составляли документ с формулировкой: «Убит за попытку к побегу». Стреляли и в грудь, и в спину, и всегда конвоиры были правы.

Если убьют в грудь, напишут «Попытка нападения на конвой», в спину — «Попытка к побегу».

Поэтому всегда нужно было быть начеку и не поддаваться на всякие уловки и провокации охраны. Однажды стреляли и в меня — на мысе Лазарева, но, наверное, так уж суждено было остаться в живых.

Жить в таких условиях становилось невыносимо, даже солнечные дни становились серыми, и маленькие просветления заслонялись грозowymi тучами.

Меня перебросили в другой лагерь, в лес, от основного лагеря примерно восемьдесят километров. Это небольшой лагерь на четыреста человек; в основном здесь были с большими сроками. Основная работа — заготовка дров. К тому времени у меня вновь открылась цинга. Болели ноги, кровоточили десны, а на работу гоняли. Норма была очень большая: нарубить вручную 15 куб.м дров на человека. Такую норму никто не выполнял, поэтому и кормили плохо, а купить продукты здесь негде, кругом леса и болота.

Хлеба давали 600 граммов и три раза в день баланду. Вся обслуга в лагере была из заключенных-воров. Они работали на кухне, в хлеборезке, в прачечной, а несколько человек совсем не работали. Это были воры в законе. Всех насчитывалось человек сорок. Они жили лучше, чем все остальные, и все за счет нас, работающих. Они недодавали хлеб, с кухни забирали жиры и все, что причиталось заключенным. Но все молчали, боялись поднять голос против творящегося в лагере беззакония.

Администрация лагеря все это знала, но мер к ворам никаких не принимала. Назревал конфликт между работающими и ворами, готовился, как говорится, бой, и нужно было его выиграть. О готовящемся событии я ничего не знал. Но как-то в своем бараке у многих увидел под постелью березовые палки. Эти палки приносили из леса. Это было оружие рабов против

угнетателей. Позже в нашем бараке появились две лопаты, их спрятали под пол. Мой сосед по нарам, молодой парень Генка, физически сильный, работал тоже в лесу, но в другой бригаде. Однажды он спросил меня, как я отношусь к беззаконию, которое творится в лагере. Я сказал, что отрицательно.

— Тогда помоги нам.

Я спросил, в чем нужна моя помощь.

— Все увидишь, и не будь в стороне.

Я понял, что березовые палки и лопаты приготовлены для того, чтобы свергнуть воровскую власть.

С этого времени я стал внимательно присматриваться к ворам. Вешая хлеб, они действительно недовешивали заключенным по 40-50 граммов на каждую пайку. Из столовой выносили продукты и ели это все в своем кругу. Если кто-либо из заключенных и пытался протестовать, то его запугивали ножами. Все воруы имели ножи, искусно сделанные какими-то умельцами. Воры, как правило, ножи не метали, они применяли их в драке. Я понял, что в драке не нужно сблизаться вплотную во избежание получения ножевых ран. А тем временем конфликт нарастал, чувствовалось, вот-вот вспыхнет огонь.

Не помню, какой это был день, когда случилось следующее. Наша бригада и еще одна вернулись с ночной работы. Это было около 7 часов утра. Одни стали умываться, а другие пошли получать хлеб. В этот день воруы почему-то еще наглее были, недодавали хлеба по 100 граммов. Я только что умылся. Зашли двое в нашу бригаду и возмущались, что им недодали хлеба. Пошел получать хлеб и я, мне тоже недодали. Когда я вернулся в свой барак, то увидел, что многие уже держали в руках палки, и кто-то крикнул: «Вперед!» Все побежали. У меня не было палки, вспомнил про лопаты,

поднял жерди, под которыми они лежали, схватил одну — и вслед за всеми.

В зоне увидел, что около столовой скопились все вору, некоторые выбегали из бараков и присоединялись к своей группе. У всех сверкали ножи, но мы плотным кольцом стали приближаться к ним. Часть воров укрылась в столовой, а остальная группа двинулась на нас. Ножи против палок. Они кричали нам: «Бросай палки, а то мы перережем всех!», а мы кричали: «Бросай ножи!» На меня шел здоровенный вор с ножом. Решали секунды, кто кого. Я ему крикнул: «Бросай нож!», а он уже был на расстоянии двух шагов от меня и замахнулся ножом. Он был уверен, что я не смогу ничего сделать с ним. Отскочив в сторону, с той силой, которая была у меня, я нанес ему удар лопатой по плечу ближе к шее. Он остановился, выронил нож и стал медленно опускаться на землю. Я видел, что везде наша брала, вору стали отступать к столовой. Мы все двинулись на окончательный бой. Вору в столовой пока не сдавались. Мы стали выбивать окна и разбирать потолок. Посыпалась земля, пыль покрыла все. Мы требовали, чтобы вору выходили и бросали ножи; они долго молчали. Мы приняли решение поджечь столовую. Тогда они стали выходить и бросать свои ножи. Куда дели воров и их ножи, я не знаю, но с того момента в лагере стало спокойно.

Меня по-прежнему одолевала цинга, стали отказывать ноги. Администрация лагеря готовилась к встрече какого-то своего начальства, поэтому по всем здешним лагерям проехала медицинская комиссия. Приехала она и в наш лагерь. Среди вольнонаемных врачей были и врачи-заключенные. Здесь я увидел врача, который был вместе со мной еще в 1953 году на пароходе. В то время он тоже еще отбывал срок: он был осужден как политический, но у него срок был

пятнадцать лет. Он убедительно доказал комиссии необходимость перевода меня в основной лагерь.

Вот так я оказался вновь в базовом лагере, где было много тех, кто вместе со мной голодал на пароходе.



## Глава 12

### Надежда

Подходила вторая за время моего пребывания в лагере якутская зима, зима 1954/55 года. И только благодаря знанию печного дела я еще не был на работах в касситеритовых и урановых шахтах. Печников в лагере не находилось, а работы было очень много. Вначале мы ремонтировали печи в лагере, а затем стали класть их в новом поселке, который строился для работников охраны.

Однажды, когда мы работали по обмуровке котла в новой котельной конторы, к нам зашел один из офицеров охраны, внимательно осмотрел нашу работу, а потом сказал, что ему нужно сложить печь в своей квартире. Была уже осень, мороз под 35 градусов. После этой встречи через три-четыре дня нас направили к уже упомянутому офицеру.

Придя к нему домой — а он жил в новом поселке, — мы ужаснулись. Если на улице мороз 35 градусов, то в его квартире было под 20 градусов. Двое ребятишек ходили по комнате, одетые в теплую одежду, жена была в армейском тулупе. Пришел сам хозяин, спросил, какова ситуация. Мы определили, как разместить печь, чтобы она обогревала всю квартиру. Не буду описывать, как мы добывали глину, теплую воду и делали раствор. На подготовку ушло два дня, на третий мы взялись за дело. Работали хорошо — ведь нужно помочь людям. Хотя хозяин охранник, но дети ни в чем не виноваты, им нужно тепло.

Сама хозяйка, молодая симпатичная дама, оказалась сердечной русской женщиной. Ведь действительно, свет не без добрых людей. В первый день она готовила обед на костре, ели мы все вместе:

ее дети, она и мы. Разговорились о жизни. Сюда они приехали из другого управления МВД. Она расспрашивала о нас, о наших родителях. Работали мы на этой квартире столько времени, сколько нам разрешала администрация; мы считали, что в трудных ситуациях нужно людям помогать. Когда я рассказал ей о себе и за что меня посадили, она спросила, от кого зависит досрочное освобождение. Я рассказал ей о системе досрочного освобождения. Говорили мы о многом во время обеда, а когда приходил муж, мы старались на такую тему не вести разговоров. Но как бы то ни было, эта добрая женщина ежедневно внушала своему мужу, чтобы он облегчил наше пребывание в лагере.

Кажется, на четвертый день мы справились с работой, затопили печь; через некоторое время в квартире стало тепло, дети разделись, хозяйка сняла теплую одежду. Ужинали мы уже в теплой квартире. На следующий день нужно было печь оштукатуривать.

Пришли мы в натопленную квартиру, хорошо поели и приступили к работе. Хозяйка сказала, что то, о чем мы говорили с ней, она рассказывала по ночам своему мужу. Муж ей сказал, что слишком сложно устроить досрочное освобождение, тем более что у меня на формуляре стояла пометка «Политически опасен». Но все же он обещал по возможности помочь. Думаю, что здесь решающую роль сыграла его жена.

После завершения работы мы попрощались с хозяйкой, в надежде на то, что она нас не оставит. После этого случая мы работали во многих домах, и почти еженедельно к нам приходила эта женщина со своими ребятами, приносила продукты питания. Моя касса для «черного дня» почти не пополнялась, так как, будучи в лесном лагере, я часть денег потратил на лечение цинги.

Денег у меня собралось около 800 рублей. Все деньги я хранил в своем тайнике. На подходе был 1955 год. Шел декабрь, мороз — 68 градусов, доходило даже до 73 градусов. Работали всю зиму в поселке, печей строить — хватит на десять лет. И длительное время мы не видели того человека, от которого, может быть, действительно зависела наша судьба.

Прошла зима, и мы уже потеряли всякую надежду. Однажды, вернувшись в лагерь после работы, я подсчитал, сколько же я уже отбыл в лагерях. И оказалось — 1850 дней, чуть больше половины срока.

Прошел слух, что скоро в лагерь должна приехать какая-то комиссия по рассмотрению дел. Что и как, никому не известно, но все жили этим ожиданием. Работа не прекращалась и у нас. Нас по-прежнему водил один конвоир. Порою он уходил в магазин, оставляя нас без надзора, но мы никогда за добро не платили злом.

В середине апреля 1955 года действительно в наш базовый лагерь приехала комиссия по подготовке к представлению в суд «дел» на досрочное освобождение. Некоторых приглашали для собеседования. Меня не пригласили. Я уже настроился на отбывание всего срока, тем более что печной работы было много. Прошло несколько дней после этого события. Мы с Ленькой вернулись с работы в 18 часов. Ужина еще не было, говорили, что в столовой будет проходить суд по досрочному освобождению. В столовую никого не пускали, там находились судьи и администрация лагеря.

Начали приглашать на рассмотрение, вызывали по алфавиту. Через полчаса мы уже знали, что несколько дел пересмотрено. Пригашали на буквы «М» и «Н». Я понял, что моего «дела» нет, ушел в свой барак и лег полежать. Примерно через час прибежал один

заклученный по бригаде и говорит мне: «Давай бегом в столовую, тебя там ждут».

Не знаю, как я добежал туда, и, войдя в столовую, увидел всех, кто сидел за столом, — и среди них был офицер, муж той самой доброй русской женщины, которой мы зимой сложили печь.

Спросили мою фамилию, статью и срок. Все это я сказал, спросили еще, как я буду работать на воле. После короткого совещания мне объявили, что суд считает возможным освободить меня досрочно.

В тот день было разобрано тридцать «дел», мое было последним.

Теперь оставалось ждать утверждения в высших инстанциях. Прибавилось сил, почувствовалась свобода. Через пару дней на объект, где мы работали, пришла наша знакомая и сказала, что нас освободят числа 10–12 мая, а этот разговор состоялся примерно в конце апреля.

Потянулись дни, похожие на месяцы. Мы еще больше стали работать. Мне нужно было подзаработать денег, чтобы купить себе что-нибудь из вещей. В лагерной мастерской за 800 рублей я сшил себе серые шерстяные брюки и куртку, а в поселковом магазине купил добротные брюки. Теперь у меня было во что одеться и еще оставалось немного денег. Купил я также себе часы «Звезда» — в память о Якутии.

И вот настал долгожданный день — 12 мая 1955 года. На работу нас не выпустили. Построили в зоне и стали выдавать документы — справку об освобождении с номером, начинающимся с двух нулей. Это означает запрет на проживание в краевых, областных и крупных городах. С этой справкой я и отправился в Сибирь.

Покидая суровую Якутию, я благодарил русскую женщину с доброй душой, которая смогла повлиять на мужа, и он внес свой вклад в доброе дело.

Из Сибири я написал своим спасителям благодарное письмо. Что они сделали для меня, я помню и сейчас.

Так я провел в тюрьме и лагерях пять лет два месяца и восемь дней.

**Н. Р. Копылов**  
**Мои скитания**

# **Глава 1**

## **От рождения до плена**

Я, Копылов Николай Романович, родился 5 мая 1918 года на Украине, в городе Мелитополе. Отец мой был электромеханик, мать — домохозяйка. У нас был большой сад — весной он наполнялся запахом цветущих деревьев, а осенью дарил нам плоды. Мать вечно хлопотала: кроме меня у нее было еще трое старших детей (у меня был брат и две сестры). Семья была музыкальная: отец играл на балалайке, брат сам сделал баян и научил меня нотной грамоте. Был у меня неплохой голос — на Украине все поют; хуже или лучше, но поют почти все.

Революция прошла через мое детское сознание как что-то далекое. Квартировали у нас то белые, то красные. При НЭПе все было дешево, но мама часто плакала. Разрушали церкви. Мама не выбросила икону, всегда молилась перед ней; любовно украшала ее вышитыми полотенцами, и горела под ней лампада. В школе говорили, что Бога нет, а есть только вожди — Ленин и Сталин. Мама говорила, что это антихристы. Мне еще предстояло во всем разобраться самому, но я больше верил маме.

В 1934 году я поступил в Севастопольский строительный техникум. В техникуме арестовывали учителей — нам говорили, что они враги народа. Это заронило сомнение в мою душу. Во время учебы в техникуме я по воскресеньям подрабатывал в Симферопольской филармонии: играл на балалайке и имитировал джаз. Вот где пригодилась моя балалайка! В техникуме стипендия была 39 рублей, в филармонии за одно выступление платили 100 рублей, — и я помогал семье и студентам.

В 1938 году я окончил техникум, и меня призвали в армию — так скоропалительно, что я не успел дать телеграмму домой и проехал Мелитополь, так и не повидав родных. Я ехал навстречу судьбе, не зная, что меня ждет.

Направили меня служить в Тверь, в 19-й запасной артиллерийский полк. Там я окончил школу младшего комсостава, получил звание старшего сержанта.

В мае 1939 года полк был переведен в Вышний Волочек; он назывался 481-й запасной стрелковый полк. В 1941 году полк был передислоцирован в местечко Пуховичи под Минском, где нас включили в состав 7-й парашютно-десантной бригады, но действовали мы как стрелковый полк.

Первый бой мы приняли при реке Березина. Провоевали месяца три, отступая с жестокими боями, — у нас не было патронов. В конце концов под городом Клинцы нас окружили, и я попал в плен. Начальство моментально исчезло, бросив нас на произвол судьбы.

Нас построили посреди дороги, около рва. К каждому в нашей колонне подходил офицер, осматривал, а похожих на еврея сталкивал в овраг. В их число попал и я. Сверху кричали:

— Микола, ты же украинец, скажи им.

Я несколько раз прокричал:

— Я украинец, я не еврей!

Наконец меня услышал офицер, спросил:

— Ты не еврей? — Позвал переводчика. Тот оказался моим земляком и заговорил со мной по чисто украински. Переводчик сказал, что я действительно украинец. Меня отпустили. Я быстро вскарабкался наверх, а тех, в овраге, сразу же расстреляли. В шоке, с тяжелым сердцем, поплелись мы дальше — вслед за нашей страшной судьбой.



## Глава 2

### В плену

Повели нас в город Стародуб, по пути не давая ни пить ни есть. На наше счастье, пошел дождь, и мы, падая на колени, с жадностью пили грязную воду. Нас повели в Сураж, из Суража в город Унеча. Мы от усталости еле волочили ноги. Местные жители бросали в колонны кто что мог. Конвой строго следил, чтобы мы не поднимали пищи, но кое-что иногда нам все-таки попадало. Один пленный выскочил из строя, конвой его заколол. Из Унечи повели в город Мглин; нас было около двадцати пяти тысяч человек. Все это время мы не пили, не ели и мокли под дождем. Я съел свой солдатский ремень.

Когда мы пришли на место, нас привели на рыночную площадь. Посреди нее был колодец, а по бокам выкопали глубокие ямы. Пленные спускались в колодец, чтобы напиться, а когда выпили всю воду, стали высасывать ее из песка. Многие там и остались. Через некоторое время установили котлы, вскипятили воду; в кипяток всыпали муку из петушиных костей, сварили баланду. Все становилось в очередь, подставляя пилотки, у кого что было. Ели руками, только бы наесться. Потом побежали в уборную, в те самые глубокие ямы, но мука в кишках зацементировалась, и люди в ямах так и остались. Мне баланды не хватило, и я остался жив.

Однажды я стоял около ворот зоны; подъехали машины, нас погрузили и повезли в город Рославль. Там всех поместили в пустой трехэтажный дом. В доме работали краны, можно было напиться. Жители к забору подносили продукты. Я подбежал и получил от

охраны удар по голове, но раз удалось поесть вареной картошки.

Мы переночевали в этом доме, потом всех выгнали во двор. Подошли машины, нас куда-то опять повезли, поместили в лагерь. Использовали на тяжелых работах: мы грузили уголь, вылавливали бревна в холодной воде — кто-то умирал в воде, не дотащив бревна до берега. Все были злые, голодные, истощенные. На ночь нас запирали в картофельные амбары, где в подвале кое-где валялась картошка; некоторые ели мертвецов.

## Глава 3

### Я — артист

Однажды нас вытащили из подземелья и повели в лагерь. Был ясный солнечный день. На работу не погнали. Около зоны был барак, там украинские полицейские играли на балалайках, играли плохо. Я сказал:

— Дайте балалайку, я покажу вам, как надо играть.

Один подсунул мне балалайку под проволоку, и откуда у меня взялись силы — я играл так, что балалайка летала вокруг моего тела, а музыка не прерывалась. Полицаи открыли рты от удивления.

— Ты артист? — спросили они.

— Да, — ответил я и отдал им балалайку.

Прошла неделя, меня вызывают к полицаям. Там оказался унтер-офицер, он попросил меня сыграть. Унтер-офицер был очень доволен, велел записать мою фамилию. Полицаи дали поесть и отвели обратно в зону.

Через некоторое время меня вызвали из зоны и привели в комнату, в которой было много офицеров. Они предложили мне выпить, но я отказался, сказав, что сначала прорепетирую с баянистом. Потом я сыграл — проимитировал джаз. Мне дали поесть и отвели в зону. Записали фамилию.

Однажды отсчитали нас десять человек, погрузили на машину, повезли неизвестно куда. Когда машина остановилась, мы оказались во дворе военного госпиталя. Поместили нас в барак, в котором вместо кроватей была солома, и сказали: «Здесь вы будете спать». Кормили отвратительной баландой. Мы выполняли тяжелые физические работы, выносили

шлак из котельной, разгружали машины с углем, кололи дрова. На ночь нас запирали.

Через какое-то время отобрали трех человек для работы в госпитале санитарями, в том числе и меня. Подносил судна, бутылки, носил отрезанные хирургом руки, ноги в котельную, дежурил по ночам. Однажды у офицера пропали часы, и он не долго думая выстрелил в меня. Я успел отскочить. Доложил главному хирургу о том, что больной сказал, что я украл у него часы. Хирург стал искать и нашел часы в кармане его шинели, пристыдил офицера и отобрал у него пистолет.

Нас кормили плохо, мы ходили голодные. Пищу раздавали русские девчата, они ведрами носили объедки домой. Однажды мы не выдержали и сказали им:

— Как же вам не стыдно, мы ходим голодные, а вы отдаете остатки свиньям!

Они поплакали и стали нас подкармливать. Однажды приехали какие-то офицеры и, узнав, что я артист, взяли меня в группу русских артистов. Там я познакомился и подружился с Баулиным и его женой.

Мы выступали в лагерях для военнопленных и для жителей сел, прилегающих к Гомелю и Борисову. Пошли слухи, что нас отправят в Германию, — говорили, что там голод, а главное, нас ожидают лагеря.

Была осень. Мы, посовещавшись, удрали в партизаны. Побег удался. Партизаны (это был 13-й партизанский полк под командованием Гришина) нас накормили, сказали, что видели наши концерты. Приняли хорошо, но Особый отдел зорко наблюдал за нами. Мы были в партизанах месяца два с половиной, пока нас не окружили и не разбили.

Когда была бомбежка, мы спрятались в бункере и замаскировались, но нас заметили немцы:

— Считаем до трех, а то бросим гранату!

Мы вышли.

— А, тут и женщина, — сказали немцы, увидев жену Баулина.

Так я снова попал в плен. Обыскали нас и повели в какое-то село. Поместили в каморку. Меня вызвали и били поленом, положив на парту, так как считали, что всю группу артистов к партизанам увел я, — с тех пор у меня больные легкие. Избили до бессознательного состояния, приволокли и бросили в каморку. Рано утром нас вывели, посадили на бревно, а перед нами встали солдаты с автоматами. Мы догадались, что нас расстреляют. Повели за село, подвели ко рву. Солдаты выстроились и направили на нас автоматы. В это время по паханому полю с ревом шла легковая машина. Старший по команде приказал опустить автоматы и побежал к машине. Из нее вышел полковник, главный полевой врач. Он спросил:

— Это партизаны?

Солдат ответил:

— Да.

— Расстреливать будете?

— Jawol<sup>[21]</sup>.

Тогда полковник, всмотревшись в наши лица, сказал:

— Я вас знаю, вы артисты, я видел вас на концерте. — И обратился к солдатам: — Это русские артисты, отведите их в штаб.

Нас повели в штаб (его величество Случай), где мы в какой-то комнате переночевали. На другой день нас повезли в Минск. Узнав, что мы работали в отделе пропаганды, нам отвели комнату, и мы жили в ней под охраной — до тех пор пока сотрудники СД не узнали, что русские артисты были в партизанах и сейчас живут почти на свободе. Нас арестовали и посадили в тюрьму. Мы просидели там два месяца, кормили нас ужасно и остригли наголо.

Через два месяца этапом отправили в Берлин. Оказалось, что в этапе много артистов. Нас привезли в филармонию, которая называлась «Винета». Начальник филармонии очень любил птиц, и нашу группу после просмотра назвали «Розовый павлин»; добавили нам еще одну танцовщицу. С нами ездил Reiseleiter<sup>[22]</sup>; вооруженный. Меня назначили художественным руководителем. Мы обслуживали Ostarbeiter<sup>[23]</sup> и власовцев.

Как-то нас вызвали, сказали, что посылают обслуживать казачьи войска в Югославию. Мы давали концерты для донских, кубанских и терских казаков. Однажды видели генерала Шкуро. Побывали в городах Сисак, Ново-Градишка, Костайница, Загреб. После нас привезли опять в Берлин. Город был весь в руинах. Шел 1945 год.

Мы направились в Италию; шли пешком, нас подвозили на машинах, — так мы добрались до пограничного города Бреннер. Там с трудом уговорили одного водителя взять нас и поехали дальше на машине. Пейзаж был завораживающе красивым. Проезжали города Раверето, Больцано, Мерано, Верона и другие.

Из Вероны мы вернулись в Мерано, так как в этом городе размещался Красный Крест, который не обстреливали. Нам надо было зарабатывать на жизнь. Так как в городе было много госпиталей, где лежали немецкие раненые, то наш Reiseleiter договорился, и мы стали давать концерты в этих госпиталях. Немцы за это платили нам деньгами — бросали в шляпы, которыми обносили их девчата. Жители, узнав, что мы русские, к нам относились очень хорошо. Так мы и жили.

## **Глава 4**

### **Решено — возвращаюсь в Советский Союз**

Наступил май месяц 1945 года, в город въехали американцы. От них узнали, что окончилась война. Наш Reiseleiter сбежал. Мы выступали в американском клубе; американцам нравилось, и они надавали нам продуктов.

Скоро приехали советские представители, расклеили призывы, агитируя возвращаться в Советский Союз. Тоска по родине пересилила страх, и мы решили вернуться.

Отправились на сборный пункт. Нас везли на американских машинах, а впереди ехали советские машины. Американцы нас агитировали не возвращаться, они говорили, что нас всех арестуют, но мы не верили им. На воротах сборного пункта было написано: «Добро пожаловать!» Выстроили всех во дворе — там уже оказалось много русских. Некоторые офицеры надели погоны, которые с них тут же сорвали. Тут-то мы все поняли. Но было поздно.

Развели по комнатам, держали под охраной. На другое утро нас отвезли в австрийский город Мельк, где был фильтрационный лагерь. Всех допросили поодиночке. Меня, моего партнера и жену Баулина вторично призвали в армию, где мы второй раз приняли присягу, и нас направили в штаб 4-й гвардейской армии генерал-полковника Гусева в город Эйзенхюттенштадт.

Начальник клуба сказал: «Будете работать артистами». Мы выступали в Вене и других городах. Затем армия передислоцировалась в Венгрию, в Балатонфюред, где по указу Верховного Совета СССР я был демобилизован.

Ввиду того что в Центральной группе войск знали о нашем творческом гарнизонном коллективе, нас пригласили в город Вену, в Дом офицеров Центральной группы войск, и мы согласились. Маршал Конев узнал, что нас отправили в Вену, и велел возвратить обратно в город Баден, где был его штаб. Он часто смотрел наши концерты и был очень доволен нами. Мы были вольнонаемными и жили в госпитале полковника Златкина. Немного поработав там, я подал заявление об увольнении по собственному желанию и уехал домой в Мелитополь. Отправились со мной и Баулины — они поехали в Москву.

Дома радости не было конца. Мама не могла на меня наглядеться и говорила: «Это я вымолила тебя у Господа». Была осень; я ходил по саду, пели сверчки, и мне казалось, что я попал в рай.

Я устроился преподавателем музыки и пения в Мелитопольское железнодорожное училище.



## **Глава 5**

### **Приговоренный к 25 годам**

Проработал семь месяцев. 1 апреля 1947 года подъехала двуколка; сидевший в ней мужчина спросил мою фамилию и сказал, что меня требуют в Горком — собирают всех художественных руководителей. Я поверил, сел в двуколку, и мы поехали. Смотрю — везут не туда; спрашиваю, куда, говорит, сейчас узнаешь. Объявил, что я арестован, и привез в мелитопольскую тюрьму.

В тюрьме обстригли, сняли с меня ремни, отрезали пуговицы и через весь город повели пешком на вокзал, — мне было стыдно. Посадили в вагон-зак и отправили в Москву, на Лубянку, 7. Родители мои и не узнали, что я арестован.

Пару дней я просидел в общей камере. Потом вызвал меня следователь, капитан Володин, который предъявил мне обвинения по статье 58, пункты 16, 10 и 11. От всех обвинений я отказался и не стал ничего подписывать. Тогда он меня перевел в одиночную камеру и стал применять недозволенные методы воздействия. Ночью не давал спать — вызывал к себе и сидел, не говоря ни слова. Не давал есть, не пускал в туалет, не разрешал садиться во время допроса. Практически я не ел и не спал. Приду в камеру — там стоит много моих мисок; ищу ту, что потеплее, только ложку в рот — снова на допрос. Я много раз терял сознание, меня приводили в чувство врачи, давали поесть, и снова все начиналось сначала.

Он еще и бил меня. Сказал:

— Не подпишешь — подохнешь в этой камере.

Моя одиночная камера была очень маленькая — два на полтора метра, параша стояла под кроватью. Темно.

Тусклая зарешеченная лампа едва давала свет. Было много крыс. Следователь вызовет ночью и держит у себя в кабинете и день. Нельзя ни попить, ни поесть. Так прошло семь месяцев. Однажды открывают камеру, а я лежу без сознания на полу. Меня привели в чувство, вызвали доктора и начали подкармливать. Давали рыбий жир и какую-то кашу. Едва я смог стоять на ногах, меня снова повели на допрос. В таком состоянии я подписал все — только бы скорее кончилось это издевательство.

Три человека в каком-то кабинете судили нас троих: Баулина, Баулину и меня. Суд длился десять минут. Дали по 25 лет и 5 лет поражения в правах — как раз вышел указ Сталина о замене смертной казни 25 годами.

## **Глава 6**

### **В зоне на БАМе**

Через два дня после суда меня отправили в Бутырскую тюрьму. В камеру, рассчитанную на шесть человек, затолкали шестнадцать. Примерно через неделю меня перевезли в пересылочную тюрьму на Красной Пресне, а потом отправили на этап. Погрузили нас в товарные телячьи вагоны, повезли в Сибирь. Проезжали мимо Байкала, был мороз, в вагоне все заиндевело.

У меня на шее был фурункул, он назрел и очень болел. Один заключенный сказал: «Давай я тебе выдавлю». Выдавил, после чего я сразу ослеп. Я как стоял, так и присел, уткнул голову в пол и горько заплакал. Плакал я минут двадцать, горячо молясь Богу, потом открываю глаза — увидел свет и от радости опять заплакал.

Так ехали мы до станции Светлая (точно не помню), потом наш поезд пошел строго на север, до станции Ургал. Нас повели в лагерь, но ни один лагерь нас не принимал, так как такого срока ни у кого не было. Этот срок придумал Сталин, чтобы получить побольше бесплатной рабочей силы, — для него люди были как скот.

Наша зона была с двойным ограждением, между двумя рядами проволоки бегали огромные собаки. Поселили меня в барак, указали нары. Соседом оказался симпатичный человек, бывший вор. Он сказал, что давно «завязал», и посоветовал:

— Держись меня, я буду тебе помогать.

Я рассказал ему, кто я. В день, когда давали дольку сахара, блатные тут же его отбирали, но мой сахар сосед не отдал блатным.

На работу возили на строительство железной дороги, которую впоследствии назвали БАМ. Сопка представляла собой сплошную скалу, норма выработки — метр на метр в ширину, пять сантиметров в глубину. За это давали горбушку хлеба. Норму выполнить было невозможно. Лом замерзал, руки отмораживались. Мороз был 63 градуса. Один заключенный вылез из котлована по легкой нужде, его конвой сразу убил.

Так мы жили и работали в нечеловеческих условиях. В нашем бараке оказался баян. Я иногда играл на нем. Однажды пришел сука<sup>[24]</sup> и сказал:

— Бери баян и пошли со мной.

По дороге наказывал:

— Будешь громко играть, остальное — наше дело.

Зашли в барак, вижу — лежит на нарах человек, воры его разбудили, о чем-то стали с ним разговаривать, потом начали его прокалывать ножами. Я отвернулся и затих, мне приказали:

— Громко играй!

Его продолжали колоть, а он вдруг растолкал всех, прыгнул через стол прямо в окно, выбил раму и попытался бежать. Рама помешала ему, он упал, с трудом добежал до вахты и умер. Никаких разбирательств не было. Мне сказали: «Иди», и я ушел. Таких случаев было немало.

## Глава 7

### По этапу дальше

Прожили мы в этом лагере с месяц, и нас отправили на этап. Везли долго, переправили на пароме через реку Амур в город Комсомольск-на-Амуре. Из Комсомольска-на-Амуре нас повезли в порт Ванино, что стоит на берегу Татарского пролива. Здесь было двадцать две лагерных зоны. Начальство помещало политических заключенных с ворами и бытовиками в одном лагере.

Я оказался в большом бараке с трехъярусными нарами. Там находились украинцы с Западной Украины, которых называли бандеровцами. Однажды в барак зашел вор:

— А ну-ка, мужики, готовьте для меня и моей братии пожрать, быстро!

Старший барака подошел к нему и говорит:

— Здесь не столовая, можете убираться.

— Ах, ты так со мной разговариваешь?! — говорит вор и всаживает ему в живот нож. — Несите всю жратву сюда, на центр!

Украинцы оказались очень дружными между собой, отлупили его до полусмерти, он еле выполз из барака. Через некоторое время в барак вваливается около сотни уголовников, и начинается потасовка. То же происходило и в других бараках.

Я не мог остаться в стороне и стал помогать украинцам. Бился до тех пор, пока не получил удар — наверное, под солнечное сплетение. У меня перехватило дыхание, и я потерял сознание. Когда очнулся, в бараке лежало человек двадцать убитых, а на территории лагеря творилось что-то страшное: автоматные очереди со всех вышек расстреливали

дерущихся в зоне. Потом стрельба прекратилась, и я выглянул из барака. Вижу, въезжают грузовые машины. Отряд вохровцев стал грузить убитых и полуживых в машины. Нагрузили три машины, закрыли брезентом и куда-то увезли. Я слышал, что было девять машин, но видел только три.

Каким-то образом я узнал, что на комендантском ОЛПе есть оркестр и артисты, и попросился перевести меня туда, сказав, что я профессиональный артист. Мою просьбу удовлетворили. Там оказалась концертная группа с оркестром. Я показал свои номера, и меня с удовольствием включили в программу. И вот однажды к нам приезжают генерал Деревянко и начальник культуправления Колымы Цюндер; они сделали просмотр нашей бригаде и отобрали в магаданский театр четырех человек: певца Мухина, скрипача — профессора Таллинской консерватории Эвальда Тургана, аккордеониста Артура Торни и меня. В это время поступило распоряжение дать концерт в Советской Гавани, но ввиду того что у меня срок был 25 лет, мне запретили эту поездку.

Тогда колымское начальство сказало:

— Сделаем так. Они пусть едут, а сейчас набирается этап на Магадан, вы поедете этим этапом. Когда приедете в бухту Нагаева, вас высадят на берегу, к вам подъедет на машине женщина, одета будет в черное (жена генерала Никишова, начальника Маглага). Она выйдет из машины, и, чтобы она вас увидела, вы должны встать.

С этим и попрощались. На следующий день началась погрузка на пароход «Джурма», который с ужасом вспоминают все, кто на нем ехал. Помню, мы спускались в один люк, потом во второй, потом в третий. Третий люк был уже под водой, стены были жутко холодные. Заключение набилось много. Это были старики и подростки. Находиться там было невозможно. Еда и

вода туда не доходили. Чувствуя, что мне тут не выдержать, стал пробиваться на средний этаж, но меня не пускали. Дышать нечем, туалета не было, люди погибали от холода.

Я с трудом все-таки выбрался на средний этаж. Там было очень душно, шла драка за пищу. Вижу, на верхнем люке сидит группа — очевидно, воры; я слышал, что они любят разные интересные истории, — вот и мелькнула мысль: если я им что-нибудь расскажу, меня пустят подышать, иначе здесь я умру. Я с трудом стал пробираться к ним. Воры увидели меня и кричат:

— Куда ты, седой, лезешь? (Я уже был седой.) Жить надоело? Мы тебе поможем.

— Да нет, — говорю, — я артист и могу рассказать вам интересную историю.

— Если ты артист, давай к нам, расскажи что-нибудь интересное.

Я рассказывал все, что знал: романы, интермедии, сценки из спектаклей. Я хотел жить. Они стали меня подкармливать. Не могу сказать, сколько суток мы плыли от порта Ванино через Охотское море до бухты Нагаева — Магадана.

## **Глава 8**

### **Колыма. «Артист разнообразных жанров»**

Когда причалили, нас стали выводить на пристань. Кругом конвой с собаками, заставили сесть. Действительно, скоро подъехала машина. Из нее вышла женщина в черном. Я, как увидел ее, встал, как договорились, но конвой заставил сесть, собаки залаяли, женщина посмотрела по сторонам и уехала. Сидели мы, пока не высадили всех. Потом повезли в пересыльный лагерь.

Там я узнаю, что есть артистическая группа, в которой были заслуженный артист из Ленинграда и артистка Минского театра оперетты. Меня с удовольствием приняли в этот коллектив, и мы стали давать концерты. Зэки прибывали и убывали, мы их обслуживали.

Как-то приезжают несколько человек из магаданского театра — прежние друзья побеспокоились обо мне. Идут к лагерному начальству с какой-то бумажкой и забирают меня в Магаданский музыкально-драматический театр имени Горького. Слава Богу, я в театре.

На просмотре директриса театра спрашивает:

— Что вы умеете делать? (Рядом стоит известный певец Вадим Козин.)

Я отвечаю:

— Я артист разнообразных жанров, и все жанры разные.

Директриса говорит:

— Показывайте какой-нибудь один жанр.

Козин спрашивает:



— А какие у вас жанры?

Я перечислил:

— Я имитирую джаз-оркестр, делаю мимические сценки, виртуоз-балалаечник.

Он говорит:

— Вы знаете что, вы ее не слушайте, я вас объявлю, а вы исполните все свои жанры.

Подшло мое время в программе, и Козин меня объявил:

— Выступает Копылов, показывает себя в разных жанрах.

Я выступил, был колоссальный успех. Козин пожал мне руку. Особенно всем понравился номер «Туалет женщины перед сном».

После концерта директриса заходит за кулисы и говорит мне:

— Я не знала, что такое артист разнообразных жанров, но вы молодец, просто молодец. (Козин подмигнул мне — «наша победила».) Мы принимаем вас в наш театр.

Мы начали давать концерты и для горожан. Кроме того, в театре оказался опереточный коллектив. Меня спросили:

— Вы можете играть в оперетте?

— Могу, это как раз мое любимое амплуа.

— Договорились, будем вас оформлять.

Тут происходит неожиданное. На один из концертов приезжает гулаговское начальство из Москвы. Концерт прошел с большим успехом. Представитель ГУЛАГа выходит к нам на сцену и спрашивает (обращаясь к директрисе):

— Какие у вас просьбы, пожелания, что мешает в работе?

Директриса отвечает:

— Все будто бы хорошо, только большая к вам просьба: у нас есть один артист (указывает на меня),

который может выступать на эстраде и играть в оперетте...

— Так в чем же дело?

— Дело в том, — отвечает директриса, — что у него большой срок — двадцать пять лет.

— Что?!! — закричал представитель ГУЛАГа. — Двадцать пять лет — и у вас работает? На срок надо смотреть, а не на таланты. Чтоб завтра же его у вас не было! Я лично проверю.

Вот и прощай, театр! Я попал опять в ту пересыльную зону, в тот же коллектив, откуда меня взяли. Там я стал готовить новую программу. Для парного театрализованного концерта я подобрал нового партнера неудачно. Сам я играл сценки из нескольких оперетт, кроме этого, включил свои номера. Концерт должен был заканчиваться сценкой из оперетты Александрова «Свадьба в Малиновке». Программа была готова, но тут меня вдруг схватил третий приступ аппендицита.

Меня положили в лагерную больницу, где главным врачом был венгерский хирург, который приказал прикладывать мне грелку на аппендицит, — и этим сделал хуже. Температура поднялась до 40 градусов, но на следующий день вечером я удрал из больницы, чтобы не сорвать концерт, потому что он держался на мне. Концерт начали; можно себе представить, в каком состоянии я выступал. Вот уж поистине искусство требует жертв! Боль была смертельной, но я выступал до конца. В последнем номере, когда я кружу в танце свою партнершу, она падает, я подставляю плечо, чтобы унести ее за кулисы под смех и аплодисменты зрительного зала, внутри меня что-то хрустнуло, я упал вместе с партнершей и потерял сознание. Занавес закрыли.

Очнулся в грузовой машине — меня куда-то везли, очевидно, в магаданскую больницу, километров за

двадцать пять от города, везли ничем не накрытого, прямо на досках. Внесли меня в палату; тут так совпало — пришел делать обход профессор Минин Николай Сергеевич (один из кремлевских врачей, посаженных Сталиным по делу Горького). В палате были все стриженные, как обычные зэки, а я был с волосами и в гриме. Минин узнал меня (он часто бывал на концертах), спросил:

— А ты чего здесь оказался?

Я говорю:

— Аппендицит.

— О, это мы быстро сделаем. — Хотел идти дальше делать обход, но тут же возвратился и спросил, какой приступ. Я говорю — третий. Быстро задрал одеяло. Нажал сильно левую сторону живота и тут же отбросил руки. Я заорал на всю палату. Он спросил:

— Под нож пойдешь?

— Конечно, затем я и здесь.

Так и не сделав обхода, он сказал кому-то из сопровождающих: «Подготовьте к операции», а сам ушел.

Подготовили меня к операции и положили на операционный стол. Пришел профессор, вижу, он прилично выпил. Я говорю сестре:

— Сестричка, я боюсь, доктор выпил.

Профессор услышал:

— Что он там говорит?

— Николай Сергеевич, он беспокоится, что вы выпили.

Профессор говорит:

— Чудак ты человек, ты же при смерти, и скажи спасибо, что у меня нашлось сто грамм спирта, а то бы ты отдал концы.

Сделали мне местный наркоз, разрезали живот. Когда разрезали брюшину, случилось необычайное даже в их практике — хлынул колоссальный фонтан

гноя, обрызгал профессора и всех ассистентов. Профессор крикнул:

— Помпу!

Сестра говорит:

— Николай Сергеевич, такого случая не было, мы помпу не подготовили.

Тогда он выругал всех отборным матом, разрезал рану больше и стал выгребать гной руками. Мне было до того больно, но я не издал ни одного крика. Видно, потому, что, получив срок 25 лет, я решил, что жизнь все равно пропала, и стал наркоманом (кололся пантопоном и другой дрянью, курил гашиш), наркоз меня не брал. Я ужасно потел. Пот капал, и даже не капал, а лился ручьем, — сестры удивлялись. А профессор вытащил из разреза часть кишок и все говорит:

— Где же он, да где он?

В конце концов нашел отросток под мочевым пузырем, что-то сделал и запихал кишки обратно. Я говорю:

— Профессор, вы хоть разложите их как надо.

Он отвечает:

— Ты еще живой? Они найдут свое место, не беспокойся. — И сказал ассистентам: — Зашивайте.

Похлопал меня по щеке:

— Не волнуйся, артист, будешь жить, — и ушел.

Ассистенты сделали все, что надо, и меня перенесли в палату.

Всем известно, что швы снимают на седьмой день. Всех из нашей палаты, в том числе и меня, повели в баню на пятый день, а до бани около километра. В бане, как я ни остерегался, наклейка намокла, отскочила, и вода попала в рану.

Нас повели обратно в больницу, где помощник профессора осмотрел мою рану — верхний шов

разошелся. Выругал всех, кого надо, рану промыл и сказал:

— Надо зашивать живьем, без наркоза.

Я отказался. Врач сказал, что шов будет некрасивый, и меня отнесли в палату. Несколько раз навещал меня профессор, спрашивая о моем состоянии. Я не жаловался, чувствовал себя сносно. Через несколько дней меня выписали. Профессор Минин уже отсидел свой срок и был вольнонаемным.

Меня после того, как выписали, отправили в лагерь, но уже не тот, где были артисты, а в другой. В этом лагере больше моей фамилии не существовало — ее заменил 3-1-290, который был на майке, на спине ватника, на колене брюк, на рукаве и на шапке. Нас самолетом отправили на север Колымы, в поселок Сеймчан. Там был Сеймчанский горнорудный комбинат, но нас повезли на машинах дальше, на рудник Каньон.

Привезли и посадили всех напротив ворот зоны. Лагерь был огорожен с трех сторон, четвертой была скала. Открылись ворота, и стали выводить заключенных на работу. Сложилось впечатление, что все они были обсыпаны мукой, но это оказалась рудная пыль. Их повели на работу, а нас в зону и стали размещать по баракам. Я попал в палаточный барак. Потом повели нас в столовую; обед состоял из баланды на первое, на второе — каша и кусок мяса из морского зверя (мясо морского зверя черное, как уголь, а органы как у человека). Рядом с раздачей стояла бочка, наполненная водой с хвоей — эту воду надо было пить, чтобы не заболеть цингой. На другой день распределили нас по бригадам и повели на работу на рудники, куда надо было подниматься высоко в горы пешком.

Нас завели в штольни, там были отбойные молотки, кирки, лопаты. Заставляли добывать руду. Так я проработал два года.

Однажды ночью случился снежный обвал, и на один из барakov, тот, в котором четвертой стеной была скала, обрушилась лавина снега — прямо на спящих людей. Барак разрушился до основания. Надо было спасать людей — они до того были впрессованы в снег, что их выдалбливали ломami и кирками. Тех, кто остался жив, оттирали спиртом и отправляли в санчасть. Многие были мертвы.

Однажды мы, выходя на развод, увидели двух мертвых эков — они лежали около ворот для того, чтобы все видели. Побегии на Колыме были редки: если вохра не поймает, то в тайге все равно задержат и съедят медведи. Бывали случаи, что бежали трое — одного брали на съедение.

Я познакомился с человеком, который работал на обогатительной фабрике; тот уговорил меня перейти к нему работать (он готовил себе замену — должен был освободиться). Переговорил с начальством, и мне разрешили работать на фабрике. Я быстро освоил все процессы, кроме одной флотации — там должен был работать специалист. Мой товарищ освободился, и я стал бригадиром.

Примерно через полгода меня вызвало лагерное начальство, и впервые назвали мою фамилию:

— Ну, Копылов, тебя, наверное, освободят. Москва вызывает. Готовься, завтра вылетаешь.

## **Глава 9**

### **Этап длиною в год**

Я обрадовался, верю и не верю. Срезали номера, на другой день меня и еще двоих повезли на машине в Верхний Сеймчан. Посадили в самолет на пол и заковали в наручники, расставили ноги в стороны, посадили другого, третьего и т. д. Встать было нельзя. У меня наручники автоматические — при любом движении они сжимались еще сильнее. Я терпел, но боль сделалась невыносимой. Я обратился к конвою, сказал, что у меня автоматические наручники. Конвой расслабил наручники, и мне стало легче.

Так мы прилетели в Хабаровск, где нас перевезли в тюрьму. Там я просидел дней десять, потом мы поехали поездом до Иркутска. В Иркутске просидел в тюрьме месяц. Потом повезли в товарных вагонах до Челябинска. В вагоне заключенные лежали на полу и на нарах. На каждой остановке конвой бил молотками по стенкам вагонов, как будто по нашим головам. У них для этого были молотки с красной ручкой. В вагоне нас не кормили. Открывали дверь вагона, перегоняли всех на одну сторону и велели по одному переходить на другую — таким образом нас считали, чтобы знать, не удрал ли кто. Потом закрывали дверь, и мы ехали дальше. Так продолжалось во время всего пути следования. В Челябинске я просидел тоже месяц. Из Челябинска нас привезли в Куйбышев. В Куйбышеве я просидел примерно столько же. Из Куйбышева нас направили в харьковскую тюрьму.

Нас водили на прогулку. Мне удалось через забор перебросить записку родителям. Эту записку честные милые люди отправили моим родителям. Вскоре приезжает мой отец, привозит передачу и просит

свидания со мной. Передачу не приняли, а свидание не разрешили. Он обращался несколько раз к начальству, но получил отказ. Отец ночевал эти дни в сквере на скамейке.

В харьковской тюрьме я пробыл месяц, после чего меня повезли не в Москву, а в Херсон. Почему в Херсон? В Херсоне я никогда не был. Посадили в херсонскую тюрьму; там все обрадовались, говорили, Копылова долго искали, но привезли. Меня вызвали к начальству, спросили фамилию, имя, отчество, статью — оказывается, привезли не того Копылова. «Тот» Копылов был тоже Н.Р., но статья другая. Удивительно — «вы не тот Копылов, который нам нужен»!

Я просидел в херсонской тюрьме, ожидая этапа. Меня отправили на Воркуту. Сколько мы ехали, не могу сказать, останавливались у каждого столба. Наконец прибыли в Воркуту. Поместили нас в пересыльный лагерь. Это было 22 мая 1951 года. С Колымы я выехал 22 мая 1950 года — значит, в этапе я пробыл год.



## **Глава 10**

### **На Воркуте. Работа в шахте и организация самодеятельности**

На Воркуте мне переменили номера: вместо 3-1-290 у меня стал 1М678. На Колыме лагерь назывался Берлаг (Береговой лагерь), на Воркуте — Речлаг (Речной лагерь). Нас рассылали по всем шахтам, и я попал на шахту 9/10. Меня отослали сразу на 6-й горизонт, где я работал в лаве. Никогда не был шахтером, а вот пришлось. Пробыл я на 6-м горизонте до 1953 года, т. е. до смерти Сталина. На шахтах начались забастовки, о которых много писал А. И. Солженицын. Лучше Солженицына написать невозможно.

Я забыл упомянуть о том, что везде во всех лагерях бараки закрывались на ночь на замок. Разрешили организовать самодеятельность. Стал я ходить по баракам, искать артистов. В одном из бараков обнаружил актера Московского театра им. Ермоловой Юрия Волкова, в другом — артиста Львовского театра им. Заньковецкой Бориса Мируса, главного режиссера Рижского театра оперетты Вольдемара Пуце и многих других талантливых людей. Среди них были аккордеонист Александр Селедневский и саксофонист Василий Бендер. С последним (он работал тоже в шахте) однажды произошел несчастный случай — клеть оборвалась, и он полетел вниз. Нейрохирург Тульчинский, тоже кремлевский врач, буквально по кусочкам собрал его.

Так я организовал кружок художественной самодеятельности, в котором также принял участие Глеб Затворницкий, профессор. Бендер создал эстрадный оркестр; Борис Мирус, Затворницкий, Волков

и я организовали драматический кружок; потом пришел к нам клоун Московского цирка Юрий Белинский.

Как ни тяжело было работать в шахте, мы подготовили первый эстрадный концерт и выступили в столовой перед шахтерами. Успех был полный, некоторые плакали — ведь в лагере не было даже кино. Позже я поставил спектакль по Сухово-Кобылину «Свадьба Кречинского», «Лес» Островского. Женские роли исполняли мужчины. Я был художественным руководителем этого творческого коллектива, шахтное начальство было довольным и даже решило облегчить мне жизнь — послало меня работать на поверхность.

Я устроился в библиотеку, но не прошло и пяти дней, как Особый отдел направил меня снова в шахту, на 6-й горизонт. Шахтное начальство поставило меня работать на 2-й горизонт в насосную, где я должен был откачивать шахтную воду на поверхность. Особый отдел поинтересовался, где работает Копылов, начальник шахты ответил:

— На шестом горизонте.

— Вот там ему и место, — сказал представитель Особого отдела.

Когда я работал на 6-м горизонте в лаве, добывая уголь, произошел несчастный случай: нашему товарищу (музыканту) оторвало обе руки. Мы ему сочувствовали и ужасно переживали вместе с ним его горе. Я написал стихи об этом парне, чтобы как-то выразить свое участие:

Небо в черных тучах звезды прячет,  
Наступает страшная метель,  
А в бараке кто-то тихо плачет,  
Плачет, наклонившись на постель.  
Успокойте парня-арестанта,  
Помогите, чтоб он не стонал, —  
Он ведь был хорошим музыкантом,

На гармошке хорошо играл.  
Горя и муки много парень испытал —  
Обе руки он на шахте потерял.  
И всю ночь он плакал на постели,  
Вспоминая край родной и дом,  
А за стенкой под гармошку пели  
Тихо вальс «В лесу прифронтовом».  
Звуки его сердце разрывали,  
По стене раздался резкий стук —  
Попросил, гармошку чтоб подали,  
Несмотря на то что был без рук.  
Руки вы, руки, о, если б знали вы сейчас,  
Эти звуки я не сделаю без вас.  
Попросил он парня-музыканта,  
Чтоб сыграл он вальс «Осенний сон», —  
Как устало сердце арестанта,  
И раздался тихий жалкий стон.  
Милая, любимая, родная,  
Дважды я наказанный судьбой,  
Значит, видно, видно, дорогая,  
Больше нам не встретиться с тобой.  
Мамочка, мама, посмотри на мой портрет,  
Знай ты, мама, обеих рук у сына нет.

После смерти Сталина режим ослаб, мы оторвали номера, бараки перестали запирасть. И нам разрешили создать смешанную культбригаду.

Однажды на шахту 9/10 явился генерал Деревянко, сказал, что организуется мужская культбригада. Первый подошел к нему я, он меня узнал:

— Это ты на балалайке играл? Тебя я знаю, проходи.

Следующим подошел Волков, представился как артист Камерного театра, ну и т. д.

Нас, отобранных, отправили на шахту 6. Войдя в клуб, слышали увертюру к оперетте «Сильва» — ее

исполнял оркестр, руководимый замечательным дирижером, пианистом Нокиревым. Нам показалось, что мы на свободе, — звучала божественная музыка, которой мы были лишены много лет.

Такой же отбор сделали в женских лагерях. Нас перевели на шахту 3, где обосновалась общая культбригада. Возглавил ее Виктор Лавров. Нас всех расконвоировали. Мы давали концерты по всем лагерям. В этой культбригаде я познакомился со своей будущей женой, Викторией Видеман, с которой прожил всю жизнь.

Однажды мы давали на 5-й шахте концерт с Юрием Волковым и на обратной дороге по ошибке вылезли не там, где надо. Была страшная пурга, в двух шагах ничего не было видно. Мы сели, чтобы отдохнуть, и стали засыпать. Чувствую, замерзаем. Вспомнили, что у нас есть чекушка, выпили и большим усилием воли заставили себя идти. Много раз мы падали, сбивались с пути. К утру пурга начала стихать. Было уже почти светло, когда мы, обледенелые, подошли к вахте. Вахтеры были бесконечно рады нашему возвращению (они ведь отвечали за каждого из нас — мы должны были быть в зоне в определенное время). Чуть нас не расцеловали. В зоне нас повели в барак, оттирали снегом, — словом, привели в чувство.

Продолжалась обычная культбригадовская жизнь. В 1954 году освободилась моя жена, она устроилась в Воркутинский драматический театр актрисой. Жила у знакомых. Мы виделись реже: у нее были свои гастроли, у меня — свои. Однажды я шел домой, в лагерь 3-й шахты, и надо было пройти пространство перед лагерем 4-й шахты. В это время на 4-й шахте был развод. Конвой выстраивался с двух сторон, а в середине проходили шахтеры. Я, чтобы не обходить конвой, прошел прямо через строй на свою шахту. Меня остановили конвоиры:

— Стой! Куда идешь, кто ты такой?

Я говорю:

— Я вольный человек.

— Предъяви паспорт.

Я говорю:

— Паспорт предъявляю только милиции, а не вам.

Шахтеры кричат:

— Это же наш артист, не троньте его!

И я пошел дальше, часовой за мной. Думаю, куда же мне идти дальше — надо возвращаться. Шахтеры подняли колоссальный шум, требовали отпустить меня, грозились не пойти в шахту. Конвой, очевидно, испугался и разрешил мне идти в свою проходную, так как она была рядом. На своей вахте вахтеры не сказали мне ни слова (времена-то не сталинские), и я спокойно прошел в свой барак. Шахтеры из 4-й шахты перелезли через забор, пришли в мой барак, нашли меня и спросили:

— Они тебе ничего не сделали? Не били, не грозили, опер не вызывал?

— Успокойтесь, — говорю я, — все в порядке, ребята.

И шахтеры пошли на работу.

Скоро вышел Указ Верховного Совета СССР об амнистии, и мне сняли полсрока. Мы с культбригадой продолжали давать концерты по шахтам.

Моя жена тяжело заболела, ее положили в больницу на операцию. Когда вышла, была очень слаба. В это время на Воркуте заседала комиссия по пересмотру дел на предмет освобождения. Была очень большая очередь. Я написал заявление, моя жена снесла его в комиссию, чтобы мое заявление пропустили без очереди. Они пошли нам навстречу. Меня вызвали, допросили, сказали: «Ждите». Жена стояла под окнами, молилась и нервничала.

Дежурный офицер, проходя мимо меня, шепнул:

— Готовьте чемодан, вы освобождены.

## **Глава 11**

### **Свободен!**

Буквально через несколько дней на 5-й шахте мне выдали паспорт. Ура! Я свободен и поеду домой! Мне выдали деньги на билет до Мелитополя. Я сел в поезд один, без конвоя — впервые за долгие годы.

Жена в это время заканчивала театральный сезон. Что ожидало нас впереди, я не знал, но я был молод и полон оптимизма. Я остался в Мелитополе, так как родители тяжело болели. Работал худруком, режиссером, организовал вокально-инструментальное трио, которое прогремело на весь Союз. Был в Польше, дальше не пустили: был невыездной.

В Мелитополе за мной тоже следили и таскали по Особым отделам — они не могли иначе, наши органы безопасности.

Добавлю немного о своей жене. Она, конечно же, приехала ко мне после гастролей. Мы с моим папой встречали ее. И вот подходит поезд, в окне я вижу ее милое лицо, мы улыбаемся друг другу, и я верю: что бы ни ждало нас впереди — мы не расстанемся больше, мы дойдем до конца вдвоем, мы будем счастливы!

Я завершил краткое описание своих страданий, унижений, мучений. Итак, я побывал в десяти тюрьмах и двенадцати лагерях. Мне жаль жизни, которая, по сути дела, прошла зря.

Вечная память узникам ГУЛАГа, памятником которым служит только Соловецкий камень в Москве, и все!

**В. В. Горшков**

## **Мне подарили мою жизнь**

*Это был не самый страшный эпизод, когда председатель Военного трибунала города Москвы читал приговор, а у меня легкой дрожью тряслись колени.*

*— Учитывая несовершеннолетний возраст преступника...*

*Я слышал это как будто издалека, как-то приглушенно, вовсе не догадываясь, что это касается меня, сосредоточившись на том, чтобы вот они, эти трое из трибунала, и этот, слева, прокурор Дорон, только что требовавший для меня расстрела, не догадались, что мне страшно.*

*— Десять...*

*Это не роковое, это волшебное число. Дрожь в коленях прекратилась мгновенно, будто оборвалась. Мне подарили мою жизнь. Потом, на пути через семь лагерей и лагерных пунктов, смерть воспринималась более хладнокровно, вплоть до безразличия.*

*Давно минули те годы. Мне повезло, я остался жив. О том, что все кончилось безвозвратно, я понял 5 марта 1953 года. Но что-то осталось на всю жизнь, как послеоперационный рубец, как неправильно сросшаяся кость. Осталась неполноценность, та же, что вынуждает калеку чувствовать себя одиноким среди здоровых людей.*



## **Глава 1**

### **«Казенный дом»**

Все началось с туза пик. Он упал острием вниз, будто укол в сердце.

— Удар!

Потом пошли «казенный дом», «казенные разговоры», «дальняя дорога». Ни мать, ни я всерьез не верили в гадания, которыми она чередовала раскладку пасьянсов в досужее время. Но какой-то тревожный осадок остался.

— В армию тебя возьмут, — заключила мать.

Если бы действительно.

Постучались ночью, часа в два. Я еще не спал, только что отложил книгу. «Не паспорта ли проверять?» — подумал я не без тревоги. Уже чуть не год, как мне исполнилось шестнадцать — возрастной ценз на получение документа, удостоверяющего личность.

Мать пошла отворять. Вошли четверо. Впереди офицер в шинели и в фуражке с голубым верхом. Спросил грубо:

— Фамилия? Имя? — И тут же: — Вставай, одевайся.

Уже знают, что у меня нет паспорта. Сколько раз собирался...

Офицер сунул мне маленькую желтоватую бумажку. Я прочел: «Ордер на обыск и арест». Короткая спазма перехватила горло. Я не удивился.

Рылись всю ночь. Я догадался, что они ищут, и радовался: еще совсем недавно приходил Родька Денисов и взял почитать журналы, как раз последние четыре номера.

Обыск закончился грабежом. Кроме моих рукописей и писем забрали коллекцию марок, старинные книги, фотоаппараты, бинокль — из чего не все, как

выяснилось много лет спустя, оказалось занесенным в протокол.

Снег растаял. Накрапывал дождь. Под ногами было сыро и скользко. Один из сопровождавших уронил фотоаппарат. Я видел, как он покатился по льду, и мне стало жаль: не разбился ли? Я еще не понимал, что вся моя жизнь разбилась вдребезги.

Остаток ночи я провел на жестком диване в здании, соседнем с милицией. Не спалось. Страха не было. Думал, дня три продержат и выпустят. Потом таскали по кабинетам, снимали допросы, все по очереди: Ногтев, что руководил моим арестом, начальник городского отдела майор Лукьянов и еще кто-то, противный, с корявой рожей, что пришел последним на мой арест.

— Не догадываешься, за что арестовали?

— Нет.

Смотрели и говорили серьезно, будто поймали матерого. Но иногда мелькало недоумение: уж очень мелка оказалась рыбешка. Дали даже поесть щей с хлебом. Аппетита, как и сна, не было.

На следующее утро на меня надели тулуп и посадили в машину «эмка». Выехали рано, совсем темно. Снегу намело — не видать дороги. Рядом со мной на заднем сиденье оказалась Сутормина, знакомая женщина, кажется, буфетчица из приютившего меня заведения.

— Передайте маме, — тихо шепнул я ей, чтобы не слышал сидящий с шофером Лукьянов, — что меня отправили в Горький.

Конечно, просьба не была выполнена. Видимо, это считалось разглашением государственной тайны и строго каралось.

Где-то под Горьким слетели на повороте в задутый кювет, перевернулись. Невдалеке, распахивая снег, по полю шел танк. На дороге стоял второй. Около него

толпился взвод солдат: занимались танкисты. По просьбе Лукьянова солдаты подошли, на руках вынесли нашу «эмку» на дорогу.

Замелькали домишки Мызы, бараки Ворошиловского поселка. Все заспанное, скучное, в снегу. Остановились у большого красивого здания на Воробьевке. Я и раньше знал про этот дом и про его репутацию. Но сейчас мое предубеждение к тем, кто в нем работал, теснило любопытство — было интересно заглянуть в логово наших опричников, тем более что я не рассчитывал злоупотреблять их гостеприимством.

Меня оставили в каком-то проходном кабинете, и казалось, что весь день на меня никто не обращал внимания и я никому не был нужен. Входили, выходили люди в форме, в штатском. Все были заняты своими делами, ни в ком я не вызывал любопытства. Только раз какой-то штатский, взяв из кучи доставленных со мной «трофеев» ящичный фотоаппарат, спросил:

— Что это, передатчик?

И уставился на меня долгим, но пустым, ничего не выражающим взглядом. Я ничего не ответил, а про себя подумал: «В госбезопасности, а дурак».

Нашелся кто-то сердобольный, догадавшийся во второй половине дня, видимо подобрев после обеда, что меня тоже не грех покормить. В соседнем кабинетике передо мной поставили тарелку с биточком и тушеной капустой. Так как с начала войны я не знал иных разносолов, кроме куска черного хлеба и крахмальной лепешки, то тут же отметил про себя, что на таких харчах здесь жить можно.

Короткий зимний день кончался, и я, не видя нигде дивана, уже начал беспокоиться, на чем буду спать, когда услышал, как кто-то сказал, видимо, в трубку:

— Заберите в тюрьму арестованного.

Я не сразу понял, о каком арестованном идет речь, но тут же подозрение пало на себя: «Зачем же? Я могу и

в кабинете...»

Но пришли все-таки за мной. В конце длинного коридора вполне респектабельная, обитая черной клеенкой дверь. Рядом кнопка звонка. За черной дверью оказалась вторая, из толстых стальных прутьев. Крутая лестница уходила куда-то в преисподнюю, откуда потянуло холодом и тоской. Глубоко внизу, будто в трюме, скупо мерцал свет. Неужели туда?

Первое впечатление о тюрьме явно складывалось не в ее пользу. Я сообразил, что ночевать в ней мне придется, видимо, не одну ночь. Это опасение в дальнейшем с лихвой оправдалось.

В подвал мне не пришлось сойти. На площадке, делившей лестницу на два марша, оказалась обитая железом дверь с разными приспособлениями (как выяснилось в дальнейшем, с дверцей раздаточного окна, глазком с круглым щиточком для подглядывания за арестантом и огромным, больше пригодным для крепостных ворот, накладным замком).

Раздался ни на что не похожий, несоразмерный по своей мощи полумраку и узкой лестнице грохот. Это встретивший меня надзиратель отпер замок. Тяжелая дверь разомкнула мрачный зев. Надзиратель молча, легким кивком головы дал понять, что тюремная пасть распахнулась, чтобы поглотить меня.

Одиночная камера невелика, чуть больше метра в ширину. Прямо напротив двери простая железная койка, устланная потемневшими от времени досками — нестругаными, но отполированными до шелковистости в результате многолетнего ерзания на них арестантов. Рядом с койкой слева такая же замызганная тумбочка. Справа ржавый бачок ведер на пять-шесть с крышкой, приподняв которую я понял его назначение по острой клозетной вони, ударившей в нос. Между всей этой меблировкой — свободное пространство, можно ходить три шага туда, три — обратно. Над койкой большое

окно с решеткой — надежной, как у клетки для хищника. Снаружи окно закрыто железным козырьком, раструбом уходящим вверх, благодаря чему можно видеть клочок свободного неба.

Несмотря на оказанное мне гостеприимство, эти двое суток я почти не спал и поэтому, едва ознакомившись с интерьером нового жилища, почувствовал, что пришло время выспаться. Как был в пальто и в шапке, я повалился на голые доски, по причине моих аскетических привычек посчитав это ложе вполне приемлемым. Но заснуть сразу не удалось, прежде всего из-за дикого холода в камере. Согнувшись, как говорят, в тридцать три погибели и стараясь еще согнуть себя в тридцать четвертую, дабы извлечь из своего тела лишнюю толику тепла, мысленно я проклинал устроителей предоставленного мне комфорта, крутясь, как принцесса на горошине.

Но возроптал я, оказывается, всуе. Не успел сон побороть холод, как снова взгрохотал замок, и я вновь убедился в гуманном ко мне отношении: у двери в камеру любезно были брошены тюфяк, какое-то подобие подушки и одеяло. Все это затасканное, мрачно-шинельного цвета, но без признаков каких-либо насекомых. Раскладывая постель, я понял, что в тюрьме все, что не во вред тебе, надо почитать за благо. Уже сквозь дрему я услышал звонок и, догадавшись, что это отбой, согревшись наконец, впервые уснул на тюремной койке.

И все-таки тюремный ночлег отличается от гостиничного некоторыми особенностями. Во-первых, в камере всю ночь горит неяркий, но без привычки надоедливый свет. Во-вторых, какое бы положение ты во сне ни занимал, нельзя закрывать голову и руки — надзиратель постоянно должен их видеть. Первое время это довольно ощутимое неудобство, особенно когда остриженная наголо голова очень чувствительно

относится к собачьему холоду. Правда, все это ощущаешь лишь до тех пор, пока постоянные допросы не доведут до состояния, когда сможешь беспробудно спать даже перед театральными прожекторами и под залпами ста двадцати четырех орудий.

Дальнейшее знакомство с «казенным домом» происходило на следующее утро. Я не слышал звонка. Хлопнула дверца окошка, и надзиратель приветствовал: — Подъем!

Тут же я узнал, что постель полагается скатывать, дабы не нежиться весь день на казенном тюфяке.

В тюрьме чувствовалось некоторое оживление. По всем этажам, стреляя, перекликались замки, угадывалось хождение, иногда долетали неясные слова надзирателей.

Загрохотал замок и моей камеры. Дверь отворилась. — На opravку.

Я сделал шаг из камеры.

— Возьми...

Я не понял, что нужно взять. Мне показалось, что фуражку, и я удивился, почему мою теплую шапку называли фуражкой.

— Вон, — надзиратель указал на бачок в углу, — парашу.

То ли у Чехова в рассказе «Сахалин», то ли у Достоевского я встречал это слово и понял наконец, что от меня требуется. Обняв обеими руками поганую посудину, неизвестно по какой ассоциации получившую женское имя, воспетое Пушкиным, я понес ее перед собой осторожно, как пасхальный кулич, стараясь сдерживать дыхание.

После завтрака, состоящего из суточного хлебного пайка и кружки несладкого чая, который я использовал только как грелку для рук и носа, у меня оказалось свободное время. Имея задатки интеллигентного человека, я решил почитать и развернул захваченную

из дома газетку. Однако культурное времяпрепровождение оказалось нарушенным. Замигал «волчок» в двери, потом с грохотом (в этой тюрьме все было построено на звуковых эффектах) откинулась дверца окошка, и надзиратель ровно, невозмутимо изрек:

— Читать не разрешается, — и протянул руку за газетой.

Я не особо расстроился, так как имел в запасе другую газету, в чтение которой тут же и углубился. Но опять мигание «волчка», грохот дверцы окошка, то же монотонное «читать нельзя», и вторую газетку постигла та же участь. После этого мне пришлось сменить занятие. И стал насвистывать мелодию балакиревской польки. Результат оказался тот же:

— Свистеть не разрешается.

На некоторое время мной овладело чувство растерянности, я как бы оказался безоружным против ничегонеделания. Но замешательство было недолгим. Меня привлекли звуки радиомузыки, доносившиеся через окно. Подгоняемый любопытством и естественной потребностью к деятельности, долго не размышляя, я полез вверх по кованой оконной решетке — воспетой в веках святая святых всех нью-гетов и бастилий в надежде поверх козырька взглянуть на белый свет и установить источник бесовского наваждения, отвлекшего меня от тюремного смирения и покаяния. Мне уже удалось установить, что окно моей кельи выходит в сторону стадиона «Динамо», где был установлен веселый динамик, когда я снова услышал позади себя повелительно-поучающее:

— На окно лазить нельзя.

С большой неохотой я расставался с тюремной решеткой, за которой на какой-то миг снова увидел уголок жизни, еще недавно обыденной для меня и не столь уж привлекательной по причине военных условий,

но которую теперь я воспринял как нечто потустороннее, волшебное, недостижимое: вчерашняя явь преобразилась в сегодняшнюю мечту.

Следующий аттракцион моей индивидуально-развлекательной программы был подсказан суровым микроклиматом обживаемого мною пространства. Чтобы разогреться, я занялся физкультурными упражнениями, проводя их в ускоренном темпе. Особенно эффективными оказались приемы бокса. Но и тут я опять услышал противный скрежет железа и все тот же нудный голос:

— Заниматься физкультурой нельзя.

— А чем же можно? — наконец не выдержал я.

И тут вдруг почувствовал страх, страх из-за того, что ничего нельзя, ничего не надо делать. А в каком же состоянии находиться? Ведь ко всему сказанному не разрешалось еще спать после подъема или хотя бы лежать — это можно было только в специально отведенный мертвый час после обеда. Весь день полагалось пребывать в состоянии пассивного бодрствования.

Температура в камере понижалась. Потеплевший было с утра радиатор, загороженный тумбочкой и спинкой кровати, остывал. Холод вынудил меня действовать. Я отодвинул тумбочку и забрался в узкий колодец, образовавшийся между нею, стеной, кроватью и радиатором, прижавшись к последнему, дабы почувствовать его тепло, слабое, как дыхание умирающего. Я слышал, как нервно защелкал глазок в двери: раз, другой. Наконец знакомо прогромыхали запоры.

— Ты где? — услышал я беспокойный голос надзирателя.

— Здесь, греюсь.

— Вылазь. Нельзя. Надо, чтобы тебя видно было.



Пришлось вылезать, ставить на место тумбочку, и на этом мои выдумки иссякли.

Однако растерянность моя от избытка абсолютного отдыха длилась недолго. Я сообразил, что в моем арсенале большой запас умственных занятий и думать мне не запретят, хотя и прилагают к этому всесторонние усилия. Первой моей умственной гимнастикой была школьная игра в названия городов, из которых каждое последующее начинается с последней буквы предшествующего. Когда она надоела, я просто стал вспоминать города мира с названиями на каждую букву алфавита. К тому же скоротать время первого тюремного дня мне помогли и мои опекуны. Видимо, старший из них, узнав о моем таком крамольном занятии, как чтение газет, догадался, что его подчиненные допустили оплошность. Я даже услышал сквозь дверь:

— Разве его не обыскивали?

И меня вывели из камеры для учинения шмона — процедуры, как выяснилось, столь же необходимой, как прогулка с парашей. Тщательно ощупали меня самого, мои тряпки, вывернули все карманы, а заодно забрали у меня брючный ремень, выдернули шнурки из ботинок, обрезали все металлические пуговицы, пряжки. Особенно пострадали брюки. В камеру я возвращался обескураженный неразрешимой проблемой: как одновременно нести обеими руками парашу и держать штаны.

Конструирование брючной сбруи заняло у меня время, оставшееся до обеда.

Все под тот же грохот замков, что, как оказалось, являло собой отличительную черту только тюрьмы на Воробьевке и в дальнейшем вызывало сокращение сердечных мышц и ускоряло дыхание, получил я первый настоящий тюремный обед. В металлической миске мне подали горячее хлебово с запахом плохо обработанной

требухи, состоящее из воды и нечищеного, крупно порезанного картофеля. Годы войны отучили меня от деликатесов, но это блюдо мне не понравилось. Я похлебал немного бульон с хлебом, который у меня еще оставался, и решил подождать, что дадут на второе. На биточки я уже не надеялся. Но оказалось, что надеяться вообще больше не на что. Второе блюдо — овсяную кашу — я получил только к вечеру, на ужин.

В последующие дни я был более осмотрителен: вылавливал куски картошки, чистил их от кожуры и поедал вместе с вонючим бульоном. Вскоре, когда запасы домашнего хлеба иссякли, а тюремную кислую, сырую, наполовину все с той же нечищенной картошкой пайку я, как волкодав медовую коврижку, зараз проглатывал утром, все предрассудки отпали. Как голодный татарин ест запретную свинину, а русский за отсутствием говядины удивляется, почему он конину не считал за мясо, так и я с удовольствием чавкал, поглощая незамысловатое блюдо тюремной кулинарии, припомнив школьную мудрость, что именно кожа корнеплодов особенно богата витаминами и необходимыми организму микроэлементами.

## Глава 2

### Следствие

Самое трудное в воспоминаниях о годах заключения — правдиво рассказать о начальном периоде, следствии, допросах.

Во-первых, почти через полстолетия невозможно вспомнить детально, как все происходило. А во-вторых, осталось чувство вины, что вел себя недостойно, малодушно, может быть, даже подло.

Что это было: страх, растерянность, безволие, низость натуры? Меня не били, не пытали, если не считать пыткой лишение сна. Возраст, неопытность? Нет, прежде всего трусость, боязнь даже неизвестно чего. До ареста я закалялся физически: приучал себя к холоду, к неудобствам. Обливался холодной водой, купался до глубокой осени, спал почти на голых досках, легко одевался в зимнее время, что в дальнейшем мне помогло. Но морально я себя не подготовил, что продолжает терзать мою совесть по сей день.

Кто-то, кажется, горьковский писатель Кочин, сидевший какое-то время со мной в одной камере, сказал мне:

— Бесполезно сопротивляться, все равно будешь осужден.

Я рано понял это.

Далеко не сразу усвоил я технологию допросов. Как правило, после отбоя, едва я успевал сомкнуть глаза, гремел, вызывая содрогание, замок моей камеры. Входил надзиратель, толкал в плечо:

— На допрос! — и выходил, давая время одеться.

В сопровождении уже другого охранника я шел по лестнице, по коридору, согласно тюремному ритуалу держа руки сомкнутыми за спиной. Кабинет моего

следователя, капитана Евдокимова, находился на первом этаже, прогулка до него была непродолжительной, но впечатляющей. Неяркое освещение, какая-то особенная, настораживающая тишина, как будто даже стены смотрят, простреливая тебя насквозь.

Евдокимову лет тридцать пять. Он высокий, стройный. Ни облик, ни выражение лица не выдавали в нем ничего зверского, патологического, что неудивительно было бы для человека его профессии. На нем была еще старая форма — френч с широким отложным воротником со шпалой в петлице. Кабинет его небольшой, в одно окно, зашторенное белой занавеской, спиной к которому он и сидит за просторным письменным столом с телефоном. Поодаль перед столом одиноко стоит стул. Это для меня.

То поглядывая на меня, то раскладывая бумагу на столе, Евдокимов, видимо, изучал очередного клиента, и, как я заметил, не без некоторого удивления: уж очень щупленький сидел перед ним враг народа, одним ударом можно дух выпустить.

Первый допрос начался обычно:

— Фамилия, имя, отчество?

Все заносится на бумагу. Потом как-то сразу, хлопком:

— Ну, рассказывай о своей антисоветской деятельности.

Таращу на следователя глаза и, наверное, как поначалу все в моем положении, отвечаю:

— Я антисоветской деятельностью не занимался.

Хотя, как, вероятно, далеко не все, сидевшие на этом стуле, я прекрасно понимал, по какой причине нахожусь здесь и о чем пойдет речь.

Позднее, в лагерях, неоднократно приходилось слышать такое:

— Пятьдесят восьмая? Болтун. За анекдот, что ли, попал?

Семь, а то и все десять лет давали за рассказанный «антисоветский» анекдот. А встречались случаи и сами по себе анекдотические. Так, на 3-м ОЛПе Чистюньлага, по словам моего товарища, глухонемой старик сидел... «за связь с Гитлером». Слыша подобное, я сам себе казался государственным преступником.

А началось все так. Еще в 1941 году мой друг и сосед Вовка Виноградов принес рукописный журнал «Дружба», красочно и умело оформленный, начиненный стихотворениями и эпиграммами. Его выпускали Вовкины одноклассники, которые были старше меня на два года. Предвидя скорую разлуку со школой, они хотели передать журнал тому, кто младше по возрасту.

— Продолжать будем? — предложил Вовка.

Я не согласился:

— Лучше свой придумать.

И стали выпускать свой журнал — «Налим».

Потом, на следствии, Евдокимов спрашивал меня:

— Почему журналу дали такое название? Скользкий, не попадется?

Все было проще. Журнал предполагалось сделать юмористическим: мы увлекались рассказами Зощенко. А в кинотеатре тогда только что прошел фильм — экранизация рассказов Чехова (в том числе рассказа «Налим»). По какой-то ассоциации мне и показалось, что такое название подходит нашему журналу.

Три первых номера «Налима» соответствовали задуманному направлению, но с четвертого, когда Виноградов был уже в армии, а мне удалось довести актив журнала до восьми — десяти человек (школьников старших классов), тон его резко изменился. Это отразилось даже на внешнем оформлении журнала. Вместо красивых виньеток на его обложке появился черный силуэт Некрасова и эпиграф:

«Мало слез, да горя реченька, горя реченька бездонная». Позднее предполагалось добавить еще силуэты Радищева и Герцена. Соответственно изменилось и содержание публикаций.

В последнем, седьмом номере, оставшемся незаконченным, была помещена моя поэма с предлинным названием: «Разговор на одной из московских улиц вечером 23 августа 1943 года». Хотя поэма занимала одиннадцать страниц, я написал ее за один день, начав в 7 утра 24 августа и закончив уже при электрическом освещении. Содержание ее связано с произведенным накануне в Москве салютом в честь освобождения от немецких захватчиков города Харькова, но смысл сводился к осуждению бездарного руководства нашей армии, что было очевидно уже в самом начале военных действий и явилось следствием отсутствия в нашей стране демократии, свободы слова и печати. Даже некоторых выдержек из нее, выявленных военной цензурой в моих письмах, оказалось достаточно, чтобы испортить жизнь мне и двум моим товарищам.

Я понимал, как опасна наша затея, но считал сам и убеждал в этом других авторов журнала, что, пока мы несовершеннолетние, нам бояться нечего, в крайнем случае отделаемся испугом.

Я ошибся.

— Так как же, — спрашивал Евдокимов, — будем рассказывать о своей деятельности против советской власти?

А как можно рассказывать о том, чего не было и нет? Воспитанный при советской власти, я считал, да и сейчас не отвергаю, что власть советская — власть справедливая. Но это не значит, что отдельные личности, забравшие ее, а не получившие по доверию народа в свои руки, должны быть безоговорочно поддерживаемы и тем более что их действия нельзя

подвергать обсуждению. Свобода слова, свобода печати — вот гарант сохранения справедливости.

— Я не против советской власти, — отвечал я своему следователю совершенно откровенно, — но я не одобряю деятельность отдельных ее представителей.

— Но ведь эти представители и есть советская власть, — возражает Евдокимов.

Получался замкнутый круг: человек, стоящий у власти, — это и есть сама законная власть, и осуждение этого человека есть недовольство существующим политическим строем, что является государственным преступлением. Также и свобода слова. Ее никого не лишают, но только если ты ее не используешь во вред советской власти. Если ты делаешь замечание, с чем-то не согласен — значит, ты агитируешь против советской, народной власти, значит, ты преступник, враг народа.

Вот в таком примерно духе проходили разговоры с Евдокимовым, из которых следовало, что я ни о чем не должен был рассуждать, потому что даже самые лучшие мои устремления, пожелания — это уже недозволенная критика в адрес идеальной власти, то есть антисоветская агитация. Исходя из такого постулата, оставалось только признать, что все, что я говорил, писал, даже думал, является преступлением. Но оказалось, что мало признать себя преступником, надо еще раскрыть сообщников, и не только школьных товарищей, — главное, назвать взрослых, которые, предполагалось, нами руководили. И вот тут было самое сложное. Если бы даже меня медленно убивали, я не смог бы назвать ни одного взрослого: их не было.

Допросы ужесточались. После отбоя, едва только я успевал юркнуть в ледяную постель и немного согреть ее своим телом, гремел замок. И снова:

— На допрос!

С допроса я возвращался утром и быстро шмыгал в постель, чтобы хоть немного поспать. Но это не

удавалось. Как только я смыкал глаза, звонок за дверью оповещал подъем. Скатав постель и съев дневную пайку сырого соленого хлеба, я садился на голые доски, ежась от холода, не в силах разжать смыкающиеся веки. Но прилечь не разрешалось. Ключа носом, я ждал обеда, нет, не обеда, а часа после него, в который я имел право поспать. Но перед самым обедом слышалось:

— На допрос!

И я снова сидел перед Евдокимовым. Как всегда, он неторопливо доставал лист желтоватой линованной бумаги, брал ручку и...

— Так кто же тебе помогал в антисоветской деятельности?

В камеру я возвращался в сумерки. На тумбочке стояла холодная, как студень из погреба, баланда из картошки с кожурой. Бессознательно съедал ее и, одурев от бессонницы, ждал отбоя. Голова бессильно падала; видимо чувствуя, что свалюсь, я успевал в последний момент очнуться. Спать, спать... И наконец, этот желанный вечерний звонок. Я торопливо раскатываю тюфяк, раздевшись в жутком холоде, ныряю под одеяло. Спать!

Но не тут-то было. Через мгновенно одолевший меня сон слышу:

— На допрос!

И опять я на стуле перед своим капитаном, гляжу на него и удивляюсь, его жалеючи: как же он выдерживает?

А он ничего, достает из пакета копченую воблу, чистит ее, жует-смакует, не глядя на меня, как будто меня и нет. Тепло. Яркое освещение. Запах копченой рыбы выгоняет у меня слюну. Я стараюсь тайком сглатывать ее. С каждым глотком распяливаю сжимающиеся веки — глаза ест, до того хочется спать.

Евдокимов подсовывает лист бумаги:



— Проверь, распишись на каждой странице.

Проверить? Да разве это возможно? Да и что это даст? Не читая, я подписываю страницы, лишь бы поскорее вырваться в камеру, поспать.

Но все, видимо, рассчитано, все повторяется. Только в следующую ночь Евдокимов не ест воблу, а звонит по телефону. По тону его голоса, по подобию улыбки на лице угадываю, что он говорит с женщиной, с подружкой, как я думаю, работающей где-то тут, рядом, в доме на Воробьевке. Наверно, это любовь. Я прислушиваюсь к разговору и недоумеваю: «Разве они могут любить?»

Теперь на моем следователе новая форма. Вместо френча — ящерице-зеленая грубошерстная гимнастерка со стоячим воротником и ядовито-желтыми погонами. Он чувствует себя еще неловко в новом облачении, но доволен, любит себя собой.

Вскоре моя жизнь несколько разнообразилась: меня перевели в другую камеру, на самое дно тюрьмы. Камера большая, на две койки. Я ходил по ней, как по зале. И что удивительно: кроме параши в ней оказалась швабра. Для камеры с температурой зимнего погреба это обстоятельство было находкой. Я быстро сообразил, что если физкультурой заниматься нельзя, то полдраить воспрепятствовать не могут. И большую часть свободного от допросов времени я гарцевал по камере со шваброй в руках, не столько беспокоясь о блеске пола, сколько выделявая всевозможные па, способствующие поднятию температуры тела. Конечно, и тут нужно было соразмерять продолжительность и резвость плясок со шваброй и калорийность тюремного пайка.

Ежедневно мне предлагалась двадцатиминутная прогулка на свежем воздухе. От такого променажа я никогда не отказывался. Прогулочный дворик небольшой, кругом глухие кирпичные стены, но зато

над головой настоящее зимнее небо, с которого падали настоящие снежинки, и под ногами приятно хрустело в такт моим неторопливым шагам. Иногда через стены доносилась музыка (видимо, с расположенного рядом катка стадиона «Динамо»), напоминавшая о совершенно иной, как будто инопланетной жизни, от которой меня оторвали так давно, что я уже забыл, какая она.

Однажды, вернувшись с допроса, я обнаружил, что население камеры удвоилось. Это был мужчина много старше меня, заморенного вида, молчаливый, с диковатым или растерянным выражением глаз. Я только и узнал от него, что он солдат. Да и пробыли мы с ним вместе всего один вечер. Ночью меня вызвали на свидание с Евдокимовым, а на следующий день я оказался снова в другой камере.

На этот раз мне повезло. Камера, теперь на третьем этаже, оказалась теплой, по сравнению с предыдущими какой-то уютной и даже жилой. В ней мне предстал паренек, еще на два года моложе меня, по имени Колька — из соседнего с нашим Вачского района.

— За что ты попал? — спросил я его.

— Немецкие листовки расклеивал.

— Ну и дурак, — тут же я ему выпалил.

Хотя при обыске у меня самого была изъята немецкая листовка, одна из тех, что немцы сбрасывали над территорией оборонных работ, я ее никому не показывал и берег для послевоенного времени как исторический экспонат. Колька же поступил совсем глупо, и я его поступок не одобрил.

— А здесь, в тюрьме, Кочин находится, — сказал он мне, — писатель.

О Кочине я почти ничего не знал. Была у меня, правда, его книга «Кулибин» из серии «Жизнь замечательных людей», но я ее так и не прочел. Откуда Колька узнал про Кочина, я не спросил. Как и с

солдатом, мы пробыли вместе всего один день или два, и как в дальнейшем сложилась его судьба, мне неизвестно.

На этот раз меня перевели в соседнюю камеру, я бы сказал, в еще более «комфортабельную». Такое же, с решеткой и козырьком, окно против двери. По сторонам две железные койки со скатанными в валики постельными принадлежностями, обнажившими засаленные тусклые доски. Перед окном небольшой стол с кружкой на нем. От двери до стола свободное место длиной шага в четыре и шириной, достаточной, чтобы впритирку разойтись двоим. И в этом «коридоре» стоял человек. Невысокий, как и положено арестанту, стриженный наголо, в серых брюках и расстегнутой зеленоватой куртке-ковбойке. Лицо его, правильной овальной формы, с несколько грубоватыми чертами, с пробивающейся рыжеватой щетиной бороды, показалось мне далеко не интеллигентным, каким-то деревенским.

— Кочин, — назвал он себя.

Но я как-то не сразу, с заметной паузой сообразил, что передо мной известный горьковский писатель. Николай Иванович говорил очень тихо, о себе почти не рассказывал, был осторожен в движениях, часто задумчив, периодически довольно плотно, до глубоких морщин на переносице, сжимал веки. Как я понял, это у него выходило непроизвольно — он страдал тиком. Не знаю, была ли это его природная особенность, или следствие шока, вызванного арестом, или результат переживаний в связи с предстоящим со дня на день судом. Следствие над ним и его товарищами — писателем Патреевым, несколькими сотрудниками горьковского издательства и кем-то еще — было закончено, все они признали себя врагами народа, занимавшимися, как гласила 58-я статья Уголовного кодекса, «антисоветской агитацией, изготовлением и

хранением антисоветской литературы». Финал судилища по тем временам был непредсказуем.

Николаю Ивановичу исполнился сорок один год, но, несмотря на разницу лет более чем вдвое, между нами сразу установились дружественные отношения: тюрьма, как и дорога, сближает людей.

Он живо поинтересовался, кто я, откуда, за что попал на Воробьевку. Узнав, что я десятиклассник из Павлова, он с явным удовольствием вспомнил:

— Хороший городишко. Мне пришлось учительствовать там. Потом, помолчав, сожалея, видимо, о несбывшемся, добавил:

— Думал я книгу написать о Павлове, о павловских учителях.

— И, как бы встряхнувшись, снова обратился ко мне с вопросом:

— Ну, а ты-то, школьник, как попал сюда, чего наболтал?

— Да я не болтал, — ответил я ему, — я тоже писал. На лице его отразилось явное удивление. Он продолжал настойчиво расспрашивать, и я рассказал ему про журнал «Налим»: как он возник, как позднее вокруг него организовался кружок из старшеклассников, как от сочинительства безобидных юмористических рассказов мы перешли к пониманию, что в нашей стране царят произвол и беззаконие, и выдвинули своей задачей борьбу за подлинную свободу слова и печати.

Обхватив пятерней колючий подбородок, Николай Иванович надолго задумался, видимо оценивая весомость сказанных мною слов, и наконец спросил:

— Так как же вас замели, предал кто-то? Я был далек от этой мысли:

— Нет, сам виноват. Надеялся, что в нашем возрасте нам ничего не будет.

— А «Налимы» ваши забрали?

— Нет, — обрадовался я, — журналы у Родьки Денисова, товарища по школе. Он постарше меня, заходил незадолго до обыска, взял почитать. У него и остались.

Как-то вечером, после отбоя, когда мы раскатали по своим койкам грязные тюфяки, Николай Иванович попросил:

— Почитай что-нибудь из помещенного в вашем журнале. Мне было очень неловко читать настоящему писателю свои вирши, несовершенство которых я признавал, но, уступив его просьбе, я расхрабрился и полусшепотом, чтобы не слышал за дверью надзиратель, начал читать свою поэму. Николай Иванович слушал очень внимательно и, вопреки моим ожиданиям, вполне серьезно, а в отдельных местах улыбался и даже посмеивался, как мне показалось, вполне одобрительно.

Тюремная жизнь между тем шла своим чередом. Иногда во время допросов заходил начальник отдела. Он махал кулаками перед моим лицом и кричал:

— Умрешь, а отсюда не выйдешь.

И я верил ему. А Евдокимов время от времени заводил со мной задушевные разговоры.

— Вот видишь, — говорил он, — твои товарищи на свободе, учатся, работают, кое-кто уже в армии, Родину защищает. А ты вообразил из себя деятеля и, ничего не понимая, пошел против советской власти. Теперь испортил себе жизнь, а ведь мог быть порядочным человеком.

Трудно мне было разобраться, где тут искренность, где лицемерие, тем более что меня обвиняли в том, чего я вовсе не замышлял: мои патриотические чувства кощунственно извращались. Все так же одуревший от бессонницы, возвращался я ежедневно в камеру к холодной баланде. Невозможно охарактеризовать состояние человека после непрерывного

многосуточного бодрствования — в богатейшем русском языке нет подходящего слова.

Вот тут и спасал меня Николай Иванович. В дневное время он садился на мою койку со стороны двери, читая нарочно высоко поднятую книгу, я же, положив руки на колени, чтобы их видел надзиратель, прятался за ним, склонялся на скатанную постель и в момент засыпал. И хотя урывки такого сна измерялись считанными минутами, они помогали мне восстанавливать силы.

Однажды с допроса я пришел обескураженный — случайно следователь сделал это или преднамеренно, но я заметил, что на столе у него из-под бумаг торчит уголок обложки последнего номера журнала «Налим». Я рассказал об этом Кочину:

— Неужели Родьку тоже арестовали?

Но Николай Иванович вместо сочувствия рассмеялся, как никогда. Я недоумевал.

— Да этот Родька тебя и продал, — продолжая смеяться, высказал Николай Иванович свою догадку.

— Родька? Не может быть. Это такой человек, такой...

Я не мог сразу подобрать возвышенные слова для характеристики товарища.

— Мерзавец твой Родька, стукач.

Не верилось, но впоследствии, как ни больно, мне пришлось это признать. По совету Николая Ивановича на допросах я нарочно ссылался на разговоры с Родионом, на его положительный отзыв о нашем журнале, что действительно имело место, но имя его ни разу не было занесено в протоколы.

В тюрьме, как в тучах, бывают просветы. Одним из таких светлых пятен и осталась у меня в памяти встреча с Николаем Ивановичем, особенно наши игры в шахматы. Не помню, откуда взялись в нашей камере шахматы. После горьковской внутренней пришлось мне побывать еще в четырех тюрьмах, но нигде я не видел

никаких настольных игр. Вероятнее всего, они принадлежали лично Николаю Ивановичу. Он очень любил эту игру и был шахматистом-перворазрядником.

— Поиграем? — предложил он мне как-то в подходящий момент.

Мы расставили фигуры. А когда начали играть, он все подшучивал надо мной:

— Ай да Севка, ай да ну!

Каково же было его лицо, изумленное, даже, кажется, сконфуженное, когда я торжественно объявил:

— Мат!

Сыграли вторую партию — результат оказался тот же. И на этом мои победы закончились, больше я не выигрывал, даже когда Николай Иванович давал мне фору, снимая с доски предварительно слона или ладью. Даже обещанный мне приз не помогал.

Перед Новым годом мне исполнилось семнадцать лет. Николай Иванович получил небольшую передачу и поднес мне в день рождения порядочный ломоть белого хлеба. С 41-го года я и ржаной-то хлеб ел, как пряник, а тут вдруг белый. Ах, какой это был вкусный хлеб! Он напоминал мне пасхальный кулич. В нашей семье не было верующих, никто никогда не молился, не ходил в церковь даже в то время, когда храмы в нашем городе еще не были разрушены местными варварами. Но по оставшейся с дореволюционной поры традиции в праздник Воскресения Христова у нас красили яйца, пекли куличи, прессовали в деревянных формах творожные пасхи. Мы, дети, да и взрослые, наверное, любили всем этим угощаться. На куличи не жалели сдобы, они были щедро нашпигованы изюмом, политы взбитым яичным белком да еще украшены каким-то сладким разноцветным бисером. Вот таким куличом показался мне и хлеб, которым угостил меня Николай Иванович. И Николай Иванович предложил мне партию в

шахматы, а в качестве приза — такой же кусок хлеба. Я очень старался, но так больше ни разу и не выиграл. Мой партнер оказался действительно сильным шахматистом, а я, вероятно, не столько думал о шахматных комбинациях, сколько о сказочно вкусном призе. Поэтому мне оставалось довольствоваться только пайкой тюремного хлеба — сырого, тяжелого, с кристаллами соли и кусками нечищенной, как в баланде, картошки. Но и эту дневную пайку я проглатывал утром зараз, как собака котлетку.

В середине января Николая Ивановича вызвали для ознакомления с «делом» и подписания 206-й статьи об окончании следствия. Вернулся он молчаливый, понурый и все последующие дни молча ходил взад-вперед по камере, по арестантской привычке заложив руки за спину, крепче прежнего сжимая переносицу во время приступов тика. Но вот он стал собираться на суд. Даже в замедленных его движениях и по тому, как он избегал смотреть в мою сторону, чувствовалось, как он нервничает. Да и странно было бы видеть равнодушным человека, идущего на казнь. Мы простились с ним несухо, но без излишних эмоций — ему было уже не до меня.

Но странно: к вечеру того же дня Николая Ивановича снова привели в камеру; как правило, осужденные не возвращались во внутреннюю тюрьму. В нем чувствовалась растерянность, подавленность. На мой молчаливый вопрос ответил по-прежнему слабым голосом, с расстановкой:

— Десять лет и пять лет поражения в правах. С конфискацией имущества. Помолчал и, как бы передохнув, добавил: — Библиотеку жалко. Шесть тысяч томов.

Он очень тяжело перенес приговор, видимо до суда в душе надеясь на чудо.

Через день мы простились окончательно.



— В Буреполом или в Сухобезводный, — мрачно предположил Николай Иванович.

«Названия-то какие страшные», — подумалось мне. Тогда я еще не знал, что по всей нашей стране рассыпана масса лагерей куда страшнее.

Вскоре тюрьму на Воробьевке покинул и я. Но перед этим пришлось выдержать еще одно испытание.

— К генералу пойдешь, — сказал Евдокимов, усмехнувшись, будто говоря: «Видишь, какой чести удостоился».

А мне уже все равно — к генералу, так к генералу. Видно было, что мой следователь волнуется больше меня.

И вот после кратковременного ожидания в приемной я в сопровождении Евдокимова вхожу в кабинет комиссара госбезопасности по Горьковской области. Кабинет огромный, светлый. Полированные панели, ковры, бронзовые часы под стеклянным колпаком. Где-то в глубине за огромным, под цвет стен, столом со множеством телефонных аппаратов я едва разглядел сначала поблескивающие золотом погоны, потом тоже поблескивающую лысину генерала.

Евдокимов смиренно, сложив ручки на коленях, присел на стул в простенке, видимо трепеща, как школьник перед экзаменом. Для меня одиноко стоял стул чуть ли не посередине кабинета, метрах в четырех от высокого начальника. Я чувствовал себя совершенно спокойно, с любопытством разглядывал не виданное мною доселе убранство помещения и сидящего передо мной за столом пожилого генерала-еврея с суровым, нахмуренным лицом.

Начался допрос. К сожалению, я не запомнил ни одного заданного мне генералом вопроса. Помню только, что вопросы ставились так каверзно, что любой мой ответ мог быть истолкован не в мою пользу. Я сначала пытался выкручиваться, вызвав тем самым

недовольство «его превосходительства», но вскоре, догадавшись, что для меня лучше вообще ничего не отвечать, я замолчал. Генерал задает вопрос, а я молчу, глядя на него. Наконец он уставился на меня устрашающим взглядом, думая, видимо, сломить меня психологически. Меня же вдруг охватило какое-то упрямство, и я стал не мигая смотреть в глаза генералу. Пауза затягивалась. Мы молчали и упорно смотрели друг на друга.

«Пусть лопнут мои глаза, — внушал я себе, — но не моргну».

И я удержался. Глазам уже стало больно, когда генерал вдруг не выдержал, стукнул кулаком по столу:

— Уведите его!

Я торжествовал победу.

## Глава 3

### Первый этап

Неизвестность гнетет человека, потому что порождает в нем страх, как темнота у ребенка. Это не слабость, не порок, это нормальная реакция самосохранения. К тому же человек привыкает к своему положению, каким бы тяжелым оно ни было. Даже тюремная камера со временем вызывает в заключенном ощущение стабильности и покоя. Поэтому этап, как смена установившегося порядка на нечто неизвестное, всегда вселяет тревогу, граничащую с ужасом.

Я шел по городу Горькому, испытывая одновременно несовместимые чувства. После полутора месяцев ежедневных двадцатиминутных прогулок в глухом тюремном дворике я вдруг иду по улицам, с восторгом смотрю на дома, сугробы, трамваи, на свободных людей. В то же время меня отделяет от всего этого невидимая стена, как будто я взираю на расстилающийся передо мной город со стороны, из какого-то другого мира. Я вижу все перед собой, и в то же время меня здесь нет, я не могу участвовать в этой жизни, как душа умершего.

Позади следует солдат с перекинутой через плечо винтовкой, и поэтому я иду не сам — меня ведут. Нет, это не с мамой за руку, не школьными парами и даже не строем под команду «ать-два, левой!».

Блеклое небо теряет снежинки. Они снуют, отыскивая землю, кружатся в веселом хороводе перед своей кончиной при встрече с ней. Все движется навстречу своей гибели. Когда с горы мы спустились к мосту через Оку, снег повалил всюду. Он занавесом стремительно опускался за перила моста, скрывая и Стрелку, и Канавино. Все вокруг побелело, освежилось,

и только рельсы трамвайных путей упрямо прорезались на снегу, поблескивая, как лезвия ножей. Пешеходов и на улицах встречалось мало, на мосту же их не было вовсе, и это избавило меня от гнетущего сознания, что на меня смотрят, как на пойманного вора. Мало-помалу я стал успокаиваться, да к тому же мелькнула отрадная догадка: не в Москву ли меня хотят отправить? До этого я не видел нашу столицу, и перспектива побывать в ней даже на положении арестанта как-то воодушевляла.

Мое предположение укрепилось, когда мы какими-то задворками добрались до путей Московского вокзала. Где-то на отшибе нашли грязно-зеленый столыпинский вагон. Весь его унылый вид, решетки на окнах и какая-то нездоровая, зловещая тишина вернули мне придавленное тюремное настроение.

Столыпинский вагон напоминает зверинец. С одной стороны, где окна, узкий коридор. Проволочной сеткой отделены от него темные купе-вольеры, в которых не столько просматриваются, сколько угадываются люди.

Меня втолкнули в одну из этих клеток. В полумраке я не сразу различил отдельных людей, вступив в человеческую массу настолько плотную, что, кажется, некуда было втиснуть ногу, не только поместить себя самого. В помещеньице, в стесненных дорожных условиях предназначенном для четверых, оказалось напичкано более двадцати человек. Трудно было понять, на чем и в каких позах они сидели, лежали, висели. Я почувствовал себя виноватым, что отнимаю у них последнее жизненное пространство, и ожидал, что вот-вот на меня обрушится в какой-либо дикой форме их недовольство, но вдруг почувствовал совершенно неожиданное облегчение, когда, помимо моей воли, с помощью чьих-то доброжелательно поддерживающих меня рук я не только сделал шаг не поймешь во что и куда, но и оказался сидящим на вагонном диване среди каким-то чудом раздвинувшихся в такой тесноте

мужских тел. Я сразу понял, что так принять меня могли только люди, перенесшие что-то сверх возможного.

Когда мои глаза освоились с полумраком, я увидел, что меня окружают военные, причем форма у всех разная. Тут и зеленые немецкие кители, и желтоватые мадьярские френчи с емкими накладными карманами, и даже итальянские шинели с пелеринами.

— Кто вы? — спросил я, ничего не понимая.

— Военнопленные.

А говорят все по-русски чисто. Когда это они успели выучиться?

Я не сразу понял из их объяснения, что они советские солдаты, попавшие в плен к немцам, потом освобожденные нашими войсками и теперь как бы наши у наших в плену. Куда их везут, они тоже не знали. Знали только, что сначала их везли с запада на восток, теперь — с востока на запад. Одни надеялись, что их вернут в действующую армию, другие настроены были более пессимистично, считая, что попадут под трибунал, где дадут еще больший срок, если не случится чего похуже.

Трое суток я пробыл в вагоне с военнопленными. Только на второй день им раздали хлеб и селедку. Я не получил ничего. Тут я догадался, почему незадолго перед отправкой из тюрьмы мне дали вторую пайку. Я удивился и, обрадовавшись, тут же ее съел, а это, как оказалось, был сухой паек на дорогу. Кто-то из солдат отломил мне от своей горбушки, и кусочек селедки дали. Это оказалось вс за трое суток. После селедки пленные просили пить, выпустить в туалет. Конвоиры, не то татары, не то калмыки, не обращали на просьбы внимания — видимо, выпускать по нужде не было команды начальства. И только когда весь вагон начали сотрясать крики и ругань, разнесли в ведре воду, потом стали по одному, по двое выпускать.

Состав все стоял. Где-то к концу второго дня нашу клетку потеснили еще. Это был человек лет сорока, небольшого роста, худощавый, чернобровый, одетый в белый, почти новый офицерский полушубок и офицерскую же шапку-ушанку.

— Козин Вадим, — назвал он себя. — Полковник.

Кто знает, был ли он на самом деле полковником, но чувствовалась в нем какая-то разухабистость, независимость бывалого фронтовика. Он не унывал.

— Я с вами недолго. В Дзержинск меня, на суд. А там в штрафную толкнут.

Что натворил, он не рассказывал. Но своей живостью, непринужденной болтовней, взглядом на происходящее как бы со стороны, словно это и не касается его совершенно, ободрил он всех нас, как будто веру вселил, что тюрьма, столыпинский вагон с его решетками — все это потустороннее, временное, несущественное. Человек живет для цели, ему неизвестной и определенной свыше.

За свое короткое пребывание с нами Козин сумел отвлечь убитых горем людей от тягостных мыслей, внушил, что не все потеряно и что после плохого обязательно последует хорошее. Надеждой на это хорошее будущее и надо держаться, надо жить. В нашей клетке он для всех стал своим и даже нужным человеком. Несмотря на разницу лет, со мной он особенно почему-то подружился, и, когда поздним вечером, невидимого, его уже выводили из нашего вагона, откуда-то с площадки он крикнул мне на прощанье:

— Всеволод, молись Богу, и все в порядке будет.

Больше я его не встречал, а запомнил на всю жизнь. Почему? Наверное, потому, что он, ни на что не претендуя, просто любил людей. Искреннее чувство доходчиво и трогательно.

## **Глава 4**

### **Знакомство с Бутырской тюрьмой**

Когда я спрыгивал с кузова «воронка», ноги мои подкосились, и я упал. Видимо, подобные случаи не были в новинку встретившим нас охранникам. Двое из них привычно подхватили меня под руки и повели. Я только мельком успел разглядеть глубокий, как шахта, небольшой двор, окруженный желто-зелеными, цвета скорпиона, многооконными стенами в семь-восемь этажей. Меня провели в чисто побеленный, хорошо освещенный подвал и, поведя немного по коридору, поместили в одиночную камеру. Сводчатый потолок, бетонный пол, без окон, но бело от слишком яркого освещения, маленькая вентиляционная решетка и очень тепло, даже жарко. Я повалился на койку и, осмотревшись, почему-то подумал: «Здесь удобно расстреливать».

Видимо, эта мысль пришла мне в голову в связи с абсолютной тишиной, окружившей меня. Если никакие звуки не доходят сюда, то ни крики, ни выстрелы не будут слышны отсюда. В тишине, тепле я крепко уснул и спал совершенно спокойно.

А на другой день меня опять куда-то повезли в «воронке». По прибытии на место я увидел необычное здание. Окруженное каменной, довольно высокой сизо-черной стеной, мрачное, огромное, с круглыми башнями по углам, оно походило на старинную крепость. Резким контрастом выделялась входная дверь. Колоссальных размеров, как большие ворота, с полуциркульным верхом, резная, из дерева какой-то ценной породы, отполированная, она больше походила на изделие прикладного искусства, чем на врата тюремного ада.

Вестибюль поразил меня еще больше — и пространственными размерами, и узорчатой облицовкой стен и полов метлахской плиткой, и фармацевтической чистотой. Я даже был доволен, что попал сюда и увидел такое. Иногда задаю себе вопрос, что бы я испытал, увидев перед глазами художественно гравированный нож гильотины: страх или восхищение? Может быть, и праща в руке Давида привлекательна, а не страшна.

— В бокс!

Я очнулся от этих слов, почему-то догадавшись, что они относятся ко мне. И не ошибся. После поверхностного шмона — здесь же, в вестибюле, — передо мной открыли узкую дверь, и я очутился снова в клетке размером не более как метр на метр, но очень высокой, с полом из той же метлахской плитки и стенами, облицованными стеклянной плиткой бутылочного цвета. Вся обстановка — электрическая лампочка под потолком. Шаг туда, шаг обратно — не ходьба, а кружение, от которого быстро устаешь. Я сел на пол, то вытягивая ноги, то подбирая их в коленях, прислушиваясь к крикливым командам, просачивающимся через дверь. Значит, там еще кого-то привозили, увозили, прятали по таким же боксам.

Потерялся всякий ориентир во времени. Не имелось никаких признаков, чтобы хоть приблизительно определить, что сейчас — день, вечер, ночь, сколько часов или суток я нахожусь в этом каменном пенале. Много раз вставал, делал попытки ходить, снова садился. Наконец почувствовал, что хочу спать. Я попытался лечь на пол, поджав ноги, но все равно не поместился в этом логове. Повертевшись и так и этак, мне все-таки удалось найти приемлемое положение. Я лег на спину, задрав ноги на стену вертикально вверх. И так заснул. Не знаю, как скотина, а человек, оказывается, может спать вверх ногами.



Следующий день начался с дальнейшего знакомства с тюрьмой. Меня продолжали поражать ее исполинские размеры и отделка интерьеров, больше напоминающих старинные хоромы, терема. Меня остановили в огромном, как стадион, коридоре, и полы и стены которого все так же тщательно были облицованы двухцветной керамической плиткой с идеально выложенным орнаментом. По обе стороны коридора расположились высоченные двери, через фрамуги над которыми, с защищенным сеткой стеклом, и поступал свет. Оглядывая это необычное сооружение, я снова забыл, что нахожусь в тюрьме, что, возможно, ждет меня впереди самое страшное. Поистине я был восхищен. Я видел не тюрьму, а творение талантливых рук человеческих.

Меня вернули к действительности, толкнув в ближайшую дверь, меньше остальных и без фрамуги. Я очутился в какой-то странной комнате, довольно просторной, с полом, устланным поглощавшим шум шагов линолеумом, и мягкими стенами, обтянутыми желтой кожей в форме выпуклых тугих подушек правильной квадратной формы. Вид комнаты вызвал у меня недоумение. «Что это за камера, — думал я, — и почему именно для меня такая?»

Но все объяснилось. На пол мне бросили чистое белье и больничные тапочки.

— Переодевайся, — слышалась команда.

А пока переоблачался, все еще озираясь по сторонам, я понял, что это палата для буйно помешанных или тех, кто делает попытки покончить с собой путем удара головой о стену. В этой тюрьме все было предусмотрено.

Шлепая большими тапочками, в одном нательном белье, я очутился наконец в камере, а точнее, в палате тюремной больницы на две койки, на одной из которых, слева от входа, лежал человек, с головой закутавшийся

в одеяло. Палата оказалась просторной (вполне можно было поместить в ней еще две койки), достаточно светлой; кроме коек, меблированной еще двумя табуретками и очень холодной, поэтому на правах больного я быстро юркнул под одеяло.

Я долго лежал, томясь от безделья, тем более что рассматривать в палате было совершенно нечего. Меня привлекал только неподвижно лежащий сосед, которого я еще не видел и который удивлял меня таким продолжительным беспробудным сном. Но за день мы все-таки познакомились.

Закутанный сосед стал подавать признаки жизни. Сначала он поворочался, не раскрываясь, как-то очень осторожно, медленно, не делая значительных движений. Потом из-под одеяла показалась его голова. Меня сразу поразило его лицо: худое, изможденное, с каким-то неживым цветом кожи — не белым, но без малейшего признака румянца. Рассматривая его, я определил, что человеку этому лет пятьдесят и он высокого роста, а по едва уловимым признакам — что он интеллигент. Не сразу, видимо собрав силы, глухим, ослабшим голосом он представился:

— Львов.

Говорил он с большим трудом, делая продолжительные паузы. И все-таки я узнал, что это бывший профессор Военной 272 академии имени Фрунзе. Когда немцы наступали на Москву, академию эвакуировали в Ташкент. Там он и был арестован, в числе многих, за антисоветскую деятельность. Человек строгих правил, очень порядочный, интеллигент от рождения, интеллигент того типа, который в настоящее время вымер у нас как вид, он не признавал предъявленных ему вымышленных обвинений. Ничего не добившись в Ташкенте, Львова отправили в Москву, на Лубянку. За два года его не могли сломить морально,

но сломали физически. Передо мной лежал уже не человек, лежал труп, который еще не покинула душа.

— Я решил умереть, — сказал он мне. — Объявил голодовку.

И он действительно не прикасался к еде, которую ставили перед ним на табуретке. За все дни, что мы находились вместе, он ни разу не поднялся с постели. Но всякий раз, когда я возвращался с положенной двадцатиминутной прогулки, он что-нибудь спрашивал затухающим голосом или коротко, в несколько слов, сам рассказывал мне. От него я и узнал, что нахожусь в Бутырской тюрьме, построенной еще при Екатерине Великой. А однажды спросил, в каком дворике я гулял.

— Маленький, — ответил я, — неправильной формы, под круглой башней.

— Эта башня знаменитая, — посвятил он меня. — В ней, закованный в цепи, сидел перед казнью Емельян Пугачев.

Иногда тишину больницы нарушал сильный мужской голос. Он выкрикивал речи-панегирики сначала врачам и всему медперсоналу, потом работникам славных органов госбезопасности, неутомимым в труде следователям и доблестным прокурорам. Постепенно это славословие переходило в ругань, проклятия и заканчивалось сплошной матерщиной в тот же адрес.

Я не мог ничего понять, но как-то выбрал момент и спросил у Львова:

— Что это такое?

— Сумасшедший напротив в палате, — ответил он.

А на другой день, когда нам вносили обед, я увидел через коридор этого несчастного. Раскинув руки, как на распятии, он каким-то чудом повис на фрамуге и произносил очередной панегирик.

В больнице я долго не задержался. Почему-то всегда и везде проявляют повышенную заботу о

здоровье тех, кого намереваются лишить жизни.

Я покинул палату, не простившись со Львовым. Он лежал, как застывший, укрывшись с головой одеялом, как саваном. Жизнь его измерялась часами.

## Глава 5

### Внутренняя тюрьма на Лубянке

Коридоры внутренней тюрьмы на Лубянке устланы коврами дорожками. В отличие от Воробьевки замки бесшумные, но, когда меня ночью привели в камеру, все ее обитатели подняли головы. Подследственные, если их не измотали допросами, спят чутко, даже во сне ожидая вызова к следователю.

Камера оказалась довольно большой: три койки вытянулись по одну сторону, три — по другую. В центре — большой крашеный стол. Такие же темно-зеленые панели по стенам, паркетный пол, огромное окно, закрытое светомаскировочной шторой. На столе — большой красной меди чайник и эмалированные кружки.

Все койки были заняты, мне принесли дополнительную, разложили посередине в линию со столом. Снабдили постелью. Но заснуть сразу не удалось: напали клопы. Узнав причину моего беспокойства, переполошилась вся камера. Вызвали надзирателя. И только когда мне принесли другую койку, даже с остатками снега на ней, все успокоилось.

Забавной показалась мне с первого дня жизнь на Лубянке. Что-то комичное просматривалось в драматической ситуации. Ведь все в жизни можно рассматривать с двух противоположных позиций — юмористической и трагической.

Одной из первых процедур после утреннего подъема является шествие в туалет. Шли попарно, первая пара — дежурный по камере и его помощник, завтрашний дежурный, — торжественно несла парашу. Почему этот вонючий бак несли впереди и все, как на крестный ход, следовали за ним? Обычно впереди несут

знамя или хоругви. В тюрьме, как святые мощи, носят ржавую семиведерную посудину, коллективно наполняемую мочой. Шествие замыкает вертухай. Второй встречает у распахнутой двери в туалет, раздает листочки клозетной бумаги, но не всегда. Да с тюремных харчей в ней и нет постоянной необходимости.

После этого священнодействия в камере наступает настороженная тишина. Кто-то разглаживает на коленях платочек, кто-то читает книгу, но все, даже если кто и разговаривает вполголоса, сторожко прислушиваются: приближается «веселая минутка». Среди всех звуков, доносящихся в камеру извне, арестант безошибочно отличит тот единственный, металлический — черпака о миску или от крышки чайника, — который извещает о приближении пищи.

— Несут! — И вся камера в момент оживает, как будто очнувшись.

Пайки хлеба раскладываются на столе; выбираются они в порядке строгой очередности. Я пришел в камеру последним и мог рассчитывать поэтому только на оставшуюся. Первым выбирал Смирнов. Это был студент МГУ, грузный, сутуловатый, с пухлыми красными щеками, покрытыми цыганской щетиной, и в очках-линзах, без которых он становился почти слепым. Преступление его против советской власти заключалось в том, что на историко-филологическом факультете МГУ студенты пришли к выводу, что управлять страной могут только специально подготовленные люди. Готовить такие кадры нужно в специализированном учебном заведении, для чего больше всего, по их мнению, подходил их факультет — «питомник членов правительства», как назвал его один из сокамерников, Ягодкин.

Смирнов приблизился к столу. Низко склонившись, он тщательно рассматривал каждую пайку. Момент был

ответственный. Целую неделю ожидал он своего права выбирать первым, и сейчас нужно было не промахнуться, потому что пайки состоят из горбушек и сердцевинок. Горбушка посуше, а значит, и объем ее больше. К тому же к пайкам деревянными колышками пришпилены довески, тоже все разные. Да, требовались опыт, хладнокровие, точный глазомер, чтобы безошибочно выбрать самую большую пайку.

Слепой Смирнов почти носом водит по разложенному на столе хлебу. Он переживает, никак не может решиться, но... выбор наконец сделан. Он схватил горбушку, поднес ее к глазам и тут же оглянулся на стол: кажется, ошибся, вон та, с двумя довесками, что осталась лежать с краю, больше. Смирнов подавляет вздох. Завтра он уже будет брать последним что останется.

С такой же тщательностью выбирают свое счастье остальные.

Пайка содержит дневной паек хлеба в 600 граммов. Утром больше ничего нет, кроме чая. В обед — баланда, на ужин — каша. С пайкой все разделяются по-своему. Микробиолог из Краснодара Кулинский, пожилой, выше среднего роста человек с бородкой клинышком, с золотой коронкой на одном из передних зубов, короткой веревочкой тщательно отрезает третью часть, остальное делит пополам — на обед и на ужин — и аккуратно заворачивает в платочек.

Ягодкин — по его словам, член коллегии по амнистии при Верховном Совете СССР, высокий, в дорогом, но уже выдавшем виды мышинового цвета костюме — также веревочкой раскраивает пайку на маленькие кирпичики, но ничего не откладывает про запас. Когда процедура раскройки закончена, каждый кирпичик он давит в кулаке, уплотняя, и отправляет его в рот, запивая горячим несладким чаем.

Архитектор Архангельский — кажется, самый старший в камере — выгребает из горбушки мякиш, корочки сохраняя на обед.

Смирнов же с пайкой расправляется по-зверски. Он раздирает ее своими мощными руками на ломти и ест жадно, торопливо, будто мстя ей за неудачный выбор. Ест он всухомятку, бросая быстрые взгляды на других, с горечью сравнивая, как его большая горбушка тает быстрее моей самой маленькой серединки. В это время он напомнил мне Собакевича: такой же крупный, грубый. Он беспощадно уминал свою пайку и вдруг как-то сник, когда она исчезла. Как Собакевич перед тарелкой со съеденным осетром, он осмотрелся, как бы удивляясь, куда все подевалось, поводил очками и подобрал случайно уцелевшие крошечки, радуясь, что они, еле различимые, еще остались на столе, на его штанах. Поняв наконец безнадежность положения, он налил в кружку чай и, зажав ее обеими руками, начал пить, не торопясь, склонившись, лишь изредка поднимая поверх очков потерявшие блеск глаза.

У меня не хватает терпения, я тоже поедаю всю пайку сразу, но ем не торопясь, смакуя, всухомятку — так на дольше хватает, — сначала отделяю все корочки и на загладку, как у нас дома говорили перед сладким, а потом с особенным наслаждением, как деликатес, жую мякиш, вспоминая при этом оладьи с зернистой икрой на великопостных трапезах заволжских монастырей, с неподражаемым мастерством описанных Мельниковым-Печерским.

Ежедневно в камеру подается суконная тряпица: дежурный обязан драить паркетный пол. Здесь, как и в поедании горбушки, у каждого свои приемы. При классическом, то есть наиболее распространенном, дежурный закладывает руки за спину и, наступая одной ногой на тряпицу, шаркает ею взад и вперед, приседая в такт движению. Получается своеобразный танец,



который не так безвреден, как кажется со стороны. Когда заключенный из месяца в месяц с утра съедает кусок хлеба с кипятком, а в обед хлебает полмиски постной баланды, пляска полотера даже в замедленном темпе вызывает у него головокружение и одышку. И все-таки пол доводится до блеска. Раз в месяц кроме суконки дают мастику и щетку. Тогда в натирке пола принимают участие все без исключения.

После обеда, состоящего из одного первого блюда, а у большинства и без хлеба, полагается мертвый час. На Лубянке даже привилегия — два часа. Можно не спать, но лежать обязательно, пусть даже с книгой в руках. Книги приносят два раза в месяц; их достаточно. Можно заказать что угодно, вплоть до издающейся не у нас запрещенной литературы. Но все считают это неоправданным риском и вполне довольны выбором из того, что приносят.

Ежедневно полагается двадцатиминутная прогулка, но она необязательна. За все время нахождения в тюрьме я не пропустил ни одной, в любую погоду. В холодное время прогулке предшествуют сборы. В камеру бросают кучу неопределенного фасона черного сукна макинтоши или балахоны, безразмерные ботинки, шапки, и без промедлений мы облачаемся. На лифте нас поднимают на седьмой этаж. Здесь, на крыше, оборудованы прогулочные дворики, как ящики, между ними высокая железная сплошная ограда, окрашенная серой масляной краской. Таких ящиков-отсеков несколько, на стыке их будка охранника. Вполне экономично, один вертухай с винтовкой одновременно осматривает несколько прогулочных дворики.

Мы ходим по кругу парами, молча, заложив руки за спину. Кулинский шепотом подсказывает мне:

— Дыши глубже, четыре шага — вдох, четыре — выдох.

Слышно, как внизу перебивают друг друга мягкими аккордами клаксонов «эмки», иногда как будто совсем рядом мелодично перекачивается звон кремлевских курантов, с детства знакомый хрипловатый бой, отмеряющий часы прожитой жизни. Где-то тут, за железной стеной, идет нормальная жизнь, люди работают, учатся, отдыхают, общаются друг с другом. Нам никого не видно. Нас не видит никто; никому даже не придет в голову, что вот здесь, на крыше, ходят изъятые из мира люди. Даже если и предположить, что кто-нибудь нас вдруг увидит, все равно о нас сказали бы: «Вон враги народа, предатели, фашисты».

Размеренно мы ходим по бетонным плитам днища железного ящика, скребая большими ботинками.

Падал снежок, смеркалось. Здесь, в Москве, жила та, с которой оборвалась связь. Навсегда? Разве она могла знать, что я рядом?

Кончились двадцать минут. Мы вернулись в камеру, принеся с собой свежесть.

Вскоре у нас произошли перемены. Турнера, корреспондента, как он говорил о себе, английской газеты «Дейли мейл» и американской газеты «Нью-Йорк геральд трибюн», который прыгал по камере, стучал в дверь, возмущаясь, как могли его, иностранного подданного, посадить в тюрьму, убрали из нашей камеры буквально на следующий же день, как я туда попал. Появился новый человек — поэт-дальневосточник Улин, у которого было что-то общее с Турнером и отличное от нас, уже осознавших ситуацию. Он тоже никак не мог понять, почему его — коммуниста, фронтовика, поэта — и вдруг упрятали в тюрьму. Он беспомощно разводил руками, пожимал плечами, повторяя:

— Не понимаю.

— Поймешь, — отвечал ему Ягодкин, — посидишь месяцок-другой.

Мне тоже все было ясно. Еще на Воробьевке, когда начальник следственного отдела, махая кулаками перед моим лицом, выкрикивал: «Умрешь, а отсюда не выйдешь!», я понял, что бесполезно сопротивляться: что бы я ни объяснял, все будет повернуто против меня. Но даже когда в ходе следствия наметился перелом, после которого из меня уже не должны были выдавливать больше того, чего не было, самым тяжелым в тюремной жизни оставался вызов к следователю. На Лубянке это делалось вполне культурно. Ночью надзиратель бесшумно входил в камеру, трогал за плечо:

— На допрос, — и выходил, давая время собраться.

Лубянка, то есть Главное управление Наркомата госбезопасности, — огромное закольцованное здание, занимающее отдельный квартал, с одной стороны в семь, с другой — в восемь этажей, зеленоватого цвета с траурным, из черного мрамора, высоким цоколем. Фронтон переднего фасада завершали две симметрично возлежащие наяды, ныне снятые, на месте которых осталось только два штыря, пожалуй, лучше символизирующие венчаемое ими здание. В глубине этого огромного колодца — пятиэтажный пристрой внутренней тюрьмы с довольно высокими помещениями, большими окнами и добротными паркетными полами.

На допрос вели сначала по коротким тюремным коридорам. Конвоир шел привычно разболтанной походкой, постукивая ключом о металлическую пряжку своего ремня, подавая тем самым вперед сигнал о нашем продвижении. Когда случался встречный конвой, сопровождаемого ставили или лицом к стене, или отводили за угол, чтобы только не встретились два арестанта. Потом на лифте доставляли на нужный

этаж, и шествие продолжалось по коридору главного корпуса. Коридор неширок, но вполне достаточен, чтобы могли пройти или разминуться сразу три-четыре человека. Случалось иной раз прошагать чуть ли не по всему периметру здания. Даже в ночное время в коридоре былолюдно. Поблескивая золотом новеньких погон, здесь прохаживались офицеры, в основном майоры; им явно нравилась новая форма, они даже плечи держали как-то приподнято.

Иногда в окно удавалось увидеть зеленых наяд на фронте или окинуть взглядом широкую лестницу с массивными фигурными перилами цвета слоновой кости, уходящую вниз; значит, я проходил по верхнему этажу. Но все эти наблюдения не снимали внутреннего напряжения. Наоборот, по мере приближения к кабинету следователя грудь все больше распирало, как будто в нее под давлением накачивали воздух, горло перехватывала спазма, дыхание затруднялось. Не было никакой уверенности, что очередная ночь закончится благополучно. Полное бесправие с одной стороны и неограниченный произвол с другой не оставляли ни малейшей надежды на беспристрастность, справедливость, здравый смысл.

Мое дело вел капитан Мотавкин.

— Ну, этот помотает, — сказал мне в первые же дни Ягодкин. — Это у них специалист по литературным делам.

Но все следователи одинаковы, и по литературным делам, и по промышленным, и по сельскохозяйственным. В их действиях во время следствия преобладали грубость, цинизм, нагнетание страха, потому что требовалось не нахождение истины, а подтверждение аксиомы, выдуманной, фантастической, ни на чем не основанной. Все допросы строились по одной схеме и сводились к примитивной софистике.

— Вы признаете себя виновным в антисоветской деятельности? — спрашивал обычно следователь.

— Нет, — было первой и естественной реакцией обвиняемого.

— Но вы же в своих разговорах необоснованно осуждали членов правительства и руководителей коммунистической партии.

— Я допускал замечания в адрес отдельных лиц.

— Но эти лица выбраны народом, являются представителями советской власти, — брал следователь быка за рога. — Значит, вы против советской власти.

В результате такого вывода и ряда ему подобных обвиняемый сам приходил к выводу, что да, действительно, он занимался антисоветской деятельностью.

Со мной и с моими товарищами все обстояло проще. Как вещественные доказательства нашей деятельности, которую при подобном истолковании можно было назвать не иначе, как антисоветской, в деле уже имелись четыре номера издаваемого нашей группой рукописного журнала, в одном из которых помещалась моя поэма, где открыто выражалось недовольство отсутствием свободы слова в стране и обстановкой на фронте в первые месяцы войны. О неспособности Сталина руководить военными действиями нашей армии кратко говорилось также в стихотворении, в котором вождь сравнивался с теленком, играющим в шахматы. Такое не прощалось.

Но перед следователями стояла задача найти, кто из взрослых людей руководил нашей группой, так как вызывало недоверие, что мальчишки самостоятельно, без чьей-либо помощи, смогли организовать издание журнала, резко осуждающего политическую обстановку в стране. И для меня так и осталось тайной, почему способные на любые зверства сотрудники бериевского

следственного аппарата, беспощадные в своем рвении, в конце концов убедились, что нас никто не направлял, и не переломали нам костей, добиваясь таких признаний.

Следствие на Лубянке повторяло собой все, что я уже прошел в горьковской внутренней тюрьме, и даже «дело» наше вел потом, по всей видимости, еще не набравшийся опыта и учившийся на нас следователь Перевозчиков, отличавшийся цивильным видом и вряд ли имевший офицерское звание. На допросах у него я сразу понял, что он из нового пополнения кадров госбезопасности.

Кулинского, Смирнова и меня перевели в другую камеру. Четвертым в ней оказался профессор Московского литературного института имени Горького Урбанович-Набатов. Как и все мы, он уже несколько месяцев находился под следствием. Немолодой, одинокий человек, привыкший к роскошной, по сравнению с нашей, жизни, он и в тюрьме не столько думал о том, что его ожидает, сколько о том, чего лишился. Мне странно было слышать его утверждение, что кофе лучше пить вприкуску с шоколадом, что создает, по его мнению, особый вкусовой букет. Или рассказ о том, как ему не нравился темный цвет паркета в его квартире и он пригласил рабочих, чтобы те прострогали паркет добела, отциклевали и натерли его воском. Сожалел, что лишился колоды карт с золотым обрезом и ножичка для разрезания бумаги из слоновой кости. Приходилось ему бывать и за границей. Не без удовольствия демонстрировал он нам свое пальто парижского пошива:

— Вот какой я был до Лефортовской тюрьмы.

Действительно, в просторное пальто свободно поместились бы все узники нашей камеры вместе с самим нынешним Урбановичем. Мы не однажды

пытались расспросить его, что представляет собой режимная Лефортовская тюрьма. Он начинал рассказывать, но тут же голос его начинал дрожать, срывался, и каждый раз он начинал плакать. Только одно мы ясно расслышали:

— Я пытался повеситься на оконной решетке, но мне это не удалось — меня сняли.

Как-то он объявил, что приближается Пасха, и ходил по камере, тихо напевая пасхальный тропарь. Потом стал меня учить церковному пению, и уже вместе, едва слышно, чтобы не привлечь внимание надзирателя, мы пели: «Христос воскрес из мертвых, смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав».

Как ни странно по тем временам, но праздник Светлого Воскресения Христова в тюрьме был отмечен. Еще накануне нам выдали необходимый инвентарь, чтобы мы привели камеру в праздничный вид. Мы вымыли выкрашенные масляной краской панели стен, выкрасили и натерли пол и начистили до блеска чайник. Утром в воскресенье в камеру вошел надзиратель и милостиво объявил, что если у кого имеются деньги, тот может купить в тюремном ларьке курево. Из нас курил только один Кулинский. И уже совсем чудо — в этот праздничный день мы ели пайки светло-серого, по-настоящему пропеченного хлеба. Это был как бы тюремный кулич.

Несмотря на разницу в возрасте в сорок лет, у меня очень добрые отношения сложились с Иваном Осиповичем Кулинским. До войны он был научным сотрудником Краснодарского института микробиологии, преподавал. Как и у всех, война многое разрушила в его жизни. Когда немцы подходили к Краснодару, он и его сослуживцы закопали научный архив, препараты и покинули город. Но далеко уйти им не удалось, немцы стремительно наступали, и Кулинскому с товарищами ничего не оставалось, как вернуться назад и

продолжать работу в институте. По освобождении Краснодара нашими войсками микробиологов арестовали как изменников Родины и препроводили в Москву, на Лубянку.

Странно распорядилась судьба, сведя в одной камере Урбановича-Набатова и Кулинского, этих антиподов. Если до ареста Урбанович-Набатов был гурманом, то Кулинский и на воле всегда питался даже как-то упрощенно. В тарелку с борщом он накладывал кашу, и это единственное блюдо составляло весь его обед; он не признавал кондитерских изделий, чай пил преимущественно с сахаром, а пирожное ему заменял кусок белого хлеба со сливочным маслом и медом. Одевался он также просто, у него даже не было костюма; поверх брюк носил навывпуск черную рубашку-косоворотку с плетеным в жгутик пояском. В таком одеянии он и был арестован. И характер, в отличие от болтливового и нервного Урбановича, имел спокойный, уравновешенный. Говорил не торопясь, мало, негромко; не вступал в диспуты, а тем более в мелочные споры, которые ежедневно происходили в камере, но в то же время внимательно ко всему прислушивался.

Как-то наш литератор Урбанович поправил меня:

— Нельзя говорить «скучаю о чем-то», правильно сказать просто «скучаю».

Я не согласился с профессором, и мы крупно поспорили. Кулинский не вмешивался. Но буквально на другой же день нашел в книге выражение, подтверждающее мою правоту, и молча показал мне.

Нам со Смирновым Иван Осипович прочитывал ежедневно лекции на темы здравоохранения, и в первую очередь о венерических болезнях.

— Постарайтесь запомнить, — просительным тоном говорил он. — В лагерях может пригодиться.

Из хлебного мякиша, перемешанного с табачным пеплом, и использованных спичек он мастерил подобие



микробов и медицинского инструментария.

— Вот, — показывал он хлебную спиральку, — так выглядит спирохета палида. — И следовал урок, посвященный сифилису.

Благодаря лекциям Кулинского, рассказам библейских историй Урбановичем-Набатовым и книгам, которые мы буквально поглощали, время проходило небесполезно. Но зато мы ничего не знали о том, что происходит в мире, в нашей стране, на фронтах. Как-то апрельским вечером мы вдруг услышали артиллерийскую канонаду.

— Салют! — вскрикнул — но по привычке все же приглушенно — Смирнов.

Я осторожно приоткрыл на окне экран затемнения и после очередного залпа увидел в темном небе разноцветный веер фейерверка. Только чудом каким-то просочилось потом к нам, что советские войска вышли к государственной границе с Румынией. Трудно передать наше состояние. Мы лишены были права радоваться вместе со всеми нашим успехам, как будто нас это не касалось. Сознание неполноценности, ощущение себя изгоем осталось на всю жизнь.

Совершенно незаметно прошел первомайский праздник. И даже трудно вспомнить, то ли перед ним, то ли после вывели меня в маленькую каморку рядом с нашей камерой и положили на стол передо мной две толстые папки, сказав:

— Следствие закончено. Вы можете ознакомиться с «делом» и подписать двести шестую статью о его окончании.

Листая бумаги, я нашел протоколы всех допросов: и меня, и тех, кого вызывали в связи с моим арестом. Нашел отпечатанные на мелованной бумаге на машинке с четким шрифтом и в твердом переплете свои «избранные произведения», специально подобранные с целью уличения меня в антисоветской агитации и

пропаганде. Только о Родьке Денисове, взявшем у меня журналы и передавшем их в Народный комиссариат государственной безопасности (НКГБ) и на которого я нарочно неоднократно ссылался на допросах, не было ни слова. На верхних углах папок стояли грифы: «Совершенно секретно» и «Хранить вечно».

## **Глава 6**

### **Вторая встреча с Бутырской тюрьмой**

В ближайшие дни я покинул Лубянку, и состоялась вторая моя встреча с Бутырской тюрьмой.

В этот раз Бутырка показалась мне менее интересной. Через какой-то неприглядный, мрачного вида коридор с высокими окнами, за которыми, окруженное зеленью, стояло лишенное всякого великолепия унылое церковное здание, попал я в довольно объемистую камеру, неприятную, серую, и ни малейшего намека на какой-либо комфорт. Угрюмые стены, бетонный пол, более соответствующие подвальному или складскому помещению. По обе стороны громоздились деревянные некрашенные двухэтажные нары-вагонки. Между ними — огромный пустынный стол с одиноко возвышающимся на нем ведерным чайником, старым, с помятыми боками, обслужившим на своем веку не одну тысячу заключенных. В углу, как положено, прочерневшая, увеличенная до массового пользования параша. И только за окнами, расчерченными в клеточку решетками, поверх массивных железных козырьков виднеется чистое голубое небо, а на его фоне свежая весенняя зелень только что распустившихся тополей. Смотришь в окно — и чувствуешь, как начинает щемить в груди и как неприятно разъедают глаза невольно подступающие слезы.

Население камеры многочисленно, более двадцати человек, и разнородно, как на базаре. Но что-то есть в нас и общее. Это под стать внешнему виду камеры: общая серость, отсутствие ярких пятен, и в одежде и в

лицах, даже выражение глаз у всех одинаковое — унылое, безучастное, как будто никто ни о чем не думает: все уже обдумано, взвешено, обречено. И опять полное безделье: ни книг, ни газет, ни каких-либо звуков извне. Стойло. В нем я буду находиться до суда в полнейшей неизвестности о дальнейшей своей судьбе и о времени, когда она решится.

Мне показали свободное место на нарах. Я сел на них и затосковал по Лубянке. Там я по крайней мере находился среди людей близкого мне круга, общался с интеллигенцией. Здесь, как я понял, я оказался среди уголовников. Никогда еще я не имел с ними ничего общего. Только слышал, что есть бандиты, воры, шпана. И вдруг не только очутился среди них, но стал с ними одним целым.

Осмотревшись, я все-таки открыл для себя, что окружение мое состоит далеко не из одних уголовников. Я обратил внимание на высокого человека рядом со мной, и вид и речь которого не давали права отнести его к уголовным преступникам. Трое его соседей, говорящих с акцентом, оказались литовцами. Я догадался, что это наша братия, 58-я статья, и почувствовал себя увереннее.

Тюремный порядок стал привычным: подъем, оправка, раздача горбушек, двадцатиминутная прогулка парами в каменном дворе. Так монотонно прошло две недели. Только однажды случилось событие, всколыхнувшее всю камеру и сразу показавшее мне особенности уголовного мира.

Высокий получил передачу: буханку хлеба, банку тушенки, которую при нем открыли и переложили в тюремную миску, что-то еще по мелочи. Он пригласил откусать с собой литовцев, угостил и меня, то есть поступил вполне по-товарищески. Но тут заявили протест блатные, которые в камере составляли большинство. По их неписаным законам — а любой

закон прежде всего отражает интересы сильного — неприкосновенной является только казенная пайка. Все продукты, полученные с воли, должны делиться. Как делиться, между кем — из-за этого и произошел спор, едва не кончившийся побоищем. Одни утверждали, что Высокий поступил правильно, поделившись, с кем нашел нужным. Другие настаивали на том, что надо было выделить значительную долю вора. Третья партия нашла компромиссное решение — что передачу следовало разделить поровну на всех. Такое решение устраивало большинство, которое в противных случаях не получало ничего.

Нарастал шум, страсти раскалялись, назревала драка. Особую ретивость проявлял невзрачный, довольно слабого сложения, худощавый блатной со следами тяжелой травмы головы. Из его черепа была удалена при операции или после пролома часть теменной кости, в форме треугольника, довольно значительная, шире чем на два пальца, заросшая кожей. Я смотрел на него и думал со страхом: вот сейчас в драке ткнут ему пальцем в этот просвет в голове и выдавят мозги, как пасту из тюбика. И он, как оказалось, боялся этого и, вооружившись тяжелой крышкой от чайника, которой мог прошибить голову другому, свою тщательно прикрыл шапкой, сдвинув ее набок — прикрывая пролом в черепе.

Уже четко размежевались противоборствующие стороны. Шум, брань. Вооружились кто чем мог. Надзиратели не вмешивались — видимо, подобное они наблюдали не впервой: ведь еще никого не убили. Неожиданно, в самый критический момент, получивший передачу Высокий махнул рукой:

— Да ну вас, жрите.

А жрать, собственно, было нечего. Когда то, что осталось от передачи, тщательно разделили и кучками разложили на столе в расчете на тех, кто не был

угощен, доля каждого оказалась так мала, что не только не могла приглушить голод, но едва ли позволяла даже ощутить вкус. Получив этот неожиданный паек на ладошку и слизнув его, как собака ложку сметаны, каждый почувствовал скорее не торжество справедливости, а горечь потери: одни — того, что пролетело так незаметно, другие же еще и того, что так же невосполнимо оторвалось от их совести.

## Глава 7

### Суд

В субботний день 13 мая 1944 года в секции «воронка», тесной, как кабина истребителя, меня вывезли из Бутырок. Сквозь узкий просвет и маленькое окошечко в задней дверце машины я видел, как задвинулась бетонная стена тюремных ворот. И вот передо мной широкими улицами убегает Москва. День солнечный, теплый, какой-то радостный. Я узнал знакомую мне по почтовым маркам колоннаду театра Красной Армии и обрадовался этому, как будто меня везли вовсе не на суд. Где-то ближе к центру, на перекрестке, «воронок» задержался, и я увидел на фоне залитого солнцем светлого фасада здания идущего по тротуару военного, держащего за руку маленькую девочку. Я догадался, что они счастливы. Я смотрел на них не отрываясь, мне казалось, что это и мое счастье, и меня только беспокоило, что сейчас поедет «воронок» и прервет его. Но в это время синий троллейбус закрыл от меня военного с девочкой, а когда он проехал, их уже не было. И тогда я вспомнил, что меня везут в трибунал.

Я сидел между своими товарищами. Справа от меня — Юрий, слева — Алексей. За стулом каждого из нас стоит охранник. Перед нами — три члена Военного трибунала города Москвы, справа — два защитника, слева — прокурор. Еще в Бутырках я слышал, что суд, как в трибунале, так и на Особом совещании, длится не более пятнадцати минут. Для нас сделали исключение, что ли. Не перебивая, выслушали всех подряд, потом стали задавать вопросы. Рабочий день закончился, и суд пришлось перенести.

Когда я вернулся в свою камеру, все страшно удивились:

— Как? Почему?

Что я мог ответить, кроме того, что суд еще не окончен и мне предстоит ждать его продолжения до понедельника, так как членам суда в воскресенье положен отдых? Мы тоже ничего не теряли, в тюрьме дни недели не считают. Но нервное напряжение возрастало.

В понедельник все повторилось, только ехал я на этот раз на Каланчевку, где находился трибунал, натянутый, как тетива, в тяжелых раздумьях, хотя мысль крутилась все время на одном: что будет? И о чем бы я ни старался думать, я опять, по кругу, как заблудившийся в лесу, возвращался к этому вопросу, безнадежно пытаюсь отгадать ответ на него. Ясно было только одно: сегодня все должно решиться.

Я вел себя не лучшим образом, и даже тогда, когда адвокат задал наводящий вопрос: «Кем из русских писателей вы увлекались?», имея в виду, что я назову Герцена с Огаревым и Чернышевского, и их влиянием можно будет хоть как-то оправдать мое стремление к бунтарству и правдоискательству, я, не догадавшись об этом, брякнул:

— Пушкиным, Тургеневым, Чеховым.

Как я мог изменить этим именам, когда на Лубянке десять раз подряд прочел тургеневский рассказ «Лес и степь»?

Когда заслушивались стороны, прокурор Дорон (фамилия запомнилась на всю жизнь) потребовал для меня как руководителя группы высшей меры наказания. Члены суда не уходили на совещание, а только пошептались между собой, и вот все встали. Зачитывается приговор:



— Именем Российской Советской Федеративной  
Социалистической Республики...

У меня задрожали колени.

## Глава 8

### Пересыльная камера

Обратно нас везли уже вместе. Алексей, только перед самым началом суда получивший передачу, сунул мне порядочный кусок соленого сала. Вкусное; я с жадностью набросился на него и, пока ехали, съел без всякого хлеба. Все было ясно, все было кончено, я остался жив, а впереди нас ждал исправительно-трудовой лагерь, где, по рассказам, жить легче, чем в тюрьме. Недаром же заключение в тюрьму определяют как наиболее тяжелое наказание.

У меня опять сменилось местопребывание. Оказалось, что тюремная церковь в Бутырках, как и все храмы в нашей стране, выполняла совершенно иную, но не менее нужную для грешников функцию. Подвергнув реконструкции, ее поделили на три этажа, каждый этаж разделили на шесть или восемь камер, где и содержали осужденных до отправки их в пересыльную тюрьму на Красной Пресне. Эта церковь стала очередным моим пристанищем.

В большой камере на сплошных нарах человек двести. Очень жарко. Люди в пожелтевших от прожарок нательных рубахах распластались на нарах, изнемогая от духоты и безделья. В дальнем от двери углу расположился «куток». Голые по пояс урки с синими орлами и крестами татуировок на жирных телах резались в карты.

В камере заметно выделялся красивый стройный брюнет, одетый в форму стального цвета — не то танкиста, не то артиллериста. Он бойко насвистывал модный фокстрот, постукивая в такт костяшками домино: получался джаз. Это Володя Азербайджанец. Он не танкист и не артиллерист. Он вор. У него

неунывающий характер. Он любит прогуливаться по камере, заводить разговоры. Иногда он подшучивает, причем довольно зло, над Зеленой Крокодилой.

Зеленая Крокодила — пожилой человек, выглядящий к тому же старше своих лет. На нем потрепанный шерстяной темно-зеленого цвета френч, который и определил его прозвище. Он смирный, забитый, беспомощный, что, однако, не помешало ему иметь не первую судимость: в тихом омуте черти водятся. У Крокодилы, видимо, плохо держится вставная челюсть, и поэтому он хранит ее в кармане френча. Последнее обстоятельство дает возможность Володе Азербайджанцу потешиться. Он протягивает Крокодиле корочку:

— Хочешь есть?

Крокодила хлопает узкими слезящимися глазками: кто же откажется поесть? Плохо веря своему счастью, все же протягивает руку. Нет, все в порядке, никакого обмана, остается только достать из кармана челюсть. А вот ее-то как раз и нет. Крокодила уныло смотрит на корочку, мнет ее беззубыми деснами, пробует сосать. Корка давнишняя, жесткая, почти сухарь. Ничего не получается. Покатываясь со смеху, Володя Азербайджанец снисходительно протягивает Крокодиле вытасненный у него из кармана протез.

Азербайджанец неиссякаем на проделки.

— Покушал? — спрашивает он Крокодилу заботливым тоном. — Теперь можно и покурить.

Он знает, что у Крокодилы не бывает ни табаку, ни бумаги, и протягивает ему крохотную, скрученную из газеты сигарку. Крокодила с жадностью отощавшего человека делает одну затяжку, другую. И вдруг сигарка взрывается, обжигая его лицо крупными искрами. Азербайджанец хватается за живот от хохота: он заложил в махорку серу от спичечных головок. Смеются и другие, довольные тем, что развлеклись. Крокодила,

вытирая лицо, укоризненно, но ничего не говоря, смотрит на обидчиков: если не имеешь своего табака, за чужой надо платить.

Еще задолго до обеда, как и везде в камерах, кто-то из наиболее нетерпеливых торчит у двери, чутко прислушиваясь.

— Внизу уже дают! — извещает он радостно.

И все оживляются: дождались! Теперь уже слушают все, жадно ловят каждый звук. Общий радостный возглас врывается, когда фляги начинают греметь на своем этаже. У двери поспешно выстраивается очередь. С грохотом откинута дверца раздаточного окна, как салют, возвещает о наступлении торжественной минуты. Тот, до кого дошла очередь, с затаенной надеждой следит, как зачерпнет суп раздатчица: может, ему попадет погуще. Шестерки, получая без очереди, разносят горячие миски сидящим на нарах ворами в законе. Тюремная элита считала себя за людей, остальные были букашками.

На прогулке я обратил внимание на размеры двора. Окруженная красными кирпичными стенами, толпа в двести человек буквально терялась в нем, становилась маленькой кучкой. Я подумал: так сколько же разных дворики и дворы в Бутырке и сколько надо надзирателей, чтобы ежедневно всех арестантов выводить на прогулку?

В паре со мной шел Леон Иосифович, армянин. Я обратил внимание на схожесть имени и отчества его и Кулинского. Добрый, уравновешенный, он сам предложил нам с Лешкой место на нарах рядом с собой, потеснившись и потеснив других, и тем самым избавил нас от соседства с блатными.

— Интересно, — спросил я его, не надеясь получить ответ, — сколько же заключенных содержится в Бутырке?

— Говорят, пятьдесят тысяч, — ответил он. — Город.

Все тюрьмы объединяет нечто общее, то, что составляет порядок содержания арестантов. К этому относятся прежде всего обыски, или шмоны, и помывки в бане. Первые заключенные воспринимают с недовольством, иногда с насмешкой, банные же дни ожидаются с нетерпением, хотя для тех, у кого много вещей, они проходят не без проблем.

Личные обыски производятся при поступлении в тюрьму и при выбытии из нее, причем не всегда одинаково. Особенно тщательной проверке подвергаются заключенные перед уходом на этап. Тогда их заставляют раздеться догола, и идут команды:

— Подними руки! Разожми пальцы! Повернись! Нагнись!

Прощупывается одежда. И лишь когда проверяющий убедится, что ничего нет, следует последняя команда, уже более спокойным тоном, без окрика:

— Одевайся!

Обыск бывает и просто поверхностный, чисто формальный. Вертухай наскоро проводит обеими руками по бокам, от подмышек до ног. Для чего это делается, непонятно, потому что при такой проверке можно обнаружить разве только пулемет или связку гранат. Иногда обыск производится в камере во время прогулки заключенных. Осматриваются постели, узелки с личными вещами, доски нар: нет ли где игральные карты или металлических предметов, самодельных ножей, на изготовление которых арестанты большие выдумщики и ловкие мастера.

Баня — событие шумное, динамичное, чуть ли не торжественное. Это развлечение в застойной тюремной жизни. Главное — лишний раз покинуть опостылевшую камеру, почувствовать себя свободнее. И в сборах в баню, и в построениях при выходе из камеры — заметное возбуждение.

В предбаннике все белье — верхнее, нижнее, запасное — нацепляется на большие крючки и подвешивается на металлические передвижные вешала для отправки в прожарочные камеры. Каждому в руку суется брусочек мыла граммов на двадцать. Дальше все зависит от собственного проворства: нужно захватить поскорее шайку, занять место на скамье, приспособить что-нибудь вместо мочалки. Тело, изнуренное камерной духотой, радо пару, мылу, горячей воде.

Особая суета при одевании. Белье горячее, подрумяненное прожаркой, пахнет свежей выпечкой. Этот запах стоит в предбаннике, арестанты приносят его с собой в камеру, где какое-то время блаженствуют, чистые, порозовевшие, в приподнятом настроении.

Сколько их, разных бань, просторных и тесных, удобных и не очень, роскошных и простеньких, но в каждой происходит таинство омовения тела человеческого, очищения его от скверны, недугов и вселения в него духа радости, умиротворения и всепрощения. Человек не может выходить из бани желчным, озлобленным, ненавидящим белый свет. Даже само банное помещение имеет большое значение. Бани в Бутырской тюрьме строились, видимо, с таким учетом. Невысокие сводчатые потолки, стены, пристроенные к ним скамьи из отшлифованного природного камня, полы из плитки, уложенной ковровым рисунком, — все несколько тяжеловато, но выдержано в определенном стиле, в мягких тонах. Не бани, а терем. Если не впадать в отчаяние, то и в тюрьме можно увидеть что-то скрашивающее жизнь.

## Глава 9

### Тюрьма на Красной Пресне

После Бутырок пересыльная тюрьма на Красной Пресне не произвела на меня впечатления ни размерами, ни убогой архитектурой. Но камера, в которую меня втокнули, оказалась небольшой и аккуратной, с нарами-вагонками, покрашенными масляным суриком. Осмотревшись, сразу слева от двери я увидел свободное верхнее место и, уже имея какой-то навык, проворно взобрался на него. Только сбросил пальто и шапку, как подошел к вагонке пожилой человек. Опершись рукой о стойку, он молча, но приветливо смотрел на меня. Что-то знакомое показалось в его лице, но я его не узнавал. И лишь когда он улыбнулся и блеснула золотая коронка, я обрадовался:

— Иван Осипович!

Это был Кулинский, но только без бородки клинышком.

— Я тебя тоже не сразу узнал, — сказал он. — Мне показалось, будто урка вошел.

Мы посмеялись, потом обменялись нашими новостями. Ему «за содействие немцам» дали 7 лет. Мы оба были рады встрече, понадеялись, что попадем в один этап. Но этого, к сожалению, не произошло.

В пересылке постоянно шла какая-то круговерть: то переброски в другие камеры, то выкрики на этап; все время суета, шум. Через несколько дней загремел на этап и я. И опять надоевшие уже шмоны, баня с прожаркой, выстаивания в коридорах и бесконечные переклички:

— Фамилия? Имя? Отчество? — И тут же скороговоркой: — Статья, срок?

Мы погрузились в открытый кузов грузовой машины. Там можно было поместиться только стоя, но нас все уплотняли.

«Чтобы не упали на ходу», — подумал я.

И вдруг команда, как всегда, окриком:

— Садись!

«Как — садись? — подумал я. — Мы и стоя-то едва можем дышать».

Замешкались.

И опять, как собачий лай:

— Садись!

Странно, но мы действительно сели. Оказывается, человека можно заставить сделать все, даже то, что поначалу кажется невозможным. Я вспомнил в связи с этим, как летом 1942 года нас, учеников-старшекласников, собрали на военные учения в Балахне, под Горьким. Целыми днями мы, голодные, гоняли по песчаному пляжу с винтовками, противогазами и саперными лопатками. Воды не давали. Про нашу кормежку мы говорили: на первое — вода с манкой, на второе — манка с водой. С пляжа до лагеря два километра опять бегом. Ноги подкашиваются, во рту пересохло. И наконец идем строем до кухни.

— Запевай! — командует наш взводный, лейтенант Трофименко.

Губы не размыкаются.

— На месте...

Мы топчемся.

— Вперед шагом... Запевай!

Во рту сухо, язык шершавый, будто к нему комочки прилипли. Вместо пения получается нестройное мычание.

— На месте...

И так до тех пор, пока мы не запоем, как положено:

— Когда нас в бой пошлет товарищ...



Но имя «товарища» я уже тогда если и произносил, то с еле скрываемым омерзением.

## **Глава 10**

### **Этап на Вязьму**

Нас привезли на Белорусский вокзал. Где-то за левым крылом здания выгрузили, окружили солдатами с винтовками и собаками.

— На колени!

Мы опустились, как на молитву.

Пошел дождь, сначала несильный, потом разошелся. А мы все стояли на коленях, может быть, час, может, больше. Вода струйками стекала за воротник, под нами разливалась лужа. Мы, мокрые и замерзшие, только поеживались. Москва меня больше не привлекала. Наоборот, зарождалась ненависть к этому городу. Уже стемнело, когда нас загнали в вагоны.

— Шесть месяцев и три дня, — подсчитал я время со дня своего ареста.

Наступал новый период моей невольничьей жизни: закончился тюремный, предстоял лагерный.

Поезд шел всю ночь.

— На запад везут, — заметил кто-то.

— Вот бы на фронт!

Из вагонов высыпали ранним утром, серым, хмурым. Тучи, лохматые, разорванные в клочья, плыли низко, быстро. После многодневных дождей все пропиталось сыростью. Даже воздух, казалось, отяжелел и набух от избытка влаги.

Рядом с железнодорожными путями — огромные бетонные глыбы, потемневшие от дождя. Это все, что осталось от вокзала.

— Вязьма, — прошло по колонне.

Узнали наконец, куда приехали.

Конвоиры вскинули винтовки:

— Вперед марш!

Угрюмая толпа, расчленившись на шеренги по пять человек, тронулась. Шлепали по лужам, по грязи, безразличные, отрешенные, подавленные — уже не столько своим положением, сколько следами, оставленными войной. С небольшого холма раскинулся город, разрушенный, опустелый. Среди развалин одиноко возвышалась колокольня.

— Двадцать две церкви было, — сказал мне сосед сбоку.

Вышли на луговину, а может, это было необработанное, начинающее зеленеть поле. Под ногами стало тверже, звякали стреляные гильзы: винтовочные, пистолетные, реже — крупного калибра. Со стороны дороги доносилось торопливое пыхтение локомотивов. Погромыхивали составы с теплушками, связывая фронт с глубоко уходящим тылом.

Шли долго, все дальше удаляясь от города, отупело разглядывая спины впереди идущих, слушая ленивое чавканье под ногами, вдыхая свежий, промытый воздух, разбавленный вонью скученных человеческих тел. Мелкопересеченная местность без единого деревца. Все скошено откатившейся отсюда войной. Попадались то подбитый немецкий танк, черный, нелепый на фоне зелени просочившейся к свету травы, то глыбы раскореженного металла. Не евшие со вчерашнего дня, уставшие от дороги, мы поднялись на такую же опустошенную возвышенность, и кто-то негромко крикнул:

— А вот и дом родной!

## Глава 11

### Зона

Посмотрев вперед, я ничего не увидел, кроме грязи. И только когда мы прошли еще метров сто, разглядел сначала тесовую вышку на четырех ногах из подтоварника и разбегавшуюся от нее в стороны ограду из колючей проволоки, а подойдя еще ближе — сливающиеся с общим черным фоном приземистые горбы длинных землянок, политых гудроном. За оградой та же грязь, только ноздрястая, растоптанная, будто по ней только что прогнали многочисленное стадо. Ни травинки, ни кустика. Сырость, ветер гуляет.

«Вот так лагерь, — смотрел я с испугом. — Как же тут можно жить?»

Наконец остановились. Из бревенчатой проходной размером с деревенскую баню вышли охранники и надзиратель с дощечкой для записей.

— Разберись!

Немного потолкавшись, утихли.

— Сколько? — спросил надзиратель.

— Сто шестьдесят, — ответил командир конвоя.

— И все ни за что! — выкрикнули из толпы.

Стали считать:

— Первая, вторая...

Шеренги делали два шага вперед. Кажется, сошлось, никто не убежал.

— Расстегнись!

Начался шмон. Солдаты наскоро ощупывали наши бока, руки, ноги, заглядывали в скудные пожитки. Распахнулись воротца из жердей и колючей проволоки.

— Заходи! Первая, вторая...

И вот я в лагере, в зоне. Впечатление удручающее. Не верилось, что в таких условиях могут жить люди. Я

вспомнил, как в тюрьме многие, уже бывалые, с нетерпением ожидали отправки в лагерь. Сейчас мне это было непонятно, тюрьма вспоминалась как уютный дом.

Землянки представляли собой подобие звериных нор, только вырытых по размеру человека. Стены, потолок, двухъярусные нары — все из еловых жердей, неотесанных, с торчащими сучками. Когда ночью пошел дождь, глинистая жижа с потолка падала на постели, шлепалась в лужи на полу. Крысы, пища, шныряли по головам, грызли что поддается. У меня объели цигейковый воротник пальто, соседу по нарам рассекли щеку.

Лагерь оказался невелик — так, загон из колючей проволоки. По углам — четыре вышки, сколоченные наскоро, кое-как. Метрах в трех-четырех от внешнего ограждения по территории зоны проходит еще один ряд колючей проволоки, оцепляющей предзона, заходить за который запрещено, иначе с вышки будут стрелять. Основную площадь занимают мрачные саркофаги землянок. Самый дальний из них — женский. Саркофаг поменьше — столовая с кухней. Несколько особняком стоит такого же вида санчасть, а в углу, возле женской землянки, небольшая баня, топящаяся по-черному, как курная изба. Когда в ней моешься, дым разъедает глаза; все приходилось искать и делать на ощупь. Как-то, шаря в потемках, я попал рукой в котел с горячей водой, благо она не кипела.

В зоне оказался садик. Перед столовой врыты в землю две скамейки, а возле них воткнуто несколько маленьких елочек. Сделано это недавно, елочки еще зеленые.

Рядом с проходной стоит столб с перекладиной, на которой подвешен кусок рельса. Тут же большой болт. Утром и вечером в одно и то же время надзиратель, а если ему лень, то нарядчик из заключенных бьет болтом

по рельсу. Заслышав звон, дневальные в землянках оповещают о подъеме или отбое.

Каждое утро мутная толпа зэков, съев полпайки пересоленного хлеба и полмиски колючей овсяной каши, скучивается у проходной. Нарядчик бегаёт по лагерю, покрикивая:

— На развод! На развод!

В это время дежурный надзиратель с дощечкой, на которой записаны бригады, командует у ворот:

— Строиться!

Зэки, толкаясь, нехотя разбираются в шеренги по пять. Сдержанный шум, переговоры. Наконец распахиваются ворота. И опять команда:

— Первая, вторая...

Зэки выходят за пределы лагеря. Их встречают солдаты со вскинутыми винтовками, иногда с собаками. Теперь считает начальник охраны, тоже с деревянной скрижалю:

— Первая, вторая...

Слава Богу, у надзирателя с конвоем числа не сошлись, будет пересчет. И снова:

— Первая, вторая...

Зэки довольны: рабочее время идет.

Ну вот и последняя команда:

— Шаг влево, шаг вправо — считается побег. Конвой применяет оружие без предупреждения. Вперед!

Колонна медленно, будто у всех спутаны ноги, сдвигается с места. Держа руки за спиной, зэки с трудом, как тяжелобольные или нагруженные непосильной ношей, переставляют ноги на длину ступни. Ходить медленно — это тоже искусство, не все умеют. Поэтому в первой шеренге постоянно идут те, у кого получается лучше других. Придраться не к чему — люди идут, да и некому — конвой тоже выслуживает свое время.

Постепенно, будто корабль без ветрил, колонна исчезает из виду. Лагерь затихает. В нем остаются только придурки из obsługi и больные. Надзиратель с нарядчиком считают оставшихся. Оба полуграмотные, долго, путано сводят баланс. Иногда обнаруживается симулянт или просто спрятавшийся от работы доходяга. Таких отправляют в кондей, но чаще провожают в общее оцепление с отдельным конвоем — «с доводом».

## **Глава 12**

### **Первое подневольное лето**

#### ***Работы на аэродроме***

Общее оцепление охватывает огромную территорию, включая взлетную полосу аэродрома с прилегающими к ней рулежными дорожками. Аэродром построили немцы, сделали его добротно. Взлетная полоса, в ширину со стадион и в длину, неохватную глазом, устлана бетонными плитами размером три на три метра. Плиты подогнаны плотно, спланированы со строго выдержанным уклоном в сторону водосборных коллекторов. Такие же и рулежки. Просветы между бетоном тщательно засеяны травой.

Отступая, немцы взорвали аэродром. Огромные воронки изуродовали площадку, бетонные глыбы разбросало вдоль коллекторов. Место высокое, открытое; ветер, не встречая препятствий, гуляет вольготно, освежая в жару, пронизывая в ненастье. Ни селеньица вокруг, ни купы деревьев: война все смела. Безлюдье, тишина.

Зажав между колен винтовки, сидят, кто на чем, солдаты конвоя, редкой цепью окружив аэродром и издали краснея погонами. Между ними и бетонкой, среди луговины, как засыпающие осенние мухи, редкой россыпью расселись на корточках эки, мужчины и женщины: туалетов в оцеплении нет. На самом аэродроме людей почти не видно. Они разбросаны по воронкам. Тупыми лопатами вымахивают из них сырую, увесистую глину в две, в три перекидки. Глина пристаёт к лопатам, нарастает на них. Лопаты тяжелеют, как кувалды. Воронку надо вычистить досуха и потом сухим



грунтом утрамбовать послойно так плотно, чтобы не было осадки.

На этой работе занято все население лагеря. Только наша бригада человек в двенадцать составила исключение. С первого дня мы почему-то не попали в общее оцепление. С отдельным конвоем нас посадили в трехтонку, бросив в кузов кирки и совковые лопаты.

— В карьер, — объявил бригадир.

Мы обогнали далеко ушедшую вперед колонну, с ветерком промчались по гладкой рулежке, а потом километров десять тряслись по изрытой снарядами когда-то мощеной дороге.

Карьер вырыли немцы, видимо, когда строили аэродром. Он, как кратер с прорванным лавой боком, въелся в крутой холм. Склоны высотой с четырехэтажный дом краснели ровной некрупной галькой, нашпигованной круглыми, как арбузы, булыжниками. На дне — лужа чистой дождевой воды. Поодаль от нее — остов экскаватора без гусениц. Через проран наезжена дорога, по которой трехтонные бортовые ЗИСы вывозят гравий. Для загрузки их нас разбили на звенья по три человека. Дали норму — семь минут на машину. Из интереса по часам шофера мы засекали время. Машину накидали за десять минут. Но необходимости соблюдать график не было. Машины ходили редко, и мы успевали между езדками не только разрыхлить кирками гравий, выбрать и уложить в штабель булыжники, но и немного отдохнуть.

Лето разгуливалось. Дни стояли ведренные. Приятно было, наломавшись с камнями, полуголому привалиться к ним, прохладным, только извлеченным из недр. В закрытом карьере тихо. Июньское солнце прокаливает его, создавая особый микроклимат. Изредка задувает откуда-то сверху ветер, обдавая разогретые тела свежим, еще не прогретым воздухом.

В отдалении дремлют конвойные, уткнувшись в винтовки. Глядя на них, мне не раз приходила в голову мысль: ведь вполне можно удрать. Как-то я сказал об этом Химику, человеку далеко не молодому, окончившему, по его словам, Институт красной профессуры и преподававшему где-то химию, за что он и получил свое прозвище.

— Бежать? — переспросил он. — Не стоит рисковать. Война кончится, все равно нас всех выпустят.

Мы все на это надеялись. И ежедневно считали дни, проведенные в неволе. Те, кто отсидел половину срока, считали дни оставшиеся. Каждому свой срок казался бесконечным.

По утрам за воротами, пока мы поджидали машину, нас весело встречала рыжая собачонка. Она ластилась к нам, прыгая, живо помахивая хвостом. Глаза ее блестели — так она была рада людям, у которых не находилось для нее угощения, но которые заигрывали с ней, трепали, гладили ее.

Я знал, что это собачка Федьки-пекаря, расконвоированного заключенного, пекарня-засыпушка которого стояла тут же, поодаль. Зэки ненавидели Федьку за сырой, с кристаллами соли, тяжелый хлеб. Он же, как раб, получивший вольную, уже не считал себя ровней заключенных. Сытый, он утратил солидарность с нами, вовсе не предполагая, что за малейшую провинность или по капризу судьбы снова может оказаться за проволокой, где ему едва ли простят и пересоленный хлеб, и временные привилегии. Поэтому и к собачке его отношение было неоднозначным. Среди ласковых слов иногда слышалось злобное:

— Жирная, падла!

И тут же кто-нибудь добавлял про Федьку:

— Откормил ее нашей пайкой.

Однажды, когда нас везли на работу, я неожиданно заметил, что собачка находится с нами в кузове машины. Ее прикрыли тряпьем и поглаживали, успокаивая, чтобы та не выдала себя лаем. А собачка и не беспокоилась, она знала, что среди своих и опасаться нечего.

Едва машина остановилась в карьере, а конвоиры разошлись по своим местам, зэки высыпали из кузова. Собачку освободили от тряпья. Она обрадованно запрыгала. Но тут же острием кирки ей размозжили череп, а лопатой рассекли горло. Все делалось быстро, бесшумно. Кто потрошил собаку, кто кромсал черенок лопаты на дрова; тут же катали валик из ваты, добывая огонь. И еще не ушла первая груженная машина, как запылал костер, а вскоре по карьере уже растекался вкусный запах вареного мяса. Зэки, не в силах надолго оторвать взгляд от черного, в копоти, котелка, глотали обильные слюни.

В пиршестве принимали участие не все, только кадровые урки и те, кто так или иначе способствовал его организации. Мне тоже протянули косточку с небольшим количеством мяса. Химик же, которого не угостили, утешал себя:

— Выйду на волю, сконструирую кухонный автоклав, в котором все косточки будут развариваться, как картошка.

Голову и лапы собаки завернули в шкуру и спрятали под камни.

— Завтра из этой шкуры лапшу сделаем.

Но лапшу сделать не пришлось: на другой день нашу бригаду снарядили в общее оцепление. Потом мы еще долго вспоминали карьер, где работа была, как говорили, не бей лежачего.

На аэродроме нас приставили к камнедробилке. Небольшая, массивная машина с электроприводом оказалась прожорливой. Булыжники она хрупала, как

сахар, без заметного усилия. Полученный щебень потоком валил из ее чрева. Беспрерывно приходилось грузить его в тачки и отгонять их. Без привычки гонять тачку — это маета, а не работа. Если идти за ней по деревянному трапу, она, груженная, не слушается, скатывается с доски или заваливается набок, и тогда ее, тяжелую, не поднять: в ней больше ста килограммов. Чтобы удержать равновесие, приходится расставлять ноги пошире. Руки врозь, ноги врозь — неудобно. Но проходит день, второй, и уже идешь по доске уверенно, умело нагрузив тачку, — нужно, чтобы центр тяжести приходился точно на колесо, тогда идешь уверенно и сил тратится меньше.

Стояла жара. Мы работали по пояс голые, обливаясь едким потом, поглядывая на ненавистную камнедробилку в надежде, что она все-таки сломается. Но она не ломалась, грызла и грызла булыжники, а мы махали совковыми лопатами и гоняли тачки до дрожи в ногах.

И все-таки мы нашли способ для передышки; его подсказала сама машина. Мы выбирали тяжелый камень, гладкий, округлой формы и, подняв его над прожорливым хайлом дробилки, в котором мощно ходили взад-вперед ее чугунные челюсти, выбирали момент, когда они максимально разойдутся в стороны, но еще не начинают обратного движения, и тогда с силой бросали булыжник. Машину заклинивало. Она останавливалась, длинный приводной ремень слетал, и наступала тишина. Мы расслаживались, распуская натуженные мышцы и злорадствуя над тем, как перехитрили ехидного зверя. Потом по очереди, не торопясь, кувалдой начинали разбивать застрявший по нашей вине камень. Один бил, другие в это время наслаждались отдыхом. Так мы проделывали не один раз в день, и уличить нас в злом умысле было нельзя, потому что и без нашего участия такие остановки могли

случаться. И все равно, когда мы пешком возвращались в зону, ноги подкашивались от усталости и недоедания.

Володька Вербицкий из нашей бригады как-то дорогой сказал мне:

— Я накнокал, в санчасти после ужина рыбий жир дают.

Фельдшер санчасти, бывший фронтовик, попавший в лагерь после ранения, был, пожалуй, единственным человеком из вольнонаемных в обслуге, который относился к заключенным без предубеждения, с явным сочувствием. Он ходил в солдатской форме, но без погон и делал, как мы узнали, все возможное для облегчения нашей участи. Потом я встречал даже среди надзирателей порядочных людей, которые не стремились приумножить зло, сохраняя человечность при нечеловеческой работе. Не много таких было. Свое сочувствие к заключенным они проявляли по-разному. Некоторые лишь при случае и чтобы незаметно было для начальства, но были и такие, которые, честно выполняя свои обязанности, не считали, что они выше ээков.

Вечером мы пришли с Вербицким в санчасть. В землянке в узком коридорчике, обшитом досками, стояла очередь. Тут были мужчины и еще какие-то существа, в которых я не сразу признал женщин. Остриженные наголо, худые, в замызганных трикотажных лагерных юбках, они производили впечатление не жалкое, а отталкивающее, будто это были не люди, а затравленные, заморенные животные, от которых уже нет никакой пользы и поэтому никому не нужные. Сутулясь, они смотрели, ничего перед собой не видя, абсолютно утратив интерес к окружающему и к самим себе. Не верилось, что так могут выглядеть представительницы прекрасного пола. И тут я вспомнил так поразившую меня по прибытии в лагерь картину рядом сидящих по нужде мужчин и женщин. В условиях

лагерной жизни что-то утратилось у них из набора человеческих чувств.

Очередь заметно подвигалась к дощатой же некрашенной двери, в которую довольно проворно шмыгали желающие полакомиться рыбьим жиром и из которой так же живо они выскальзывали обратно, на ходу облизывая деревянную ложку и передавая ее следующему.

— Ты тоже эту ложку бери, — предупредил меня Володька, — она больше других.

Некоторые счастливчики выливали содержимое ложки в котелок с горячей картошкой, вслух высказывая свое удовольствие:

— Бацилла! — что означало «жир», «масло».

### ***Немного о воровском сообществе***

Прошло семь месяцев моего заключения. Война еще до ареста лишила меня, как и других школьников, каникул, познакомила с тяжелым физическим трудом. Одно лето я провел на оборонных работах, другое — на строительстве узкоколейки от торфоразработок к городу. Было тяжело, как сейчас, постоянно хотелось есть, также дополнительная порция каши вынуждала работать до кровавых мозолей на руках, до боли во всем теле. Но труд, хотя и принудительный, не воспринимался тогда таковым, то ли по детскому неразумению, то ли из-за отсутствия конвоя, постоянно ограничивающего жизненное пространство. И все-таки первое подневольное лето не показалось мне каким-то ужасным. Видимо, до этого уже потаскав перегруженные грунтом носилки, покорчевав глубоко проросшие пни, я прошел репетицию изнурительного труда, и угнетала меня больше не физическая усталость, а совместное жительство с уголовными

преступниками, к которым причислили и нас, политических. Мы были невхожими в их общество.

Скорее это даже общность, имеющая свой язык, этнографию, культ, искусство, свою, отличную от других, культуру. Ей присущ даже национализм, если блатной мир признать за отдельную нацию. Дело в том, что эта общность не терпит отличных от себя. Чтобы стать ее полноправным членом, необходимо прежде всего усвоить ее язык: изысканно материться, по возможности большее число обычных слов заменять жаргонными. Обязательно курить. Неплохо, если умеешь «бацать», то есть отбивать чечетку. И безоговорочно соблюдать иерархию. На верхней ступени стоят вору в законе, получившие признание у просто воров, или урок, проявленной доблестью в бандитизме и знанием воровских законов. Они имеют слуг — шестерок, которые выполняют определенную работу — убираются, готовят пищу, бегают на посылках. За это они пользуются покровительством сильных хозяев и, как всякие лакеи, за их спинами считают себя вправе угрожать всякому, кто не принадлежит к воровскому миру.

Верховная власть среди воров в законе, если их собирается в одном месте несколько, принадлежит старшему как по воровскому стажу, числу и общему сроку отбытых тюремных заключений, так обычно и по возрасту. Зовут его пахан, что в переводе на обычный язык означает «отец», «старший», а на практике — «повелитель».

Частенько можно было видеть, как, собравшись в *куток* на нарах, еще не обстрелянная молодежь сидит на корточках вокруг пахана, внимательно слушая его, как школьники учителя. А он, в одном исподнем белье, иногда в накинутом поверх него пиджачке («лепень» по-воровски), учит их воровским законам. Законы эти, хотя в них и заложены зачатки своеобразного права,

соблюдаются обычно только до тех пор, пока не стесняют вора.

Так, одним из непреложных законов считается неприкосновенность так называемой кровной пайки, в соответствии с которым не знающий иного способа удовлетворения своих потребностей, кроме присвоения чужого, вор под страхом жесточайшего наказания, вплоть до предания смерти, не должен покушаться ни на чей тюремный паек. Однако мне приходилось наблюдать, когда воры, лишенные в изоляции других средств улучшения питания, оголодав, как волки, нарушали эту святую, как у них принято считать, заповедь.

Самую нижнюю ступень воровской иерархии занимают *шкодники*, даже не имеющие права гордо именоваться ворами, хотя по сути это такие же жулики, разве только менее разборчивые в стоимости и размерах похищенного. Они шныряют в поисках того, что плохо лежит, не подчиняясь законам и не стесняясь в выборе способов добычи. Встречал я и еще одну разновидность воров. Так, в камере пересыльной тюрьмы на Красной Пресне рядом со мной на верхних нарах лежал немолодой уже, коренастый, видимо, крепкий физически мужчина, спокойный, молчаливый, ни во что происходящее в камере не вмешивающийся. Напротив нас расположился куток. Воры, как обычно, в выпущенных поверх штанов белых нижних рубашках вели *толковище*, то есть обсуждали насущные проблемы, то спокойно, тихо, то возбуждаясь, размахивая руками, едва не доходя до угроз.

— Ненавижу, — вдруг вырвалось у моего соседа.

Я не понял.

— Вон, — кивнул он в сторону кутка. — Шкодники.

Слово за слово, и мы разговорились. Сосед мой тоже оказался вором, только он по мелочам не разменивался



и на мой вопрос, что же служило объектами его воровства, доверительно и без всякого пафоса ответил:

— Банки, ювелирные магазины.

Среди воров подобной категории встречаются люди с высшим образованием, часто инженеры, доводящие свою «вторую специальность» до грани искусства.

Нашу бригаду укрупнили. В ней нас, фашистов, то есть осужденных по 58-й статье, оказалось всего пятеро: мы с Алексеем, Химик, Володька Вербицкий и Иван Михайлович, человек уже пожилой, лет за шестьдесят. Остальные оказались бытовики и воры, среди них даже два числящих себя в законе — Саша Повар и Борода, никогда не работающие, но требующие максимальный по выработке паек.

Они ходили парой. Борода, прозванный так за свою рыжеватую бородку, небольшую, аккуратную, был лет тридцати с небольшим, среднего или чуть выше роста, худощавый, подтянутый, одетый то ли в шинель офицерского покроя с отпоротыми пуговицами, то ли в балахон, по цвету и форме напоминающий шинель, в кепочке. Держался он несколько развязно, вольно, но нельзя сказать, что нагло, особо вызывающе, как любят вести себя иные воры в законе по отношению ко всем, кого они именуют «букашками», вплоть до охранников и надзирателей. Говорили даже, что Борода будто бы и никакой не вор, а играет под него, что в Москве у него влиятельный папаша, а он просто избалованный сынок.

Саша Повар — полная ему противоположность. Короткий, разъевшийся, с узкими щелками глаз на круглом, оплывшем лице. Как и положено вору, в нательной рубаше, болтающейся поверх брюк. Ходил босой, высоко поднимая ноги, осторожно выбирая место, куда ступить, будто кругом битое стекло. Голосок имел гнусавый, тонкий, под стать своему капризному характеру. Завидя дымок костра или группку, усевшуюся вокруг котелка, подходил,

опускался на корточки и молча запускал ложку в варево. Если кто-то возмущался, огрызался:

— Молчи, падла, пасть порву.

Или объяснял, выцеживая слова:

— Мне положено, я вор в законе.

Да, воры считали, что по их закону все, у кого имелись продукты, кроме пайки, обязаны им выделять долю. Шестерки обычно подходили к тем, кто получил передачу или посылку, и заявляли негромко, спокойно, уверенные, что им не откажут:

— Выделить надо.

И выделяли, боясь, что потеряют больше.

### ***Злополучная воронка***

В это время мы работали, как и большинство зэков, на заделке воронок. Лопатами, которые никто никогда не точил, да и точить их было нечем, сначала вычищали воронку от вязкой, набухшей от воды глины до сухого грунта. Работа нудная, тяжелая. Тупая лопата сопротивляется, будто ее вгоняют в резину. Потом увесистый ошметок глины надо вымахнуть на высоту до трех метров, а то и более. Глина вязкая, клейкая. Каждый раз ее порядочно остается на лопате, надо счищать щепкой. Лопата тяжелеет, даже черен за день обрастает слоем засохшего глиняного теста.

И вот слой за слоем мы лезем вглубь. Глиняное месиво кажется нескончаемым.

— Досуха, до твердого грунта, — требует иногда подходящий к нам прораб, вольнонаемный в штатском.

Солнце и лопата выжимают пот. По светилу и теням от него мы безошибочно определяем время, с утра поджидая обед, после обеда — возвращение в зону и ужин. Но где же этот сухой грунт? Кажется, уже всю сырую глину выбрали, и все равно под нами как будто

пружинный матрац. В конце концов, обессиленные, упавшие духом, мы единогласно решили, что все, хватит, затрамбуем как есть, и начали засыпать воронку, прихлопывая сухую глину трамбовкой, как и положено, слоями по десять — двенадцать сантиметров. Трамбуем добросовестно, плотность проверяем ударом лома. Допускается погружение его только на острие. Бьем слой за слоем. Тяжело, но все-таки эта работа веселее, чем лезть лопатой в землю. Только вот зыбь не пропадает. Трудимся день, два, три. Мы уже поднялись из ямы, нам видно аэродром, опять палит солнце. Но основание под нами мнется, как плохо надутый мяч. Ничего, затрамбуем! Скорее бы только, пока не видит прораб.

Мы полностью затрамбовали воронку, но зыбь грунта осталась. Мы удивляемся: ведь глубина — более трех метров.

Пришел прораб, посмотрел. Не ругался, а только сказал:

— Вычищайте обратно.

— Да ничего не будет, — защищались мы.

— Выкидывайте.

Это опять рыть на всю глубину. Зря проделать такую работу! А какую пайку мы получим? Мы повалились, кто на бетон, кто на глину, совершенно подавленные.

Куда денешься? На следующий день, злые, молчаливые, мы начали выбрасывать так добросовестно утрамбованный нами грунт. И опять солнце, лопата, пот, ожидание обеда — супа из магара и колючей от мякины овсяной каши. Снова метр за метром вглубь. И опять нет сухого грунта. На дне собралась совсем крошечная, исчезающая лужица, едва ли с полведра воды. Но она тиранит нас. После каждого вычищенного слоя она выступает наружу, как кровь на месте

захоронения невинной жертвы. Наконец мы бесимся и бросаем лопаты.

— Хватит!

Курящие наскребли по карманам щепотку махорки вперемешку с хлебными крошками и разным мусором, передают друг другу слюнявый окурок.

— Ба, — вдруг хлопает себя по голове Радзиковский. — Идиоты.

Он указывает на плоскую глыбу бетона от стены коллектора, что валяется поодаль после взрыва. Мы не понимаем. Радзиковский, воодушевленный идеей, поясняет:

— Шлепнуть эту балду на лужу, и конец.

— Да в ней больше тонны.

— А если плашмя не упадет?

Но идея захватывает всех. Находится инструмент. Ломами, дрынами мы двигаем глыбу к яме, забыв про усталость. И вот торжественный момент: бетонная глыба рухнула вниз и, как по расчету, накрыла собой лужу. Теперь скорее, чтобы не видел прораб, засыпать, утрамбовать. А если опять будет зыбь?

Но на этот раз все обошлось благополучно. Слой за слоем глина трамбовалась намертво, похоронив под собой и бетон, и лужу.

— Вот так сразу надо было, — одобрил подошедший прораб.

— Что же не подсказал? — ответили ему вдогонку. — А еще инженер.

### ***Нас двое***

Каждое утро в землянку глухо просачивался звон рельса.

— Подъем! — горланил дневальный.

Вставать не хотелось. Тело ныло, как избитое. Подталкивал окрик:

— Бугор уже в хлеборезке!

Больше медлить было нельзя, спешили в столовую. Пайки, как на подносах, выносили в больших плоских ящиках. К кускам хлеба деревянными шпильками прикалывались довески, иногда не один. Бригада собиралась вокруг ящика. Все застывали в молчаливом напряжении, жадно разглядывая пайки: которая больше? Каждому хотелось горбушку, она легче, а значит, и больше, да если еще с довеском! Но все зависит от воли бригадира. Получившие горбушку, довольные, отходили с облегчением, получившие мякиш вертели его в руках, огорченные, глотали обиду, оглядываясь на ящик, где еще не розданными оставались пайки получше. Не повезло!

Потом в очередь тянулись к раздаточному окошку кухни, получали кашку, овсяную или из чумизы. К основной порции давалось «премблюда», такая же кашка с добавлением ложки американской консервированной фасоли. Но это не всем, на всех не хватало дневной выработки.

В одно такое утро, ясное, тихое, предвещавшее обычный для середины лета погожий день, мы сидели с Алексеем на скамейке в нашем садике возле начинавших осыпаться елочек. Между нами стоял котелок из консервной банки с горячей картошкой. Накануне мы сумели за нее «толкнуть» Лешкин свитер и теперь, позавтракав двумя кашками с хлебной пайкой, предвкушая продолжить удовольствие, обжигая пальцы, лупили картошку. Мы даже не заметили, как перед Алексеем оказался Саша Повар.

— Ты мое премблюда схавал? — загундосил он, и тоном, и видом выражая явную агрессивность.

— Ты же не работал, — ответил Алексей совершенно спокойно и даже с ухмылкой.

— Ах ты, сучье вымя! — взвился Саша и с маху шлепнул его по лицу.

Я даже не ожидал от Алексея — он вдруг не раздумывая тычком ударил Сашу по носу. Тот, конечно, не предполагал такого, да и стоял в какой-то неустойчивой театральной позе, и полетел кувырком. Взбешенный невиданным оскорблением, с непривычной для него живостью он поднялся и бросился на Алексея. Но мы никогда не давали друг друга в обиду, и я тоже кинулся в драку. Вдвоем мы подмяли Сашу и стали его волтузить. Но тут вдруг появился Борода, и драка стала принимать оборот не в нашу пользу. Этих воров, бандитов отличает безжалостное отношение к людям. У них не бывает никаких сдерживающих факторов вроде осторожности, жалости, боязни причинить чрезмерное зло. Именно это дает им преимущество, инициативу меньшим числом покорять большинство.

На сей раз все окончилось для нас благополучно. Как раз в это время возвращались из столовой другие члены нашей бригады вместе с бригадиром Фоминым, молодым, сильным и, кажется, не потерявшим порядочности человеком, и, увидя драку, немедленно ее прекратили. В тот же день по лагерю разнеслось, что молодые «фашистики» избили воров в законе, а главное, все шkodники поняли, что нас двое, и это необходимо учитывать при нападении на одного из нас. Самое же замечательное в этом эпизоде знал я один. Когда после драки я поднялся с земли, то обнаружил в руке очищенную картофелину, совершенно целую, неповрежденную. Насколько же она была мне дорога, если, не думая о ней, я инстинктивно смог ее сохранить даже в такой невероятной ситуации.

А примерно через день мы оказались свидетелями и второго поражения Саши Повара.

Время было еще далеко до обеда, период самой интенсивной работы, когда достаточно поразмялись, но

еще не истратили дневной запас сил. Мы трамбовали свою воронку, когда вдруг услышали еще издали доносившийся совершенно необыкновенный набор звуков. Кто-то кричал, кто-то визжал, лаяла собака. Остановив работу, мы стали всматриваться, гадать, что происходит. Наконец, по мере приближения к нам шума, кто-то понял, в чем дело.

— Сашу с доводом ведут.

Действительно, Саша Повар, в одном белье, как всегда, босиком, растопырив руки, выбирая место для каждого шага, медленно тащился мимо групп работающих в сопровождении двух охранников, на поводу одного из которых металась овчарка. Саша то и дело останавливался, протестовал:

— Я вор в законе. Не буду работать.

— Еще как будешь вкалывать, — отвечали ему охранники и пускали на него собаку. Разозленная, со взъерошенным загривком, она хватала его за икры. Саша визжал дико и вынужден был идти дальше. Так повторялось несколько раз, пока Сашу не довели до нашей бригады и не оставили в покое. Он присел на корточки, бросая кругом дикие взгляды, цедя сквозь зубы:

— Фараоны! Фашисты!

А по щекам его катились слезы.

Мы смотрели на него и радовались.

## **Беглецы**

Где-то в эти же дни ушел в Москву небольшой этап. В числе других отбыли кинорежиссер Слуцкий и Борода. Про последнего говорили, что о нем успешно хлопотал его сановный папа. Саша Повар осиротел. Но был в лагере и еще заметный вор в законе, Витька Глухов. Лет тридцати или чуть больше, высокий, мускулистый,

всегда по пояс обнаженный, он неторопливо вышагивал по аэродрому, никого не задевая, сохраняя достоинство. Он напоминал мне горьковского Челкаша. Я никогда не видел его смеющимся или хотя бы улыбающимся. Его сильное, загорелое тело украшали татуировки. Самая большая из них, на груди, являла собой целую картину и, выполненная довольно искусно, не лишена была драматизма. На ней на фоне моря, скал, восходящего солнца, распростерши мощные крылья во всю ширину Витькиной груди, орел нес в когтях обнаженную женщину.

Как-то, остановившись около нашей бригады и по воровскому обычаю присев перед нами на корточки, Витька заметил, что я внимательно разглядываю его татуировку. Видимо польщенный этим, он снисходительно пояснил:

— Это мне в Японии сделали, когда я плавал.

Потом разговорился:

— Там у них это дело здорово поставлено. Прикладывают целый штамп из иголок, шлеп — и готово. Рисунки выбирай, пожалуйста, что хочешь. Букет можно не синий, а в красках. Цветы как живые.

Врал, конечно.

Глухов сдружился с Коробко, который во всем отличался от своего патрона. Невысокий, щуплый, даже в жару не снимавший с себя какой-то коричневой формы с зелеными кантами и с таким же околышем фуражки. Коробко явно заискивал перед Витькой, во всем ему старался подражать, но не опускался до положения шестерки. А возможно, Витька сам хотел иметь в нем равноправного партнера, потому что обладал он не только физической силой, но, надо полагать, и сильной волей, против которой тщедушный Коробок, как мы его между собой называли, не смог бы устоять. Как потом выяснилось, дружба эта имела свое, никому не известное основание.



Наш бригадир Фомин взял меня к себе в помощники. Он работал каменщиком, выкладывая кирпичные участки взорванных бетонных стен коллектора.

— Учиться будешь, — сказал он мне.

Но учеба моя походила больше на мытарства Ваньки Жукова. В мою обязанность входило обеспечить двух каменщиков всеми материалами, и кирпичом, и раствором, подавая все это под руку. Раствор тоже приходилось делать самому, для чего метров чуть ли не за сто я на тачке подвозил цемент, песок, а пробитой немецкой каской в луже черпал воду. И как ни уставал, еще понемногу учился сначала вести кирпичную кладку, потом штукатурить ее. Мы работали втроем отдельно от других, у самой границы зоны оцепления. И вот как-то после обеда, когда оставалось еще минут двадцать свободного времени, я сидел один на луговине. День был солнечный, теплый. Разливалась непривычная тишина. Никто не работал, кто спал, кто дремал. Даже конвоиров, которые поели более сытно, чем мы, клонило ко сну. В отдалении, на бетонке, стояла тоже притихшая стайка грузовых автомашин. Шоферы на одной из них ежедневно уезжали обедать домой. И над всем этим безмятежно заливался жаворонок, будто и не было ни войны, ни подневольного труда заключенных.

Я тоже задремал, когда вдруг услышал шум приближающейся машины. ЗИС с открытыми бортами на большой скорости мчался по середине взлетной полосы. Когда он поравнялся со мной, мне показалось, что за рулем сидит голый Витька Глухов, а рядом с ним в неизменной коричневой фуражке Коробок. Но это было так нелепо, что я тут же об этом забыл.

Обычно при выезде из оцепления конвой останавливал машины для осмотра, но, так как кузов был открыт, видно было, что машина пустая, ее не

остановили, и она, не сбавляя скорости, ушла за пределы охраняемой территории.

Не думая больше о машине, я прилег на траву и тут же заснул. Проснулся от какого-то крика и сразу почувствовал необычное оживление на поле аэродрома. Бригады в суматохе спешно строились, в поведении конвоя чувствовалась нервозность.

— Побег, — услышал я, когда нашел свою бригаду.

Нас построили и, как всегда при снятии с работы, начали считать шеренгами:

— Первая, вторая...

Посчитали второй раз. Нет, не сходилась: двоих не хватало. Стали проверять по карточкам:

— Фамилия? Статья? Срок?

Не оказалось Глухова и Коробко. Нас спешно погнали в лагерь. И тут я вспомнил про мчавшуюся в обед машину. Значит, я не ошибся: в ней действительно находились Глухов и Коробко. Я рассказал об этом рядом идущему Вербицкому.

— Помалкивай, — одернул он меня, — затаскают, а то еще в соучастники попадешь за то, что не сообщил.

Он был прав, я прикусил язык.

Весь вечер в зоне только и разговору было, поймают или нет. Ведь почти весь взвод охраны отправили в погоню. Урки торжествовали. Еще до этого была попытка побега. Темной дождливой ночью четверо мальчишек сумели пролезть незамеченными под колючую проволоку предзонника и ограды и убежали на аэродром, к летчикам. Там их накормили, но задержали и передали охране лагеря под обещание, что их не будут привлекать к ответственности. Этим побег и кончился. Мальчишки остались довольны уже тем, что их досыта и вкусно накормили.

Побег Глухова был более дерзким, видимо, заранее продуманным, так как он воспользовался единственной машиной на аэродроме, у которой не было ключа

зажигания, а для пуска стартера просто болтались два электрических проводка. Мы все знали эту машину, она обслуживала нас в карьере. Глухов заранее сообразил, что нужно откинуть борта, чтобы просматривался пустой кузов, и тем самым усыпить бдительность охраны. И время для побега оказалось выбрано удачно: к концу обеда, когда еще не кончился перерыв, — охрана не была так сосредоточена, но машины уже могли выезжать.

Весь лагерь радовался побегу, хотя бы из-за доставленной неприятности охране и куму, и надеялся, что он закончится благополучно. На другой день прошел слух, что машину нашли брошенной в двадцати километрах от лагеря, что Коробка застрелили, но Глухов ушел с концом. Возможно, что так оно и было на самом деле.

### ***К концу лета***

К концу лета работы на аэродроме заметно подвигались к завершению. Больше не приходилось ковырять тягучую глину. На полосе дымил огромный котел с топкой: варили асфальт. Зэки уже поговаривали меж собой:

— Куда нас теперь?

— Да куда ни отправят, хуже не будет.

Бывалые вспоминали хорошие лагеря с благоустроенной территорией, теплыми бараками и даже художественной самодеятельностью. Слушая их, я тоже думал, что случайно попал в какой-то временный ОЛП, и начинал надеяться на лучшее.

Погода менялась, по утрам уже становилось холодно. Пальто мое, воротник которого объели крысы, украл какой-то освободившийся и загнал его за самогон местным жителям, которых мы никогда не видали,

потому что вместо спаленной войной деревни они жили в землянках, вырытых на склоне пологого холма. Хотя я и заявил о пропаже надзирателю и пальто мое даже нашли, мне его не вернули. Я так и не понял, на каком юридическом основании оказалось невозможным вернуть украденное. Всего скорее причиной явилась моя 58-я статья, обладатель которой не является равноправным человеком, который если захочет жить, то обойдется и без пальто.

Часто моросил дождь, холодный, колючий. В такое время настроение портилось, мы чаще обычного считали отбытые дни. Шел все еще первый год моего заключения, конец которого не представлялся как конец вселенной. В один из таких сырых дней, когда мы построились, закончив работу, и нас стали считать, оказалось, что одного не хватает. Побег! Просчитали еще раз. Тут же быстро установили, что нет Володьки Радзиковского из нашей бригады. Да вроде недавно его видели; когда успел сбежать, да еще на открытом месте? Может, в коллекторе где? Стали искать и нашли его спящим в рядом лежащей железной трубе. Выволокли.

— Да я от дождя в трубу спрятался, — объяснил он, — и заснул.

Начальник конвоя сорвал злость, дал ему по шее. Посмеялись, но мы так и остались при своем мнении, что Радзиковский хотел сбежать.

Бывали и солнечные дни, в один из которых мы увидели странное зрелище. В отдалении от нас толпа заключенных, человек в пятьдесят, как стая грачей перед отлетом, носилась по аэродрому наперегонки, метаясь из стороны в сторону.

— Ловят кого-то, — первым догадался Володька Вербицкий и помчался туда же.

Нам видно было издали, как, размахивая лапами шинели без пуговиц, словно крыльями, он так же

стремительно кидался по направлению постоянно меняющейся кривой. И вдруг все успокоилось, бегающие ненадолго собрались в толпу и стали расходиться. К нам вернулся Вербицкий, довольный, улыбающийся.

— Вот, — протянул он руку, — поймал.

На его ладони лежал задавленный темной окраски зверек размером чуть больше мыши.

— Ласка, — объяснил Володька.

— И зачем тебе она?

— Как — зачем? — в свою очередь удивился он. — Это же мясо.

И действительно, он нашел проволочку, наколот на нее тушку зверька, подпалил ее в топке битумного котла и съел.

— Ну как? — спросил я его.

— Мало больно. Крысу бы килограмма на полтора.

## **Глава 13**

### **Новый этап. Медвежьи озера**

#### ***Конвоир Перепелочкин***

В один из дней со скупым солнцем, но не очень холодных после тщательного шмона наших пожитков нас погрузили в кузова машин — тесно, плотно, как неживых. По углам кузова — конвоиры с карабинами. Прощай, ОЛП. Снова этап.

Нас повезли к Вязьме, к развалинам вокзала. Мы думали, чтобы погрузить в вагоны. Но проехали мимо города куда-то на восток, к Москве. Бесконечно долго тряслись по разбитым дорогам. День кончился, ехали в темноте. Остановились уже ночью в лесу. Сразу узнали знакомые очертания лагерной зоны: колючая проволока, колченогие вышки, домушка проходной, почему-то называемой вахтой. Только все более капитальное, надежное, сделанное аккуратно; даже лампочки горят более ярко, чем в Вязьме, без страха перед воздушными налетами. За проходной — какой-то пустырь, своего рода плац. За ним — опять проволока, и уже там, за ней, с трудом различались в темноте деревянные бараки. Мы почувствовали некоторое облегчение: кажется, здесь действительно будет не хуже.

Открыли задний борт. С трудом выпрямляя онемевшие ноги, я прыгнул из машины последним. Едва лишь коснулся земли, как за моей спиной раздался выстрел. Все опешили, не понимая, что произошло. И тут в замершей тишине громкий, тоже как выстрел, голос:

— Перепелочкин застрелился.

Почему-то всегда хорошие люди уходят из жизни прежде времени. Пройдя через семь исправительно-трудовых лагерей и отдельных лагерных пунктов, я не встречал более случая, чтобы заключенные любили своего конвоира, как это было с Перепелочкиным, рядовым бойцом военизированной охраны ОЛП 6 под Вязьмой. Простой деревенский, видимо, малообразованный парень с круглым румяным лицом в веснушках, явно выражающим простодушный характер, с походкой и манерами увальня; несмотря на незавидное житие одинокого солдата презренной службы, он никогда не унывал, не задумывался о лучшей доле, а главное, не лишен был тех высоких нравственных качеств, которые в то время еще встречались у людей из сельской глубинки, которые спонтанно сохранились и передавались из поколения в поколение в крестьянских семьях, истоком своим имея, скорее всего, правдивое слово деревенских священников, по образу жизни мало чем отличавшихся от своих прихожан. Перепелочкин не знал различия между заключенным и вольнонаемным и уж тем более понятия не имел о каких-то «врагах народа», которых ему было поручено охранять пуще глаза. Для него все были равны, мало того, он всем был одинаково рад, как самым близким. Случалось не однажды видеть, как на утреннем разводе его вдруг отстраняли от участия в конвое. Понурый, будто побитый, уходил он в сторону, вероятно чувствуя себя в это время изгоем. Но как моментально он преображался, как оживало его лицо, какая довольная улыбка широко его освещала, когда вдруг за недостатком бойцов его тут же возвращали в конвой. Он не шел, он бежал обратно чуть ли не вприпрыжку, радуясь, будто вырвался на свободу, и, довольный, шел в конвое, молча улыбаясь колонне заключенных. Его понимали и так же молча приветствовали.

И вдруг Перепелочкина не стало. Как током всех пронзило, и заключенных, и конвоиров. Что это, шаг отчаяния, протеста или нелепая случайность? Кто-то занялся Перепелочкиным, а нас снова построили колонной. И опять бесконечно повторяющееся:

— Первая, вторая...

### ***На новом месте***

Трудно рассказать, что испытывает заключенный, входящий в зону еще незнакомого лагеря. Преобладает какая-то скотская притупленность, почти полное безразличие, и на его фоне, как редкие искры в темноте, мелькнет то надежда, что вот-вот, сейчас что-то начнется лучшее, приютишься в тепле, а возможно, тебя и накормят, то вдруг, наоборот, резанет страх, что попадешь в общество с преобладанием урок, от которых жизнь во много крат становится и напряженнее, и безотраднее, когда само по себе лишение свободы перестает быть наказанием.

Начало сентября, ночь, холодновато. Шеренгами мы прошли в ворота, снова отсеки от себя волю, от которой несколько часов нас отгораживали только стволы карабинов, но не колючая изгородь с насупленными вышками. Поеживаясь, ждали, когда нас проведут во вторую зону, в настоящие теплые бараки. Деревянный барак после вяземских землянок казался верхом благодати. Нас повели, но куда-то в сторону. Невозможно передать то состояние горького разочарования, какой-то щемящей боли, граничащей с отчаянием, когда мы подошли к огромной, как дом, брезентовой палатке, предназначенной нам для жилья. Даже провести в ней остаток этой ночи с утренним заморозком мне, по-летнему одетому, озябшему, показалось по-настоящему страшным, просто



невозможным в сравнении с только сегодня оставленными нами землянками.

Обескураженные, мы входили в палатку. В темноте, почти на ощупь, мы определили два ряда грубо сколоченных нар-вагонок. Метровые окна, прикрытые, как фартуками, брезентовыми клапанами на завязках, хлопали на ветру, как плохо надутые паруса, усиливая ощущение холода. Отсутствовал хоть какой-то уют. Вход закрывался пологом — едва ли он мог сохранить тепло, единственным источником которого являлись наши тела.

Хорошо еще, мне удалось сохранить старенькое байковое одеяло, переданное мне во внутреннюю тюрьму перед этапированием из Горького. Мы забрались с Алексеем на верхний ярус нар и, покрывшись им, да еще измученные дорогой, первую ночь на новом месте переспали благополучно.

Северное Подмосковье, Медвежьи озера. Изумительные места, особенно в пору золотой осени, когда богатейшие по разнообразию растительного мира смешанные леса поражают многокрасочной палитрой перелинявшей в золото листвы, горящей на густом фоне застывшей хвои. Где-то за лесом поднимается солнце, зажигая первыми лучами верхушки высоченных елей. Невидимые в кронах птицы перекликаются на разные голоса, встречая по утрам нашу хмурую, дисгармонирующую с окружающей природой колонну. Медленно, будто вытягивая тугую резину, мы волочим ноги, выкраивая время из рабочего дня. Руки сложены за спиной. Глаза уперты в спины впереди идущих. И всех, вероятно, сверлит одна мысль, общее желание: как можно дольше идти, как можно позднее начать омерзевшую работу.

Внешний вид мой заметно изменился. От домашней одежды ничего не осталось, она износилась. На мне

старая, полинялая, когда-то защитного цвета телогрейка с разными пуговицами. Она уже рвется, местами из нее торчат клочки ваты. Под цвет телогрейки солдатские брюки галифе. Они тоже рвутся, и все почему-то поперек штанин. За неимением ниток с иглой я зашиваю их тонкой медной проволокой из найденного обрывка электрошнура. Поэтому они стали колючими, и мне кажется, что я становлюсь похожим на ежа. Вместо ботинок — опорки, снятые с убитых солдат.

У Алексея еще сохранились ботинки. Шнурки он заменил толстой медной проволокой — чтобы ночью во сне не сняли с ног. Мы спим одетые и обутые: так теплее и вещи сохраннее. Портянки, неизвестно из каких тряпок, всегда задают мне много хлопот. Уже несколько человек показывали мне, как их нужно наматывать, и все по-разному. Возможно, поэтому у меня каждое утро уходит на перемотку их масса времени; да еще днем случается, что портянки неожиданно разматываются, и я снова перебираю различные варианты их рационального употребления. Наголо остриженную голову мою украшает черный шлем не то из байки, не то из фланели, тонкий, холодный, надевающийся внатяжку, как носок. Этот костюм как нельзя больше подходит к моим потемневшим от грязи рукам и лицу. Мы не умываемся по нескольку дней. По утрам холодно, усиливаются заморозки. Чтобы умыться, нужно достать воду из колодца. Вода ледяная, и мы редко отваживаемся после ночлега в продуваемой палатке использовать ее для утреннего туалета.

### ***Похвала лопате***

Мы строили аэродром в четырех километрах от Щелкова. Работа шла довольно интенсивно. Народу

много. Ползали автогрейдеры, разравнивая щебень под асфальт взлетной полосы. Мы работали землекопами, рыли глубокие траншеи, благо грунт был песчаный. За день я выкидывал его восемь — десять кубометров. Звонкие удары по рельсу среди работы означали перекур. Отложив лопату, я садился в заранее приготовленную нишу в стенке траншеи и мгновенно засыпал. Перекур длился пять минут. Разбуженный звоном рельса, я снова, как машина, махал лопатой, зарабатывая большую пайку и себе, и вора́м в законе.

Все работали по-разному. Некоторые очень торопливо, вымахивая полную лопату. Они быстро уставали, обливаясь потом, после чего, задохнувшись, подолгу отдыхали. Были просто лентяи, были лентяи сознательные. К последним относились литовцы, справедливо считавшие, что лишние сто граммов хлеба не компенсируют вложенный за них труд и что вообще не нужно, аморально работать на пользу сталинскому режиму. Я понимал, что они правы, но почему-то не мог работать с прохладцей и трудился по своему методу — неторопливо, ритмично, сохраняя равномерное дыхание. Кажется, это экономило силы при большей, даже по сравнению с физически более крепкими людьми, производительности.

Большое значение имел инструмент. Откуда-то у меня появился широкий размашистый заступ с тонким, гибким, удлинённым и как-то по-особенному изогнутым черенком. Этот черенок работал, как пружина. Изогнувшись под тяжестью груженой лопаты, он стремился вместе со мной освободиться от грунта и, выпрямляясь, создавал дополнительный толчок, способствуя выбрасыванию его на высоту. Этот заступ иногда казался мне живым, понимающим меня и старающимся облегчить мой тяжелый труд. Я берег его и жалел, тщательно протирая после работы, особенно в дождливую погоду. Каждое утро я торопился к

инструментальной будке, беспокоясь, на месте ли мой необычный безмолвный друг. И все-таки однажды я не обнаружил заступа на своем месте. Он был заметный, один такой. А может, мне и казалось это. Но когда я взял другую лопату с негнущимся жестким черенком, я сразу понял, что буду мучиться, но ничего не сделаю.

Я вспомнил, как в детстве к нам частенько заходил по дороге с работы домой Алексей Иванович Боков. Интеллигентный человек, за свое, как тогда называли, социальное происхождение он был лишен гражданских прав, в том числе и права на достойный труд, на труд по специальности. Для так называемых лишенцев оставался не противопоказан только неквалифицированный, тяжелый, грязный труд. Алексей Иванович работал землекопом, и каждый раз он заходил к нам в брезентовой робе и с лопатой, которую ставил в сенях на одно и то же место. Лопата его блестела, черенок тоже всегда был чистый. Видимо, он так же дружил с ней, берег и ценил ее.

В этот день я не стал работать и пошел искать свой заступ. Взлетная полоса аэродрома тянулась на три километра. На ней сотни работающих людей. Искать у них лопату было все равно что иголку в стоге сена. До самого обеда я ходил от бригаде к бригаде и все-таки, о радость, нашел свою любимую лопату. Готовый за нее на любую драку, а тем более уже привыкший к почти ежедневным потасовкам, я вернул себе свой инструмент — гарант большой горбушки.

Со времени описываемых мною событий прошло без малого полвека. Многие безнадежно забылось, многое вспоминается только в общих чертах. Отдельный лагерный пункт в Медвежьих озерах оставил какое-то белое пятно в памяти. Знаю только, что мы с Алексеем постоянно участвовали в драках, отстаивая свое независимое положение среди урок или право на свою пищу. Алексей был москвич. Как ни было трудно в

голодное военное время, родные довольно регулярно посещали его и старались помочь с питанием. Я остался обязанным родителям Алексея и ему самому, потому что все, что он получал, мы ели вместе. А что значил в то время даже на воле лишний кусок хлеба! Честные люди нашей страны, живущие только своим трудом, это прекрасно понимают.

### ***Закаляясь***

Получить передачу в лагере, где даже после обеда хочется есть, — это праздник. К сожалению, он всегда омрачался. Воры, как и всякая власть, основанная на силе, считают справедливым законом содержание их за счет чужого труда и чужой собственности. Поэтому получивший продовольственную передачу был обязан выделить долю вора́м под угрозой избиения и лишения тогда уже не части, а всего. И каждый, кто получал передачу или посылку, совершал такое выделение. Но воров много, и требуют сначала одни, потом другие. Обычно все они заявляют, что если выделишь им, то другие не могут спрашивать, таков закон. Но сильный не любит быть голодным, а голод всегда и везде сильнее закона.

Личные вещи и передачи хранились в каптерке. Каптерщик — прекрасная должность даже среди других лагерных придурков. Все, кто приходит взять что-то из передачи, его угощают. Да он и сам берет, искусно разрывая мешочки, в которых хранятся сахар, крупа и другие продукты.

— Крысы, — объясняет он.

Мы понимали, что это обман, но вынуждены были смиряться, так как крысы, подобно вора́м, могут съесть все.

Обычно вечером у каптерки к нам подходили двое каких-то длинных заморенных парнишек. Они смотрели, как Алексей достает из мешка хлеб, а иногда даже сало или еще что-нибудь вкусное, и ровным, негромким голосом заявляли:

— Выделить надо.

— А кто вы? — спросили мы, увидя их впервые.

Ответ удивил:

— Человечки.

Иногда подходили те, что из шестерок, и тоже:

— Выделить надо.

Но уже более требовательно, без сомнения в отказе.

Мы сначала выделяли с Алексеем понемногу, но потом, убедившись, что разных «человечков» несметное множество, прекратили всякие выделения. Каждый случай неповиновения сопровождался дракой. И мы так привыкли драться, что для нас это перестало быть уже чем-то страшным, сделалось привычным. Мы дрались самоотверженно, отчаянно, иногда против четырех, пяти человек. Дрались уже не за передачу, мы защищали свой престиж. В какой-то степени это нам удалось. Наша настырность возымела действие. К нам перестали приставать с требованиями выделить долю, но зато не упускали случая у нас украсть. Иногда воровали действительно мастерски.

Как-то мы сварили картошку. Сидя в палатке, заправили ее смальцем, размяли и буквально на минуту поставили котелок на верхние нары, над нами, — то ли хлеб доставали, то ли ложки. Но когда поднялись, котелка с картошкой уже не было, хотя, кажется, никто не подходил, ничто не шевельнулось, да и вообще вокруг нас было пусто. Мы кинулись туда-сюда, но наш ужин пропал бесследно.

Жить становилось все труднее. То заморозки, то холодный дождь с ветром. А мы все в палатке, хлопающей своими ветрилами. На работу выходим едва

рассветает, возвращаемся в сумерки. Благополучие эков-работяг в значительной мере зависит от бригадира, так называемого *бугра*, умеющего ладить и с начальством, и с урками, и со своим коллективом. Сначала бригадиром у нас был Дагман, в недавнем прошлом полковник Генерального штаба армии, он ведал там вопросами снабжения. В шинели из добротного сукна, в щегольских сапогах, он выглядел солидно, производил впечатление. Вероятно, поэтому его и поставили бригадиром. Но исправительно-трудовой лагерь — это не Генеральный штаб, а ежедневное обеспечение пайкой озверевшей от голода и тягот разношерстной своры людей не то, что принимать заявки и давать сводки для многомиллионной армии, которая где-то далеко.

Уже вскоре мы поняли, что в бугры он не годится. Целыми днями, присев где-нибудь и держа на коленях бумажку, он, как плохой ученик, мусоля карандаш, рассчитывал и раскладывал на два десятка человек полученную выработку, будто старался накормить пятью хлебами тысячи человек. Конечно, из такой затеи ничего не получалось, и на него злились все члены бригады; его щипали и давали ему тумачи урки, ворчали на него и нарядчик, и нормировщик за задержку его раскладок, нерасторопность. Понимая свою беспомощность, человек этот стал опускаться, гибнуть на глазах. Давно пропали и его шинель с фуражкой, и хромовые сапоги. С наступлением холодов он ходил в белой телогрейке, в таких же стеганых брюках, шапке-ушанке, задрипанной, как у меня. Светлая ватная пара его забрызгалась черным битумом, быстро потускнела от грязи, сам полковник стал слюнявиться и сопливиться и принял жалкий, даже отталкивающий вид.

Однажды к концу рабочего дня, не знаю, из-за чего, но, скорее всего, как и всегда, по причине нехватки

всем больших паяк, урки сильно избили полковника. Я узнал об этом, когда начали собираться в зону. Дагман, весь какой-то взлохмаченный, в своей белой в черных яблоках спецовке валялся на земле. В это время обессилел еще один паренек до того, что не мог идти, и никто не хотел ему помочь. Он был не из нашей бригады, но что было делать. Мы с Алексеем, известным методом перехватив руки в запястьях и таким образом сделав из них сиденье, подхватили больного. Дагмана же, уложив лицом вниз, понесли на двух палках. Странная и жуткая это была процессия, когда мы подходили к лагерю. День был воскресный, перед проходной стояла большая толпа москвичей, приехавших на свидания с передачами. И вот мы шли. Впереди колонны на палках висело безжизненное тело Дагмана со свободно болтающимися руками. Стеганные шаровары его съехали, обнажив белее, чем его телогрейка, худой, как разрубленный, зад. За Дагманом мы с Алексеем несли второго несчастного. За нами, на сей раз гораздо медленнее, чем обычно при возвращении с работы, тяжело двигалась колонна. Приезжие замерли. Воцарилась тишина, как на похоронах. Больных с ходу прямо от проходной отнесли в стационар. Дагмана я больше не видел.

### ***Мечты о стационаре***

Попасть в стационар на лечение — мечта каждого ээка. Заболеть, чтобы не работать, чтобы вволю поспать, отдохнуть, не досыта, но все-таки хоть немножко получше поесть. И ээки шли на хитрости, делали разные *мастырки*<sup>[25]</sup>, чтобы такая мечта сбылась. Мне рассказывали, как делается одна из мастырок. Нужно взять нитку с иголкой, нитку потереть о грязные зубы, чтобы как следует пропиталась, а



потом этой ниткой сделать несколько стежков под кожу на руке или ноге. Через день-другой начинается заражение, рука пухнет, поднимается температура, и больничная койка обеспечена. К сожалению, был случай, когда молодому пареньку в лагерном стационаре не смогли оказать соответствующую помощь. Его отправили в Москву, а вскоре прошел слух, что руку ему отняли.

Есть и другие способы. Володька Вербицкий как-то предложил нам пить соленую воду. Но ее надо было выпить в день несколько литров. После этого человек распухает, как от водянки, и, естественно, попадает на излечение. Мы с Алексеем отказались от такого издевательства над собой.

— А я буду, — сказал Володька.

— Ну и дашь дубаря, — предостерегли мы его.

Вскоре Володька стал действительно опухать. Лицо его округлилось, надулось, и сам он стал толстеть, с трудом передвигаться в своей длиннополой шинели. Даже страшный стал, глаза заплыли, руки отекали. И конечно, попал в стационар. Мы думали, он оттуда не выйдет. К счастью, наше предположение не сбылось. Примерно через месяц мы встретили Вербицкого здоровым, румяным, и даже оказалось, что у него действительно, как васильки, голубые глаза.

— Как ты сумел поправиться?

— А ко мне сестра приехала.

Оказывается, на самом деле с Украины приехала родная его сестра, привезла сала, коржей, и это спасло Володьку.

Пришлось услугами стационара воспользоваться и мне. Утром у меня, что называется, схватило живот. Зажавшись руками, сгибаясь от боли, я поплелся в стационар. Там оказались врач-еврей и санитарка. Я объяснил врачу, в чем дело.

— Поставь ему градусник, — сказал он сестре.

— Да у меня нет температуры, — предупредил я.  
Но, видимо, у них такой порядок.

Сижу, держу градусник. Тепло. В раскрытую дверь напротив вижу палату, чистое белье на топчане и уже предвкушаю, как буду блаженствовать день-другой в такой благодати. Сестра взяла градусник, посмотрела очень внимательно, передала его врачу. Тот, чуть взглянув на него, уставился на меня.

— Поставь ему два градусника, под каждую руку.

— Зачем? — недоумевал я.

Мне поставили два градусника. Придерживаю их добросовестно, не могу понять, что это за процедура и для чего она.

— Симулянт! — бешено заорал вдруг врач, когда градусники у меня взяли.

— Послушайте, — старался я объяснить, — у меня живот болит, а не голова.

— Вон отсюда! — пуще прежнего закричал врач. — Я тебе вторую пятьдесят восьмую устрою за это.

Тут до меня, как говорится, дошло, в чем дело. Видимо, первоначально мне дали нестряхнутый градусник, на котором значилась высокая температура, возможно полученная на нем искусственно, методом пощелкивания по нему пальцем. Я понял, что доказывать что-либо бесполезно, и спешно покинул стационар.

Еще издали я увидел, что идет развод и, преодолевая боль, побежал к воротам, чтобы не остаться в зоне и не попасть за это, как прогульщик, вместо стационара на несколько суток в кондей. На ходу у меня разболталась портянка. Я вытащил ее из опорка и так, с портянкой в руке, вышел за ворота, успев как раз пристроиться к своей бригаде. Пока шли до аэродрома, боль в животе утихла. Осталось только сожаление, что не пришлось полежать в тепле на

чистой простыне, да горькая обида, что меня посчитали обманщиком.

### ***Любовь по-лагерному***

Иногда по вечерам заходили в деревянный барак. Там было тепло, эки сидели на нарах раздетыми, похозяйски используя свободное позднее время: чистили картошку, ушивались, на клочках бумаги сочиняли письма, в каждом из них прося кто ржаных сухарей, кто соленого сала. Электрического освещения в бараке не было, и все пользовались самодельными коптилками, смастеренными из консервных банок на один, два, три, даже на пять фитильков. Подвешенные чуть ли не у каждой вагонки, как лампадки, они плохо разгоняли темноту барака, но зато освещенное ими просторное помещение напоминало церковь с зажженными свечами. Каждый раз нехотя, с большим сожалением, даже с болью душевной мы покидали этот барак, возвращаясь в свою холодную палатку.

Приближалась зима. Жить дальше в палатке становилось губительно. Ее крыша уже побелела от снега. Но тут, как говорится, наша молитва дошла до Бога: нас наконец нашли возможным перевести в барак. Жизнь наша ощутимо улучшилась. Мы отогрелись, повеселели и даже стали ежедневно умываться, становясь похожими на настоящих людей. Вот только воровство в бараке портило настроение. В первый же день, придя с работы, я обнаружил пропажу с нар моего одеяла. Заметное, оно выделялось бордовым цветом. Я пошел по бараку, вскоре обнаружил его и вернул себе по праву. Но так продолжалось постоянно. Каждый день, приходя с работы, я обнаруживал свои нары пустыми. Мне это надоело, и я перестал искать свое заметное одеяло. Даже как-то увидев его развешенным, я махнул

рукой и не стал предъявлять прав на свою собственность. Вместо этого каждый раз перед сном я обходил барак и стаскивал с нар зазевавшихся обитателей казенные тяжелые, тканые, как половики, одеяла. Они все были одинаковые, так что в краже уличить меня не представлялось возможным. Одно из них я стелил себе вместо матраца, другим укрывался. И привык, уходя на работу, сознавать, что вечером на своем спальном месте ничего не обнаружу, кроме голых досок.

Я стал привыкать к лагерной жизни. И холод, и голод, и частые драки принимались как обыденные, обязательные. Я даже начал воспринимать все невзгоды с каким-то юмором, и, когда другие, старше меня, мужчины проявляли малодушие, поддаваясь унынию, порой граничащему с отчаянием, я иногда ловил себя на том, что, глядя на них, невольно улыбаюсь. Что это, жестокость, бессердечие? Видимо, я их просто не понимал, не будучи отягощен заботами о семье. У меня появилось даже короткое знакомство. Ее звали Лидой. Она была старше меня и сама подошла в какой-то промежуток между работой. Снег, выпавший накануне, пухлой шубкой укутал землю, комки которой, будто продырявив белый покров, чернели многочисленными кочками, создавая резкий цветовой контраст на фоне монотонного серого неба. Порывистый ветерок заставлял поеживаться, пронзая мою дырявую телогрейку. Выглядел я, наверное, довольно жалко в лагерном истрепанном одеянии. Но она заговорила со мной. Расспрашивала, кто я такой, откуда, по какой статье здесь. Посочувствовала, даже назвала хорошеньким и попросила подарить ей на память синий шерстяной пушистый шарфик — единственную сохранившуюся у меня вещь из дома, — в который я кутал шею за неимением воротника. Видимо, по моей кислой мимике Лида поняла, что мне жаль

шарфика, и с видом, от которого я готов был тут же провалиться сквозь землю, отошла, окончательно добив меня брошенной через плечо улыбкой.

Весь остаток дня и вечер я ходил как оплеванный и в конце концов решил найти Лиду и вручить ей шарфик, ставший отныне показателем моей отъявленной скупости и того, что я маменькин сынок, неспособный оценить женское внимание и ласку.

Самым страшным преступлением в лагере, карающимся без малейшей пощады, являлось посещение мужчинами женских барачков и, соответственно, женщинами мужских. Записанное в правилах внутреннего распорядка просто как посещение чужих барачков, положение это надзорсоставом всех без исключения лагерей трактовалось гораздо шире и понималось ими как запрещение вообще встречаться лагерным особам разного пола где бы то ни было. Любовь безоговорочно каралась десятью сутками карцера без выхода на работу с суточной пайкой в 300 граммов хлеба с водой и миской баланды на обед.

И все-таки, несмотря на такую страшную кару, я решил найти Лиду. Мы пошли к женскому барачку вместе с Алексеем. До отбоя оставался еще с час времени. Было совсем темно. Как тати в ночи, подкрались мы к женскому барачку. И тут неожиданно перед нами выросла крупная фигура начальника Культурно-воспитательной части. Мы узнали его по кожаному пальто, в котором он всегда ходил, и меховой шапке.

— Куда? К бабам захотели? — зарычал он на нас, добавив нелестное слово в наш адрес.

Мы что-то промемекали в свое оправдание, стараясь убедить начальника, что он нас неправильно понял. В ответ он разразился бранью и для большей убедительности дал Алексею пинка. Мы же остались

довольны, что этим дело и кончилось, и несолоно хлебавши вернулись в свой барак.

Наше место в бараке было в самом дальнем и темном углу. Я уже засыпал, когда вдруг услышал над собой на верхнем ярусе нар приглушенный женский голос и тут же мужской. Я толкнул Алексея:

— Кто это?

— Да она, Лида, бригадир женской бригады.

Нары поскрипывали, я не мог спать. Потом мужчина спустился вниз, вместо него наверх полез другой. И опять приглушенные голоса. Барак спал, посвистывало многолюдное дыхание, колыхались язычки пламени коптилок. В нашем углу покачивались со стоном нары.

### ***Земляк***

Шел декабрь. Позади остался первый год моего заключения. Снег скрыл асфальтовую полосу построенного аэродрома. Поседевший лес угрюмо взирал на изуродованную нами природу. Нам ничего не было жалко, разве только каждому самого себя. Мы смотрели в свое будущее, как в пустоту, ежедневно отсчитывая отбытые дни. Каждый день как упавшая капля.

В один из вечеров Алексей принес новость: с нами в бараке живет наш земляк. Оказалось, что это Павел Федорович Бахарев, бригадир деревообрабатывающей мастерской, которая имелась при лагере. Его, лейтенанта интендантской службы, арестовали по 58-й статье, отозвав с фронта. До войны он жил сначала в Павлове, потом в Горьком. Работал в страховой инспекции. Поговорив с нами, он обещал попросить начальство перевести нас в свою бригаду. Это было бы как нельзя кстати — работать под крышей: зима еще впереди. Мы расстались перед сном довольные. Однако

случилось так, что мы не увиделись. Буквально на следующий день нас с Алексеем выдернули в дальний этап.

Народная мудрость гласит: гора с горой не сходится, а человек... В 1955 году, третьем после возвращения из заключения, я работал начальником ремонтно-строительного цеха Павловской металлообрабатывающей артели имени Кирова. Цех наш располагался за оврагом, позади основной площадки предприятия. Здесь же размещалась и конюшня: лошади в то время являлись основным видом внутризаводского транспорта. Тут я и познакомился с заведующим этим хозяйством. Хотя разница в наших годах была значительная, моя нужда в транспортных средствах да и вообще что-то общее во взглядах на жизнь, в оценке происходящего вокруг сблизили нас. Мы относились друг к другу с почтительным уважением. А как-то он подошел ко мне и неожиданно спросил:

— А вы в сорок четвертом в Монине были?

— Нет, — ответил я, поняв, о чем он говорит, — я был в Медвежьих озерах.

— Совершенно верно, — согласился он. — Только вас оттуда отправили несколько раньше неизвестно куда, а нас в Монино.

Я признал, что, действительно, все так, видимо, и происходило, не понимая, к чему он клонит.

— А помните, — спросил он, — вечерний разговор в бараке о переходе в столярную мастерскую? Вот я и есть тот бригадир Бахарев.

Мы вторично познакомились, меня только удивило: как мог он меня узнать, когда я совершенно забыл его? Оказывается, будучи в Метартельсоюзе — нашей вышестоящей организации, — он услышал обо мне как о бывшем узнике, а случайно запомнившаяся деталь из

нашего разговора, что мать моя — педагог, натолкнула его на догадку.

С тех пор мы с ним не расставались. Когда меня направили главным инженером в Павловское ремстройуправление, я пригласил его начальником по транспорту. Через семь лет, когда я возглавил сельское строительство района, он работал у меня прорабом. Мы очень дружили. Случилось так, что и жили друг от друга недалеко, и дружба наша перешла нашим семьям. Ему исполнилось шестьдесят два года, когда мне пришлось проводить его в последний путь на Павловский погост.



## Глава 14

### Дальний этап

И все началось сначала: Красная Пресня, пересыльная тюрьма на ней. Бани, прожарки, шмоны, из них последний — генеральный. В холодной комнате мне велели раздеться догола. Я видел, как два вертухая тщательно, сантиметр за сантиметром, прощупывали мои вещи. И все-таки я оказался хитрее. В ухо хорьковой шапки-ушанки, которую мне передала посетившая меня по дороге военврач, временно жившая в нашем доме и направлявшаяся по новому назначению, я заложил лезвие безопасной бритвы. Шапка старая, ее сшили отцу из пойманных им рыжих хорьков, повадившихся в наш курятник. От времени мех ее высох и стал жестким и гибким, как пергамент. И лезвие в нем не прощупалось.

После осмотра вещей приступили ко мне:

— Покажи руки, подними, повернись, нагнись.

В результате этой гимнастики ничего не было найдено, да я и не додумался бы что-то спрятать в то место, куда они тщательно заглядывали.

Потом последняя суতোлка в коридоре, выдача теплого рванья тем, кто показался одетым ненадежно. Моей телогрейки и стареньких, но крепких стеганых брюк оказалось достаточно.

Как и всегда этапники, мы не знали, куда нас передислоцируют. Только погрузившись в вагоны-теплушки, догадались, что далеко.

Стояли рождественские морозы градусов в тридцать. В теплушке, совершенно не оправдывающей своего названия, так как это просто двухосный товарный, или скотский, вагон, было холодно, как в сарае. Правда, посередине вагона стояла печка-

буржуйка заводского изготовления, но топлива нет, и она застыла, как булыжник; вместо тепла от нее шел холод. Пятьдесят человек в вагоне. Мы прыгали, притопывая, обхлопывая себя руками, стараясь не замерзнуть. Пар от дыхания инеем оседал на стенах и потолке. Противоположная от входа дверь раздвинута, и в просвет просунут согнутый лотком лист железа. Это наш туалет, этапная параша. Широкая щель выше лотка кое-как заткнута тряпьем. Сквозь парашу сифонит мороз. Несколько досок с одной стороны вагона, видимо, были предназначены выполнять функцию нар, но для этого их было недостаточно. Пессимисты не выдерживали:

— Дадим мы тут дубаря.

В вагоне стоял сдержанный гул от наших движений. Старались острить:

— И сколько мы так пропляшем?

Гадали, куда нас повезут.

— В Крым, конечно. Его же после освобождения заселять надо.

Настроенные на более минорный тон не соглашались:

— Воркута нам улыбается.

Последний прогноз оказался более реальным.

Первую заботу о себе мы почувствовали, когда в спустившихся сумерках в вагоне вдруг вспыхнул свет. Показалось даже, что от единственной лампочки стало вроде теплее. Потом мы услышали шум у соседнего вагона, а вскоре и дверь нашего настезь расхлебняли.

— Принимай!

Нам бросили несколько поленьев, подали ведрами уголь, и дверь снова захлопнулась. Топливо — это жизнь.

Зэки очень дотошный и находчивый народ. Только они могут без ножа нащепать из полена лучину, без спичек и огнива высечь огонь. Топором послужила та

же ножка от печки, которую, оказалось, можно вынуть, если саму печку несколько приподнять. А добыть огонь, будучи одетыми в ватные телогрейки и штаны, проблемы не составляло. Ватный валик, быстро раскатываемый туда-сюда по полу ботинком, сразу дает специфический запах тлеющей ваты. Валик осторожно разрывается, показывается дымок, несколько дуновений, и ватка загорелась — это уже огонь.

Огонь в буржуйке загудел, как музыка. Вокруг трубы на потолке стало расползаться сырое пятно — таял иней, таяли наши души, как будто мы и на самом деле оказались в Крыму.

Сначала все лезли к печке, тянули к ней красные, иззябшие до боли руки. Постепенно тепло пошло по вагону вширь, и нас, уставших от прыганья в течение нескольких часов и продрогших, потянуло в сон. Стараясь устроиться поближе к печке, мы укладывались на промерзший пол.

Я проснулся ночью. Было тихо, все спали. Шуршало дыхание, печка дышала, раскалившаяся докрасна. Вагон подрагивал, колеса редко ударялись на стыках. Мы поехали.

Пошли длительные дни этапа. По солнцу мы определили, что нас везут на восток. Значит, в Сибирь. С какой-то жутью воспринималось это слово, клейменное многовековой печатью ссылок, каторжных работ, рваных ноздрей, кандалным перезвоном. Но, уезжая из Щелкова, опять надеялись на хороший лагерь, утешали себя:

— Хуже не будет.

Мы спали вповалку, в два слоя: на пятьдесят человек места не хватало. Когда спишь внизу, хотя один бок и примерзает к полу, но все равно очень тепло, только тяжело от навалившихся на тебя тел. В конце концов не выдерживаешь эту тяжесть, придавленные члены немеют, и поневоле начинаешь

продираться из плотной людской массы. Наверху легко, но пронизывает холод, особенно если не сумел устроиться поближе к печке.

В вагонах ни подъема, ни отбоя. Трудно сказать, почему мы поднимаемся, то ли выспались, то ли не можем больше спать от холода. Даже раскаленная наша буржуйка плохо противостоит наружным морозам. Целыми днями мы на ногах, топчемся до изнеможения. В маленькие зарешеченные окошечки под потолком заглядывает солнце. Теплушка раскачивается, сотрясается, из-за чего тряпки, которыми заткнута щель над парашей, вылетают иногда наружу, и мороз оттуда врывается к нам на ходу поезда, как через вентиляционную трубу.

Иногда состав ненадолго останавливается, мы пропускаем встречный поезд. Это тоже событие. Когда день за днем находишься в закрытой клетке, в камере ли, в пересыльном ли вагоне, и неизменность окружающего уже не дает пищи для размышления, когда разум тупеет, не имея материала для восприятия, то обостряется слух, как у слепых, и он ловит что-то потустороннее, пусть слабо, но все же нарушающее привычное однообразие. Когда наш поезд останавливается, звуковые импульсы встречного слышатся издалека. С каждой секундой они проясняются, усиливаются. По ним можно определить тип локомотива, ФД это или ИС. И почему-то радостно ловить эти приближающиеся звуки. Наверное, потому, что они напоминают о другой жизни, которая несется вот тут, рядом, невидимая нам, но в которую так нестерпимо хочется вернуться и до которой впереди еще восемь лет десять месяцев и двадцать шесть дней.

Поезд грохочет за стенами нашей теплушки. Потом грохот обрывается, тает, и я, словно проснувшись, снова окунаюсь в холодный, грязный, озлобленный, изолированный мирок арестантской теплушки, с какой-

то свежей болью, будто только что прозрев, ощущая всю тяжесть, беспомощность и бесконечность своего страшного сегодня и непредсказуемого на завтра положения.

Без гудка, без какого-либо сигнала, при полнейшем нашем неучастии, как будто нас вовсе нет, наш поезд, гроыхнуv сцеплениями, трогается с места. И снова качаются стенки вагона, стучат колеса, оживает холод.

Иногда раз, иногда два раза в сутки наш поезд останавливался надолго. Наступала продолжительная, настороженная тишина. И потом, как в тюрьме, сначала где-то далеко хлопала крышка термоса, потом у соседнего вагона гремели миски, и вот уже рядом, у нас, скрип шагов, голоса. Дверь широкая, как ворота, распаивается настежь. Мгновенно врывается мороз, заполняя вагон, пронзая нас, будто обливая водой. Начальник конвоя, в новом белом полушубке, с деревянным молотком на длинной ручке, впрыгивает в вагон. Привычные, мы, как овцы, сбиваемся в угол тесной кучей. Простучав молотком стены, пол в свободной части вагона, начальник дает команду:

— Пулей! Пулей!

Считая, он колотит нас молотком по спинам, и, чтобы не так сильно попало, мы действительно пулей шныряем в противоположный конец вагона.

Нам подают топливо и в алюминиевых мисках раздают горячую густую крупяную баланду и пайки хлеба. Вагон закрывается.

Расположившись кто сидя, кто на корточках, мы жадно поглощаем горячую пищу, после чего нам приносят теплую воду. Но с хлебом дело обстоит труднее. Он мерзлый, и есть его невозможно. Мы кладем горбушки на горячую печку и по мере оттаивания обгрызаем их слой за слоем. Печка маленькая, и все мы тянем к ней свой кусок, всем хочется скорее его съесть. Иногда эта процедура

затягивается, продолжаясь и после того, как миски у нас забрали и вагон снова начинал покачиваться на ходу. Зато, уже не торопясь, хлеб можно даже поджарить и есть совсем горячим. После такой кормежки становится веселее, но в вагоне снова приходится накапливать тепло.

Однажды начальник конвоя оказался не в духе. Разъяренным зверем он ворвался в вагон, ногами вышвырнул наружу остатки щепок и угля, пинком повалил печурку, нагнав в вагон мороз и вызвав у нас недоумение. Пришлось все начинать сначала: устанавливать печку, составлять трубу. В такт стуку колес, чтобы не слышала охрана, ломали последнюю предназначенную для нар доску. Снова вместо топора пустили в дело ножку от печки.

Но доска быстро сгорела, дав мало тепла. Чтобы не замерзнуть, была объявлена безоговорочная конфискация всего горючего и всего теплого. На мне были так называемые ЧТЗ — брезентовые ботинки с резиновыми подметками и каблуками. Несмотря на мое отчаянное сопротивление, каблуки с моих ЧТЗ были сорваны и пошли на топливо. У кого имелись рюкзаки, мешочки — все проверялось, лишняя рубашка, подштанники изымались на утепление вагона, на затыкание дыры нашей параша, в которую сифонил мороз.

Этапу, казалось, не будет конца. Мы ехали день, второй, неделю. В деревянной обшивке вагона я нашел дырочку от гвоздя. Оказывается, если к ней плотно прильнуть глазом, то открывается движущаяся панорама. Я часами простаивал, наблюдая, как проносятся мимо сотни километров родной русской земли. Пересекали широкую, скрытую льдом и снегом реку. Иногда близко к дороге подступал густой еловый лес, но чаще виделся простор — ровная, как стол, обширная территория, окаймленная поодаль белесым

березняком, затянутое зимней мглой небо. Но были и солнечные дни. Тогда снег искрился, синее небо стояло высоко, рядом с нашим вагоном бежала его тень, сквозь окошечки к нам заглядывало солнце, и в вагоне становилось светло и даже весело, как в новогодний школьный праздник. Держались морозы, и мы это чувствовали, все крепче примерзая по утрам к полу. Хотелось пить. За неимением воды, как леденцовые конфетки, обсасывали обледеневшие заклепки на стенах.

Однажды мы остановились на какой-то станции. Слышались громкие голоса пассажиров, торопливые шаги по хрустящему снегу, где-то невдалеке шипел запыхавшийся паровоз. Как правило, вагоны нашего эшелона не открывались в людных местах, у больших вокзалов. Но, видимо, в связи с предстоящим длительным перегоном появилась необходимость забросить нам запас топлива. И когда теплушку нашу раскрыли, прямо напротив я увидел освещенное окно купейного вагона поезда дальнего следования. На несколько мгновений мне показалась вдруг другая, счастливая жизнь. Взрослые и дети, по всей видимости семья, сидели перед столиком, что-то кушали, беззаботно болтая, как неожиданно внимание их привлек наш вагон, исторгнувший внезапно наружу свое непривлекательное нутро. Наши невольные соседи, прервав трапезу, с удивлением для себя обнаружили незнакомую им жизнь. Их разом преобразившиеся лица застыли с выражением недоумения, как будто совершенно случайно для себя они сделали великое открытие, подтверждающее существование потустороннего мира. Так не соответствовали мы в своем обиталище нормальным представлениям о человеческом образе жизни.

Дверь перед нами захлопнулась, как будто неожиданно оборвалось кино, интересное, красочное,

волшебное и далекое, неповторимое. Будто оборвалось что-то близкое, родное, как смерть унесла. Я смотрел на глухую холодную дверь, а продолжал видеть окно, лица свободных людей, жизнь, которую у меня отняли.

Я долго не мог заснуть в тот вечер. Где-то далеко осталась станция. Снова наш вагон раскачивало; как-то по-ночному, приглушенно, он постукивал, погрохатывал, поскрипывал. Вповалку валялись спящие эки — серая тепловатая масса, все съезженные, скорченные. В противоположном от меня конце вагона возились четверо урок. На коленях, освободив квадратик пола, они ковыряли его все той же универсально пригодной железной ножкой от печки. Вглядевшись пристальнее, я различил в полу небольшой люк, плотно подогнанный, который и пытались открыть урки. Я долго наблюдал за их тщетными усилиями и незаметно заснул. Сквозь сон я вдруг услышал выстрел, после чего поезд наш стал резко тормозить. Все проснулись. Началась суматоха: крики, стук деревянного молотка по вагонам. Дошла очередь и до нашего. Дверь его резко, с шумом распахнулась, ворвались охранники:

— Пулей! Пулей!

Тут же все стало ясно: четверых в нашем вагоне не доставало — они вылезли через открытый люк в полу.

— Кто видел? — в гневе спрашивал начальник конвоя.

Все молчали.

— Кто спал рядом?

Опять тишина. И вдруг кто-то сказал, будто обрадовавшись:

— Лиса тут спал, Лиса видел.

Лиса — это я. Такое прозвище мне дали за желтую хорьковую шапку.

— Да я вовсе не тут спал, — резонно возразил я.

Но все в вагоне как сговорились.



— Лиса, Лиса все видел.

Меня сделали козлом отпущения.

— Выходи! — приказали мне.

Я выпрыгнул из вагона, который тут же захлопнули.

Ночь. Морозище. Черным членистоногим чудовищем застыл наш эшелон. Тишина, только снег усиленно скрипит под ногами. Холодно, но дышится как-то по-особенному, забористо, захлеб, будто после жажды пьешь чистейшую свежую воду. Пока шли вдоль длинного насторожившегося поезда, я немножко расслабился, будто освободился от стягивающих меня обручей, даже пощипывание мороза воспринималось подзабытым, но приятным прикосновением.

Меня привели в служебный вагон. Такая же теплушка, но хорошо утепленная и освещенная, с жаром пышущей печкой. Занятый мыслями о своем ничего хорошего не сулящем положении, я даже не обратил внимания на обстановку, не видел, а как-то ощущал, что вагон чем-то занят и в нем совсем немного свободного места. Начальник конвоя сидел на табуретке возле печки, я перед ним на каком-то ящике.

— Ну, рассказывай, — начал он, как обычно делали все следователи.

И я ответил так же шаблонно, вопросом:

— Чего?

На самом деле, что я мог рассказывать? Как видел перед сном четырех урок, ковырявших пол? Так все уже и так ясно.

— Кто они, эти сбежавшие? — спросил начальник. — Как их звать?

Я сидел и мучился. Во-первых, я не знал, как их звать, а во-вторых, я почувствовал себя в роли предателя, стукача.

— Не знаю их, — ответил я.

Разговор наш с начальником становился все более неприятным. Он начинал горячиться, взял в руки какое-

то полено с отесанной ручкой.

«Колотить меня, что ли, будет?» — подумал я.

Беглецов задержали, они известны. Что этому начальнику нужно от меня? Почему меня надо бить поленом? И тут же меня взяло зло на весь наш вагон. Как они все обрадовались, когда догадались свалить все на меня. Почему я должен терпеть побои за них, ради их же трусости? Как же поступить справедливо?

— Ты не бойся, — сказал начальник, — говори. Ничего они тебе не сделают, я тебя избавлю от них.

Меня разморило от близости горячей печки, клонило в сон. Я устал от нашего разговора, от бессонницы. Поезд давно уже продолжал путь, еще более укачивая меня. Я плохо слушал, что говорил начальник, и только думал, как хорошо ехать в таком теплом вагоне, как хорошо спать.

— В соучастники побега попадешь, — услышал я.

Чем это мне грозило, я не знал. Да в конце концов, почему я их, предавших меня, должен защищать?

— Лехой одного звали, — сказал я наконец. — Других не знаю.

Побоев не было. Когда поезд остановился, меня отвели в другой вагон как сделавшего свое дело стукача.

Конец пути для меня оказался более благоприятным. Вагон, в который я теперь попал, оказался, не в пример первому, теплым; по обе стороны его были нары, на которых размещались наиболее влиятельные урки. Поэтому хотя и на полу, но спать в два слоя человеческих тел не приходилось. Как только я появился, меня затащили на нары.

— Расскажи роман какой-нибудь.

Воры, сами никогда не читая книг, очень любят слушать, как они называют со своим ударением, романы, особенно что-нибудь про сильную любовь с приключениями, такие, как «Граф Монте-Кристо»,

«Королева Марго» и т. п. Я, к сожалению, являлся совершенно бездарным рассказчиком, да и романы такие почти не читал. Подумав, я спросил урок:

— «Вий» Гоголя знаете?

Оказалось, не знают. Я стал им рассказывать, но вскоре понял, что «Вий» — это совершенно не то, что они ожидали, да и у меня полностью отсутствовал талант мастера художественного слова. Меня никто не унижал и не оскорблял, но, явно разочаровав всех, я был удален с нар на пол, как законченная бездарность, не представляющая интереса.

## Глава 15

### Бийский лагерь

#### *Я остался жив*

Через тринадцать суток пути наш поезд встал. Мы приехали. Выгружались ночью в страшный мороз. Огромная луна таращилась на нас с удивлением. Любопытные звезды высыпали на небо и перемигивались, тоже глядя на нас. Только тут мы полностью разглядели свой эшелон: темный, мрачный, притихший, ставший без нас осиротелым. Вдоль него вытянулась еще более черная, корявая колонна эков в две с лишним тысячи человек, окруженная фигурками солдат с винтовками и собаками. Мороз сразу начал нас сковывать. Стараясь не поддаться ему, мы топтались на месте, как обычно, ежась, пряча руки под мышками. Старались отгадать, куда приехали. Надо отдать должное охране — строились недолго.

Привычное:

— Шаг вправо, шаг влево — считается побег... Вперед!

Шли торопливо, стараясь не отставать друг от друга; подгоняли нас мороз, любопытство, тревога, желание скорее попасть на место, хорошо ли там, плохо ли... Надеялись — хуже не будет.

Пришли в какой-то редкий сосняк. Деревья старые, высокие. А под соснами не то землянки, не то овощехранилища. Длинные, широкие, с окошечками у самой земли. Ни забора, ни проволоочной ограды. Все запорошено снегом. Снег, пересеченный синими полосами теней от сосновых стволов, сверкает, переливается, так ярко отражает лунный свет, что с

непривычки больно смотреть. Да нам и не до красот природы. Еще в вагоне я отморозил кончики всех пальцев на руках и нос, и теперь они болезненно чувствительны к холоду.

Всех нас разместили в трех землянках: в двух — мужчины, в третьей — женщины. Внутри землянок образцовый порядок. Стены обшиты, утеплены. Всю среднюю часть занимают огромные сплошные нары в три этажа, шириной в два роста, с поперечными проходами между ними. Нары окрашены зеленой масляной краской, и красные звезды вверху посередине. В каждом углу — огороженная тесовой перегородкой печка. Между нар — сушилki для обуви, такие же, как печи, из кирпича. Все побелено, покрашено. Полы деревянные. Чисто. Оказывается, до нас здесь размещалась воинская часть — это были казармы. Повагонно мы улеглись на нары. Как раз пятьдесят человек в ряд, плотно, впритирку, все на один бок, поджав колени. Согревались собственным теплом и засыпали, отключившись от только что пережитого, будто перевернув страницу жизни, закончив одну из ее глав.

В первый же вечер, когда, ожив после тряской двухнедельной дороги, эки копошились, знакомясь с новым местом и испытывая удовольствие от передвижения в менее замкнутом пространстве, чем вагон, и толкались, будто в базарной шумной толпе, ища общения, новых знакомств и новых возможностей применения своих способностей, главным образом в присвоении чужого, я услышал вдруг:

— Эй, Лиса!

Обернувшись, я замер. На меня плотной стенкой надвигались четыре беглеца. Намерения их прочитывались на лицах. Я не сказал бы, что лица эти открыто выражали жажду мести, злобу. Скорее в них проглядывало ехидство, удовольствие от предстоящей

расправы, что-то вроде кошачьего великодушия, когда домашний хищник играет с обреченной мышью. У одного из урок блеснула не то заточенная железка, не то осколок стекла.

Я вмиг оценил положение. О каком-либо сопротивлении четверым не могло быть и речи. Бежать тоже было некуда, и не только потому, что я оказался зажатым в каком-то углу и позади меня находилась глухая стенка.

И тут я вспомнил слова начальника конвоя в нашем эшелоне, а возможно, это был оперативник. Значит, он гарантировал мне безопасность только в поезде, пока сам был тут, рядом. А что в дальнейшем со мной случится, его совершенно не интересовало, хотя он не мог не понимать, что для меня это вопрос жизни и смерти. Наша жизнь просто не принималась во внимание, уж очень ее обесценили, отнимая постоянно у людей в лагерях, тюрьмах, на фронтах; люди массами гибли от эпидемий, от голода в неурожайные годы.

Мои враги двигались на меня. В висках у меня, как молоточки, пульсировала кровь, обеспечивая учащенную работу мысли в поисках выхода, в поисках спасения. Жизнь моя исчислялась секундами.

Что потом произошло, я не помню. Но я остался не только жив, но и невредим. То ли моих врагов что-то отвлекло, то ли они чего-то испугались. А возможно, это было великодушием с их стороны, возможно, они поняли, что в действительности-то я ничего не сделал такого, что бы изменило их положение к худшему. Но последняя версия отпадает, так как она пригодна для объяснения поведения только более разумных, более совершенных существ, чем рецидивисты-уголовники. Для меня более существен вопрос, почему в памяти остался провал. Или это был предел восприятия окружающей действительности, после чего, как бы переключившись на другую волну, сознание и психика

уже не реагируют на внешние раздражения, а следовательно, и не фиксируют их в памяти. Я остался жив. Свершилось какое-то чудо.

### ***Голод, вши и болезни***

Три месяца мы беспробудно спали, совершенно потеряв ориентацию во времени. Ни радио, ни газет, ни часов, ни петушиного крика. Зима, дни короткие, мы их почти не видели. Для нас одинаково было, что день, что ночь. Почему-то все время хотелось спать, и мы спали, не шевелясь, до онемения, до боли в боках и скрюченных ногах. Иногда кто-то давал команду:

— Переворачиваемся!

И тогда все пятьдесят человек разом перевортывались на другой бок, иначе было нельзя: один, согнутый в другую сторону, не втиснулся бы в отведенное ему пространство.

Была и другая команда. Трудно сказать, как часто она повторялась, раз в сутки или чаще.

— Двенадцатый вагон, в столовую!

Кто командовал, оставалось неизвестным, но именно на номер своего вагона мы, спящие, реагировали, как на выстрел. Послушной толпой, как бараны, торопливо выходили из землянки. Темнота, не поймешь, вечер это, ночь или утро. Столовая была напротив. Тоже куда-то спускались по тесовым лесенкам, тесно усаживались на скамьи за дощатыми длинными столами, получали глиняные миски с баландой из мороженой непромытой картошки с крошечным листиком вонючей требухи. Ели, не разбираясь, что-то грязное, недоваренное, отвратительное по вкусу, имеющее единственное достоинство в том, что горячее. Да мы и холодное съели бы с таким же волчьим аппетитом.

Хлеб с преобладанием в нем кукурузы доставляли к нам с перебоями. Мы получали его через день, через два. Иногда не ели хлеба по три дня. Это озлобляло людей и вызывало даже явное неповиновение. Были случаи, когда надзиратели заходили в барак, давали команду:

— Поверка!

Но вместо обычной суеты и построения в две шеренги никто не трогался с места.

— Хлиба! — кричал кто-то в ответ.

И все хором подхватывали:

— Хлиба! Хлиба!

Надзиратели применяли разнообразную тактику. Видя, что барачники становятся неуправляемыми, а это в дальнейшем может привести к вовсе нежелательным для них результатам, надзиратели прибегали к методу уговора и заискивающе просили:

— Ну что вам стоит? Постройтесь, мы быстро посчитаем...

Но в ответ неслось все то же, только еще более возбужденное:

— Хлиба! Хлиба!

В какой-то момент надзиратели теряли самообладание, начинали кричать, ругаться, угрожать. И тогда разыгрывалось что-то несусветное. Тысячная толпа взрывалась. Отборная брань, свист, стук по нарам превращались в сплошной гвалт. Глиняная миска летела в сторону надзирателей и, разбиваясь вдребезги о столб, обдавала их черепками. Надзиратели отступали к выходу. Ээки, вдохновившись победой, кричали дружно:

— Хлиба! Хлиба!

Теперь миски летели одна за другой, разбиваясь, стреляя осколками.

— Хлиба! — ревела голодная толпа.



Прикрываясь, надзиратели спешно покидали барак, забыв о своей миссии — проведении очередной поверки. Зэки торжествовали.

Но голод был не единственной враждебной нам стихией. На работы нас не водили, возможно, потому, что лагерь не был обустроен. Только уже по нашем прибытии началось строительство тесового ограждения довольно обширной зоны: плотники стучали и день и ночь. Не было и уборных. С этой целью, под бдительным оком охранника с винтовкой, стоящего на крыше землянки, использовалась примыкающая к ней вплотную территория, из-за чего ближе к весне жилища наши окружили сплошные кольца замерзших нечистот.

Проблема отопления землянок решалась тоже довольно своеобразно. Как только мы приехали и стали жаловаться на холод, нам предложили под надзором охраны получить пилу, топор и валить ближайшие сосны. Однако ни одной сосны не было спилено, и вовсе не потому, что зэки так бережно относились к природе. Просто нами был найден более простой способ добывания топлива. Сначала начали обдирать крашеную и довольно художественно оформленную обшивку нар, оголяя столбы, цоколи, пояски. Потом разобрали перегородки по углам. А так как их надолго не хватило, принялись за разборку полов, обшивки стен. Еще недавно благоустроенные казармы принимали вид не то заброшенных конюшен, не то разоренных войной скотных дворов.

Но главным бедствием оказались вши. Более двух месяцев мы не ходили в баню, не умывались, не снимали с себя телогреек и стеганых брюк, не стриглись, не обрезали ногтей, начиная походить внешне на пещерных людей. Все это при нашей скученности создало благоприятнейшую среду для размножения насекомых. Согнув ноги в коленях, мы лежали плотно, будто вложенные друг в друга; спали

до тех пор, пока расплотившиеся на нас едучие звери не лишали сна. Четыре раза в сутки я выдирал свое тело из плотной массы спящих, разбуженный нестерпимым зудом. Поднимаясь, я слышал, как по моему телу, не удерживаясь на заскорузлом, залоснившемся белье, потоком сыплются вши. Достаточно было раз провести рукой по голове, чтобы все ногти были плотно заполнены этими тварями. Я раздевался и начинал бить их, сначала считая до сотни, потом просто так, без счета. Ногти больших пальцев, которыми я их давил, становились липкими. Я заметил, что зверюшки эти имеют разнообразную форму и окраску: черные, синие, красные, желтые. После проведения такой операции удавалось снова спокойно заснуть на несколько часов, после чего все неизменно повторялось. Некоторые от насекомых избавлялись проще: выйдя на мороз, снимали с себя рубашку и вытряхивали. Вши, как рассыпанный бисер, выделялись на снегу.

Еще с самого начала, как прибыли, с кем-то поменявшись местами, я устроился в группу вагона, в котором ехал Алексей. С ним вместе оказался и Иван Михайлович. На нарах мы лежали рядом все трое. У Ивана Михайловича отросла борода. Как-то он попросил нас побить расплотившихся в ней зверюшек. К сожалению, мы ничего не смогли сделать. Вши, гниды настолько густо переплелись с бородой, что образовали с ней одну сплошную, нераздираемую массу, какой-то упругий комок вроде войлока. Ее нужно было только целиком срезать каким-либо инструментом: ножницами, ножом, топором, но у нас ничего не было, и мы оказались бессильны. Наше с Алексеем счастье, что бороды у нас еще не росли.

Только в марте нас впервые повели в баню. Нас водили повагонно в город, за окраиной которого мы находились и который оказался Бийском Алтайского

края. В бане стригли, брили лобки, давали величиной с две ириски кусочек черного мыла, жарили нашу одежду. Но первые помывки результатов не дали. Облегчение было кратковременным. Вши с новым ожесточением нападали на наши чистые тела, и мы снова их били, давили и вытряхивали. Кто-то принял правильное решение: вагон за вагоном непрерывно, днем и ночью, нас гоняли мыться и прожаривали наши вещи. Тогда только стало приходить облегчение, и наконец наступило полное раскрепощение нас от надоедливых насекомых.

Но вместе со вшами пришли и болезни. За зиму довольно просторную территорию вокруг наших землянок огородили забором. Несколько поодаль от столовой организовали больничный стационар, необходимость в котором стала насущной. Сначала болезни появлялись разнообразные. Я познакомился с одним белорусом. Высокий, несколько старше меня, тихий, никого не задевающий. Даже странно, как такие люди могут попадать в заключение. Закон одинаков для всех. Справедливо ли это, если люди все разные — когда одному достаточно указательного перста, а по другому, как говорят, плачет веревка?

Как-то мы сидели с этим белорусом на нарах. Был день, но из-за заледеневших и высоко расположенных окон стоял полумрак. Он рассказывал о своей родине, о Белоруссии. И, как у всех голодных, мысли занимали воспоминания о еде, простой, повседневной, только попробовать которую было для нас теперь несбыточной мечтой. Он рассказывал, что бульба (картошка) в пищу людям у них идет не вся, срезают только верхний слой, а сердцевинку оставляют скотине. Вполне рационально. И что мать жарила ему картошку.

— А она такая червона-червона, — с удовольствием вспоминал белорус.

Потом замолчал, опустил голову, и я вдруг заметил, что со рта у него тянется тонкая ровная струйка. Я не понял сначала, что это такое, как в случайном отсвете различил красный блеск. Это текла кровь. Мне стало нестерпимо жалко этого белоруса, я понял, что он уже никогда не увидит свою родину, свою мать и червону бульбу. На следующий день его положили в стационар, и больше я его не видел.

Смерть стала посещать нас все чаще. Однажды утром, поднятые, как по тревоге, в столовую, мы удивились, что Иван Михайлович не встает и даже не слышит никаких окриков. Мы попытались растолкать его, но он оказался мертв. Значит, еще ночью я спал в обнимку с трупом. Но, пожалуй, ужаснее этого оказалось мое безразличие. Я не почувствовал ни страха, ни жалости. Тупость — это продукт неволи, производное рабства. Несколько позднее я узнал, что и к своей смерти можно относиться безучастно. Но этому предшествовала массовая гибель людей. В лагере началась дизентерия.

Эта болезнь была неизбежной. Люди не имели нормальной пищи. Голодные, они поглощали всякую дрянь. О какой-то гигиене питания не могло быть и речи. То же самое и о санитарии в быту. Ели все, что казалось съедобным.

В один из не очень морозных зимних дней, когда мы вагоном ковыляли на очередной прием пищи, к столовой подъехал грузовик с картошкой. В это время навстречу нам выходила, отобедав, другая толпа. И вдруг, неизвестно по какому сигналу, люди кинулись на машину, прямо на ходу открыли задний борт кузова, из которого со стуком посыпалась мерзлая картошка. Зэки, торопясь, расхватывали ее, засовывая за пазухи, в карманы, у кого они были, просто набирая в горсти. Откуда-то появился нарядчик Бойко, здоровый верзила,

с помощниками. Палками они колотили истощавших людей, от них спасая их же дневной паек.

В другой раз, когда мы спускались в столовую, тут же, у входа, стояла машина со свежей капустой. Ее разгружали столовские придурки, которых все ненавидели из-за перепадавшей им лишней миски похлебки. Спускавшиеся по лестнице эки, с жадностью глядя на капусту, походя умудрялись воровать ее. Мы уже сидели за столом, когда Алексей, стараясь сделать это незаметно, отогнул полу еще сохранившегося на нем домашнего полупальтишка.

— Смотри, — шепнул он мне.

И я увидел спрятанный у него вилок капусты.

— Как ты сумел? — удивился я.

Алексей только хитро улыбнулся, явно довольный своим удачным приобретением.

Из столовой мы вышли оглядываясь. Идти в барак с кочаном капусты было рискованно, его просто могли отнять у нас голодные вредники. Было уже темно, и мы пошли с Алексеем в сторону от жилой землянки. За нами, поняв, в чем дело, и в надежде поживиться, увязался еще какой-то парнишка, от которого мы так и не смогли отделаться.

Капуста была зеленая, промерзшая, как стальная, и не поддавалась делению на листочки. Мы нашли пенек и с силой стали бросать на него кочан, стараясь разбить его. С трудом, но нам это удавалось. Мы подбирали каждый отлетевший кусочек. Несколько листков дали сопровождавшему нас парню — задобрить его, чтобы он не сказал еще кому о нашем богатстве. Тут же мы пытались грызть мерзлую капусту, но потом придумали лучше. Вернувшись в землянку, нашли глиняную миску, заложили в нее капустное крошево и сунули в печку. Капуста быстро оттаяла, нагрелась и теперь представляла вполне съедобное блюдо.

На нарах становилось все свободнее — люди умирали. Регулярно через день по лагерю ползли два воза, нагруженные трупами. Голые, белые, как костяные, застывшие во всевозможных позах, со скрюченными тонкими, как палки, руками и ногами, они более походили на какие-то корни, чем на останки людей. Их везли открытыми, не церемонясь, без гробов, без одежды, без соблюдения каких-либо обрядов, просто так, как мусор, как падаль. И никому в голову не приходило, что где-то у них есть родные, матери, дети. Все были абсолютно равнодушны, хотя каждый являлся как бы стоящим в очереди за ними. Не только в стационаре, но и в жилых землянках установилась вонь от массы людей, страдающих поносом.

Как-то я тоже почувствовал все признаки смертельной дизентерии. В это время Алексея рядом не было. Через каких-то москвичей ему удалось устроиться на работу в контору, и я его почти не видел. Видимо, оставшись в одиночестве, я особо остро почувствовал нависшую надо мной опасность. Три дня я ничего не ел, пряча дневные пайки под телогрейкой, в мешочке из немецкого носового платка. И вот когда у меня накопилось почти два килограмма сухого хлеба, я заставил себя есть его. Первую пайку съел без труда, вроде и аппетит появился. Вторую заставил себя есть насильно. Третью полностью всухомятку одолеть не смог, налил в миску воды и доел хлеб, прихлебывая воду. От моей болезни ничего не осталось. Я вздохнул с облегчением — хоть на этот раз меня не вывезут окоченевшим трупом.

### ***Новое обмундирование***

Иногда я задумывался, куда же эти трупы вывозят. С раскинутыми в стороны конечностями они не то что в

гробы, ни в какую могилу не влезут. И однажды вдруг услышал, что приглашаются желающие работать в бригаде по рытью могил. Я сразу решил, что надо идти работать, поняв, что только трудом, какой бы он ни был, можно поддержать в себе силы, бодрость, нормальное для организма состояние. Могильщикам выдавалось новое зимнее обмундирование. По иронии судьбы, как говорится, руководить этими работами был назначен бригадир Могильный. Я записался в его бригаду. Из обмундирования получил под расписку стеганные брюки, толстые, теплые, светло-голубого цвета, и серые валенки, или, по-сибирски, пимы. Бушлата мне не досталось. А на другой день, еще не выйдя на работу из зоны, я встретил у землянки Алексея.

— Беги скорей, спрячься где-нибудь, обмундирование отбирают.

Оказывается, лагерные дельцы во главе с нарядчиком Бойко решили проверить выгодную для них коммерческую операцию. Они прогоняли эков из одной землянки в другую и, на ком было новое обмундирование, снимали его, выдавая взамен старое тряпье с умерших. Новое же, в получении которого люди расписались, уходило, таким образом, в город на продажу, в обмен на продовольствие, на самогон.

Алексей вовремя меня предупредил. Поскольку зона была в это время обнесена забором и мы свободно перемещались по ее территории, я убежал в самую дальнюю нежилую землянку. Спустившись в нее, я вдруг увидел там штабель трупов. Белые, как из слоновой кости, такие же уродливые, как на возах, они лежали друг на друге, как дрова, как сушняк: неровные, сучкастые, будто и не люди совсем. Больше опасаясь за сохранность своих новых штанов, я не испугался грудой лежащих покойников и примостился рядом с ними, даже обрадовавшись такому соседству, надеясь, что команда Бойко не додумается искать новое

обмундирование в морге среди обобранных ими же трупов.

На следующий день, впервые выйдя за ворота этого лагеря, я в составе бригады Могильного шел на работу. День был морозный, кругом сугробы. Сверкало солнце, искрился снег, ощущалось подзабытое удовольствие от того, что шагаешь, что вволю вдыхаешь чистый воздух, просто от того, что находишься снова в движении, что вырвался из вонючей и грязной. Новые ватные штаны и пимы не пропускали холод, и сознание неуязвимости приободрило и хоть на короткое время отделило, освободило от опостылевшей лагерной мрази и состояния угнетенности.

Нас привели на окраину Бийска. Место нежилое, пустое. Только поодаль несколько выделялись приземистые корпуса строящегося котельного завода. Расчистив снег, мы ломом принялись долбить мерзлую землю. Сначала, соскучившись по движению, по делу, мы взялись горячо, разогрелись, разругались, но увесистые ломы быстро сбили у нас, ослабленных продолжительным голодом, охоту к работе. Остекленевший на пятидесятиградусном морозе грунт с трудом дробился на мелкие кусочки. По очереди меняя лом на лопату, мы все-таки выдолбили котлованчик размером примерно четыре на четыре метра и глубиной в аршин. Это и явилось свежей могилой для тех из нашего эшелона, кто уже валялся в штабеле высохших и, так же как грунт, промерзших трупов.

Наши силы выдохлись. Рядом под снегом оказалась солома, мы расселись на ней, как водится, разожгли костерок, потянулись к нему красными, бесчувственными от холода руками.

Вдруг сзади меня кто-то крикнул:

— Картошка!

Даже не успев оценить обстановку, где и что, вмиг развернувшись, не вставая, я нырнул вперед руками в



заснеженную солому. Голова ничего не соображала, но руки лихорадочно работали, расшвыривая ледяную трухлявую массу. Вот она, картошка! Пальцы нащупали круглые голышки мерзлой картошки. Машинально, как парашютист кольцо, выдергиваю из-за пазухи заветный мешочек. Мысль судорожно стрекочет, подталкивает: «Быстрее поворачивайся, пока все не расхватали!»

И я шарю в этой жгучей соломе, торопливо, жадно, чтобы не меньше, чем другие, успеть сунуть в свой мешочек постукивающие, как кости, съедобные шарики.

— Горишь! — заорал вдруг кто-то истошно, с усилием дергая меня за рукав.

Приподнявшись, почувствовав неладное, я увидел, что левая штанина моих новых стеганых брюк выше колена горит. Ткань быстро удалось погасить, но вата долго еще тлела, выделяя едкий дым. Ее пришлось вырывать клочками, почти полштанины превратив в лохмотья. Увлечшись картошкой, я, оказывается, попал ногой в костер, доконав и до того некомплектное свое новое обмундирование.

С работы я шел невесело. В руке у меня болтался хлебный мешочек, на треть наполненный мелкой, с грецкий орех, картошкой, а на ноге — клочья обгорелой вонючей ваты. Я радовался картошке и переживал за штаны. Не было бы картошки, остались бы целыми штаны. Остались бы целыми новые штаны, но тогда у меня не было бы картошки. Но почему именно меня угораздило попасть в огонь? У других и бушлаты новые, и штаны, и картошки больше, чем у меня.

Такие невеселые мысли грызли меня по дороге в лагерь. Я старался отвлечь себя от них, размышляя над тем, как в такую мелкую могилу, которую мы выдолбили, свалят несколько возов трупов, кое-как присыпав их мерзлым крошевом. А что будет весной, летом? И таких могил не одна, потому что трупов сотни.

Вот в таких невеселых раздумьях пришел я в землянку, отыскал где-то кусок проволоки и, нанизав на нее частично оттаявшие, сморщенные картофелинки, как косточки конторских счетов, совал их в пламя печки, поджаривая своеобразный шашлык. А потом пошел в женский барак, и какая-то девушка наложила на мои новые штаны огромную зеленую заплату.

### ***Расправа***

Почему-то рыть могилы нас больше не посылали, хотя возы с трупами регулярно вывозились за зону. Люди в землянках продолжали редеть. Да и сами землянки за зиму преобразились. Почти все, что поддавалось огню, было сожжено. От нар ничего не осталось, кроме отдельных, лишенных обшивки столбов, на которых кое-где вверху, как грачиные гнезда, лепились отдельные доски. Там еще ютились урки. Зэки спали вповалку на земле — от деревянного пола, как и от тесовых перегородок, не осталось и следа. Вдоль лишенных внутренней обшивки стен грудились опилки от их утепления. Вместо печей и сушилок возвышались горы битого кирпича. Ободранная внутренность землянок просматривалась насквозь, как деланка после лесоповала. Голодные, одичавшие и ничего не делающие люди бродили молчаливые, будто потерявшие рассудок. Из отхожих ям извлекали кости лошадиных черепов, из которых нам варили баланду и которые сбрасывали после опять в ямы. Кости были совершенно голые, без малейшего признака мяса. Но если лошадиную челюсть разбить, из нее можно выковырнуть тонкие, как бечевочки, мягкие съедобные жилки. Я разбивал эти челюсти с огромными желтыми зубами обломком кирпича и вытягивал из них похожие на мясо нити. Шли в пищу и сами кости. Для

этого их надо было обжигать на огне до шоколадного цвета и обгрызать, пока они еще не остыли. Холодные, они снова твердели и теряли свойства съедобного продукта.

Я скоро понял, что от такой пищи будет не столько польза, сколько вред, зараза, и нашел в себе силы отказаться от такого питания.

Как-то поздно вечером я не нашел в своей землянке свободного места на полу, чтобы прикорнуть на ночь, и ушел в соседнюю. Та, к моему удивлению, оказалась почти пуста. Я шел среди голых столбов, как в обгорелом лесу, пока не заметил вдруг где-то под потолком несколько перекрещивающихся досок, которые и привлекли мое внимание, как подходящее для ночлега место. Не задумываясь я полез вверх по столбу, цепляясь за остатки бывших тут когда-то нар в виде зарубок, гвоздей, обломков обшивки. Я уже почти достиг цели, как вдруг услышал внизу крик:

— Вот он, вредник, вот кто у нас вещи ворует!

Это кричал шестерка из блатных. Я узнал его, так как видел раньше подобострастно хлопотавшим по приготовлению пищи старшим по званию вора, и, не дожидаясь дальнейшего развития событий, слез со столба и поспешно отправился к выходу. Но уйти безнаказанно мне не удалось, меня догнала и окружила человек в десять ватага урок.

— Это ты украл бобочку<sup>[26]</sup>? — кричал один.

— Ты свистнул у меня прохорю? — подхватывал другой...

Мне показалось, что все эти обвинения были надуманы, лишь для того, чтобы дать повод к расправе надо мной. И расправа не замедлила совершиться. Один ударил меня толстой, как оглобля, палкой поперек спины, другой железным прутком по голове. Взглянув

вверх, я увидел, как этот прут вновь взвился надо мной, но удара уже не почувствовал.

Очнувшись, я понял, что лежу в полной темноте. Кругом было тихо. Я вспомнил, что произошло, и мне стало страшно, страшно от сознания, что я ослеп от того удара, которого не чувствовал. Я шевельнулся и ощутил острую боль по всему телу, я весь был избит. Хотел подняться, но у меня это не получилось, не хватило сил. Зато я вдруг увидел где-то далеко-далеко, видимо в конце землянки, слабенький огонек от курящейся сигарки. Сразу стало легче: значит, не ослеп. Я догадался, что во время драки погас свет и благодаря этому меня не доби́ли.

На какую-то помощь рассчитывать не приходилось. Преодолевая боль, с трудом поднявшись на ноги, я выбрался из землянки на воздух. Была ночь, темная, звездная, морозная. Поразмыслив, я поковылял к больничному стационару, небольшой землянке, где каждый день умирали эки, но где, я надеялся, мне окажут помощь. Дверь в стационар оказалась запертой. Я постучал. Мне ответили довольно скоро:

— Кто там?

— Помогите мне, — объяснил я через закрытую дверь. — Меня сильно избивали.

— Мест нет, — услышал я категорический ответ.

Я попытался объяснить свое положение, разжалобить, но услышал все то же:

— Мест нет.

Удаляющиеся шаги за дверью, и все стихло.

«А если бы я умирал, — подумал я, — истекал кровью?» Мне стало так обидно, что на глаза навернулись слезы. Ну куда идти? В одной землянке переполнено, в другой меня добьют. Выбора не было, я пошел в первую.

Вид землянки был удручающий. Огромная, холодная, с торчащими ободранными столбами

посередине, с валами сопревших опилок вдоль стен, с открытыми уборными по углам, где раньше были отгорожены бытовки с печами, и сплошь на полу в разных, всевозможных позах спящие зэки. Их дыхание сливалось в общий сап, выразительно звучащий в тишине. Едва найдя место, чтобы поставить ногу между тел, я пробирался внутрь землянки в надежде найти для себя свободное на полу местечко. Я добрался уже до середины, но места не было. Один я стоял над этими валяющимися, как трупы на поле битвы, людьми. Они были счастливы, потому что спали. Я увидел поодаль груду половняка от разрушенной сушильной печи, также с трудом добрался до нее и, свалившись на кирпичи, избитый, измученный, глотая обиду, моментально заснул.

### ***Я — плотник***

Как следствие всего происходящего в лагере начался брюшной тиф. При полном отсутствии организованной медицинской службы, неимении больничных мест, беспросветном произволе как вольнонаемного, так и внутреннего лагерного персонала это грозило повальным уничтожением всего контингента заключенных. Стало страшно: смерть грозила каждому. А между тем чувствовалось приближение конца войны, и все больше среди зэков росла надежда на неизбежную амнистию.

— Все уйдем домой, — слышалось постоянно в разговорах.

И даже наша 58-я не отбрасывала напрочь такую возможность. Но вот 13 или 14 апреля мы узнали, что умер Рузвельт, президент Соединенных Штатов. И во мне как будто оторвалось все, рухнуло, потускнело. В тихий солнечный весенний день на крохотной

подтаявшей лужайке, вдали от всех, я сидел на пенке и плакал. Кто бы знал в то время, что где-то на Алтае, в заброшенном, всеми забытом исправительно-трудовом лагере, разрушенном и загаженном, заморенный парнишка из заключенных оплакивает смерть президента Соединенных Штатов Америки! Пожалуй, никогда и никого мне не было так жалко, как Франклина Делано Рузвельта. Я понял, что с его смертью нам, политуголовникам, нечего надеяться на какую-то амнистию ни сейчас, ни после, ни в течение всего нашего длительного срока. Подсознательно я чувствовал, что, пока в стране Сталин, жизни на свободе нам не видать. Со смертью Рузвельта это стало совершенно ясно.

То ли время пришло, потому что никогда и ничто не бывает бесконечным, а скорее всего, разразившийся тиф напугал кого-то из влиятельных лиц в городе, но на нас наконец обратили внимание. Из разговоров я узнал, что лагерное начальство все пересажали и даже кое-кого из заключенных, выполнявших административные обязанности. И вскоре стало известно, что нарядчику Бойко дали десять лет. Весьма возможно, потому, что в лагере начали спешно наводить порядок.

Как-то, находясь в бараке, я уловил:

— Требуется на работу плотники и электрики.

Хотя я не был ни тем ни другим, я тут же, как говорят, предложил свои услуги.

— К бригадиру Носову.

Меня направили в крайнюю землянку, где еще не так давно я находился в обществе трупов. Носов оказался далеко не пожилого возраста, маленький, с простодушным, но не безвольным лицом.

— Ты кто, — спросил он меня, — плотник или электрик?

— Плотник, — не задумываясь ответил я.

Мне тут же вручили ножовку, топор, и даже был закреплен за мной подручный — белорусский парнишка Колька.

В землянке, полностью опустошенной, вновь настилались дощатые полы. Мы получили от Носова первое задание.

— Вот здесь, — указал он на участок свежего пола, — прорежьте отверстие под фундамент для печи.

Нельзя сказать, что я уж совсем понятия не имел о плотницких и столярных работах. Отец мой был мастером на все руки, и еще в моем детстве до войны мы с ним возились в сарае, делали шлюпку. Я умел пилить, строгать, по шнурке окромить доску. Но вот чтобы в крепко сбитом гладком полу вырезать дырку — это меня ошарашило: понятия не имел, как это можно сделать, с чего начать. Однако я не растерялся.

— Колька, — скомандовал я своему подручному, — ты начинай тут, а я сейчас приду.

И я сбежал, спрятался, а когда вернулся, увидел, что Колька орудует пилой и одной доски уже нет, а уж выпилить остальные доски большого ума не требовалось, за что я и принялся с независимым видом бывалого специалиста.

Потом получили новое задание.

— Тешите стойки, — обратился Носов к одному из плотников и назвал размеры.

— Ты тоже, — сказал он другому, — только двадцать на пятнадцать. И ты такие же, — махнул он мне.

Понятия я не имел, что за размеры, откуда их отмерять. Однако торопиться не стал и присмотрелся, что делает сосед. Тот положил на чурбан плаху, взял шнурочку и стал чернить ее головешкой. Тут и мне все стало понятно, благо топором тесать навык я имел.

Так, день за днем, и стал я плотником. Никто и не заметил во мне новичка в этом деле.

Кто-то, видимо, очень заволновался: материалы шли нам возами. Сделав в землянке хорошее освещение, мы работали, как говорится, от зари до зари: эпидемия тифа подталкивала. Мы строили больничный стационар: стелили полы, ставили перегородки, навешивали двери. Я уже стал работать виртуозно — с одного удара загонял стомиллиметровый гвоздь при нашивке пола. Тут же, на новых полах, мы и спали, оборудовав печку-буржуйку. Вероятно, это нас, работающих, и спасло. Мы оказались изолированными от людской массы, даже в столовую ходили отдельно, после всех.

Весна уже бушевала, талые воды сверкали в лучах солнца, стало тепло, а мы в серых пимах шлепали по лужам. Они промокали, и мы сушили их ночью на буржуйке, поджаривая, пока не придумали сделать колодки, что-то вроде маленьких скамеечек, которые веревками прикручивали к подошвам. С этими колодками нам не страшны были никакие лужи, ноги не сгибались, но мы смело шлепали в лагерную трапезную, не боясь промочить валенки.

День Победы в лагере не вызвал какого-то особого восторга. Было оживленно, суетливо, возможно, способствовала этому прекрасная солнечная погода — выдался по-настоящему теплый день. Никто не кричал «ура!». Просто эки радовались, что скоро будет объявлена амнистия и все пойдут домой. А мне было совершенно безразлично, война или мир: война у меня больше ничего не могла отнять, а мир ничего не обещал. Что амнистия нас не коснется, в этом я не сомневался. Правда, в глубине души иной раз вспыхивала искрой надежда на чудо, но здравый смысл гасил ее, и становилось снова тягостно, тоскливо, охватывало чувство обреченности.

### ***В стационаре***



В лагере несколько улучшилось питание, все ээки проходили медкомиссию. Наиболее ослабевших помещали на поправку в стационар, размещенный в половине только что построенной нами больницы. Нашей бригаде плотников и электриков также провели освидетельствование, и, к удивлению моему и в то же время к радости, что могу отдохнуть, меня поместили в новый профилакторий.

Такого я не испытывал с начала заключения. Землянка после нашего ремонта преобразилась, посветлела, обшита свежеструганым тесом, издающим аромат хвои. На нарах вагонного типа — новые простыни, одеяла, подушки. Все бело, чисто. Больным также выдали новое белье, в котором я чувствовал себя непривычно легко и свободно. Кормили усиленно. В обед давали по полной миске крупяного супа с соленой камбалой и еще кашу. Ежедневно полагалась порция сахара, от чего мы уже совершенно отвыкли. В отгороженной в углу амбулатории нас постоянно осматривал врач Лысак, из заключенных, лет сорока, рослый, с добрыми лицом и характером. Прикрепленная медсестра систематически раздавала нам градусники, записывала трижды в день нашу температуру. В общем, я попал на курорт.

Обитателями стационара являлась молодежь, почти мальчишки. Они с жадностью набрасывались на густейшую баланду, ели все подряд и, первоначально заморенные, забитые, на глазах поправлялись, оживали. Им уже не лежалось и не сиделось. Они бегали, прыгали, как козлы, оглашая стационар криками с утра до вечера. А тут еще объявили долгожданную амнистию. За исключением особо опасных рецидивистов, все жулики, воры, хулиганы, не говоря уже о тех, кто имел годовой срок за опоздание на работу, отпускались на волю. И только наша 58-я статья да закон от 7 августа 1932 года, осуждавший за

крупные хищения, связанные со служебным положением, по которому давали 10 лет или расстрел, совершенно не подпадали под амнистию. Я уже не переживал, потому что заранее все предвидел, и, как ни горько это было сознавать, приучал себя к мысли, что десять лет жизни, причем самые лучшие годы молодости, надо исключить из своей биографии.

К сожалению, я начал замечать, что на меня отталкивающе действует запах соленой камбалы, с которой варили магаровую кашу. Мало-помалу я стал не доедать свою порцию, а потом и совсем перестал есть это блюдо. Затем мне так же опротивела овсяная каша. Я не стал ходить на обед и ел только свою пайку и пил сладкий кипяток. Видимо, поэтому я стал худеть, появилась слабость, понуждавшая меня все больше лежать.

Погода стояла отличная, солнечная. Лето. Поправлявшуюся молодежь стали направлять на работу на бийский мясокомбинат. Они возвращались вечером довольные, восторженные, несмотря на то что на проходной при шмоне у них отбирали колбасу, сало, другие мясопродукты. Я никуда не ходил и лежал все больше. Когда я поднимался с нар, у меня темнело в глазах, я слеп. Прежде чем идти, приходилось какое-то время постоять, чтобы вернулось зрение. При выходе из землянки я снова слеп от солнечного света. Я не видел солнца, а только ощущал обилие света. Снова мне приходилось стоять, пока перед глазами не прояснялось. Потом я шел, но как бы не чувствовал под ногами землю, как будто плыл в воздухе, но непонятно, почему не падал.

Как-то у медсестры, взявшей у меня градусник, я спросил:

— Какая у меня температура?

— Сорок, — ответила она.

Я не поверил, подумал, что она шутит. Нет, она показала мне свою дощечку. Против моей фамилии стояло «40».

— А как вчера? — спросил я.

Она показала мне многодневные записи. И везде, и утром, и вечером, температура у меня значилась та же. Врач Лысак в моей карточке записал: «Дистрофия второй степени». Я заметил, что на моем теле можно различить не только каждую косточку, но и фрагменты ее. Особенно были заметны мелкие рубчики по краю тазобедренной кости. Да и от рук и от ног остались только кости, тонкие, мосластые. Я понял, что дни мои сочтены. Не поднимаясь целыми днями, я ничего не ел, даже хлебную пайку менял на порцию сахара, разводил его в воде и пил. Это стало единственной моей пищей. Ребята, приходившие с мясокомбината, видя меня говорили, смеясь:

— Лиса, а ведь ты дубаря дашь.

Я и сам это знал. Мне было как-то безразлично: примирился я со смертью, что ли. Шла вторая половина июля. Непонятно почему, но я не сомневался, что до сентября не доживу, что этот месяц будет уже последним в моей жизни. Мне только хотелось умереть в какую-нибудь круглую дату. Взвесив свои силы, такой датой я определил 15 августа. Это число показалось мне подходящим, и я решил во что бы то ни стало дотянуть до него, твердо веря, что именно в этот день я умру. Я ничего не боялся и ни о чем не думал, просто лежал и ждал установленный мною срок моей жизни, не испытывая ни боли, ни голода, ни каких-либо желаний.

А жизнь вокруг шла размеренно и даже поделовому. Настроение у всех было приподнятое: со дня на день ждали, что начнут выпускать на свободу. Отъедались на мясокомбинате. Случилось даже крупное происшествие: выйдя на работу на мясокомбинат, сбежал Музовер, еврейчик. Он сидел по

указу «от седьмого-восьмого» (7 августа 1932 г.), и амнистия его не касалась. Говорили, что он задумал бежать вместе с новым нарядчиком Балыковым, который в этот день тоже вышел на комбинат. Но Балыков остался. Рабочих в этот день с работы привели раньше. Охранники злились, суета стояла страшная. На другой день из зоны никого не выводили. Вся охрана кинулась на розыски Музовера. Прошла неделя — Музовер исчез. Его не стали больше искать, подав бумаги на всесоюзный розыск.

В это время партию за партией стали выпускать амнистированных заключенных. Лагерь подлежал ликвидации. Оставшуюся группу в сто пятьдесят человек готовили к этапу.

В один из последних июльских дней у меня состоялся разговор с Лысаком.

— Собирается этап, — сказал он. — Ты дойдешь до пристани?

— Дойду, — ответил я машинально.

## **Глава 16**

### **Этап в Чистюньлаг**

И свершилось чудо. В день отправления этапа я, как и все, оделся и покинул бийский лагерь в толпе сотоварищей, оставленных отбывать срок. До пристани было километра три. Мы шли сначала городом. В Бийске, как говорили, имелось сто тысяч человек населения, но больше он был похож на деревню. Маленькие домики, плетни, через которые свешивали желтые шляпы подсолнечники, улочки, не имеющие покрытия. Единственная главная улица, имени Ленина, с памятником вождю и красным кирпичным зданием техникума, имела вымощенную булыжником проезжую часть.

Я с интересом рассматривал Бийск, отвлекся и, возможно, поэтому машинально переставлял ноги. Смена впечатлений придавала мне силы. Мы вышли к реке. Бия — река небольшая, мелководная, но судоходная. По деревянному мосту мы перешли на другой берег к маленькой, больше напоминающей баржу пристани. Расположились на берегу в ожидании парохода, который не заставил себя долго ждать.

Мне, выросшему на полноводной Оке и знающему Волгу, привыкшему к многочисленным мощным судам на них, здешний одноэтажный пароходик показался непохожим на пассажирский. Нас погрузили в трюмное помещение с круглыми иллюминаторами и жесткими диванчиками. Я разместился у самого борта и всю дорогу наблюдал за плывущими мимо берегами — низкими, с небольшой растительностью, за сверкающими на воде солнечными бликами.

Бия показалась мне красивой речкой, веселой. Пароходик наш нет-нет да и останавливался впритык к

берегу, меняя немногочисленных пассажиров. Перед одной из таких остановок, когда пароход осторожно поджимался к невысокому, но обрывистому берегу, я вдруг услышал наверху, над палубой, выстрел и громкий окрик:

— Руки вверх!

Я выглянул в иллюминатор. На краю обрыва с перекинутыми через плечо ЧТЗ стоял Музовер, застывший с удивленным от неожиданности лицом. Больше недели прошло со дня его побега, и, видимо, рассчитывая, что его уже не ищут, он решил дальше ехать пароходом. Откуда ему было знать, что на этом самом пароходе везут наш этап в сопровождении знающих его и злых на него конвоиров?

Музовера под конвоем взяли на пароход, поместили в отдельное помещение.

— Эх, и дадут ему! — сказал кто-то из наших.

Пароход шел всю ночь, несколько раз натыкаясь на мели, а утром нас высадили в устье Бии. Здесь, где она сливается с Обью, разместилось большое село с пристанью.

С парохода меня вели под руки, идти самостоятельно я больше не мог. Почти весь день мы провели, валяясь на берегу, в ожидании продолжения этапа. Сначала робко, по одному, к нам подходили жители села, приносили кто хлеб, кто вареную картошку. Но потом, видимо осмелев и видя, что конвой тому не препятствует, к нам шли целыми толпами, семьями — и все с желанием нас накормить. Несли все: лепешки, полными сковородами жареную картошку, огурцы, мясо, ряженку. В жизни я не видел такого сочувствия одних людей к другим, сытых — к голодным, благополучно живущих — к несчастным. Нас буквально окружили вниманием и заботой. Я не вставал и лежал вдалеке, но меня заметили, и я слышал, как указывали:

— Вон тому передайте, больному.

И мне несли разнообразную снедь. Но мне ничего не нужно было: я пил только вкусную, жирную ряженку из красноватого топленого молока. Остальное отдавал другим, хотя все не только плотно наелись, но и затоварились продуктами на дальнейшую дорогу.

Потом снова пароходом плыли по Оби. Обь — река суровая, широкая. С середины далеко виднеются и тот и другой берег, заросшие хвойным лесом. На горизонте синеют предгорья Алтая. Места задумчивые, хмурые, но красивые.

На следующее утро мы высадились в Уч-Пристани. До места назначения оставался тридцатикилометровый переход. Я, эстонец Лойтэ и еще трое ослабевших не могли идти пешком. Нас оставили, а несколько позднее погрузили на попутный обоз. Из Уч-Пристани в лагерь на запряженных попарно волах везли лес — здоровые, не обхватить, стволы лиственниц. На мое счастье, на одной из подвод на бревнах лежала какая-то дверь или калитка к забору. На нее меня и уложили.

Я впервые видел воловью упряжку. Волы шли медленно, изредка помахивая хвостами, помаргивая глазами, чтобы избавиться от надоедавших мух. К концу дня мы прибыли к комендантскому лагерному пункту Чистюньлага. По всему было видно, что лагерь построен не вчера и капитально. Бараки из самана оштукатурены и побелены. Недалеко от проходной — тополевы садик, за садиком клуб, еще дальше — два корпуса больницы: хирургического и терапевтического отделений.

Меня осматривал старик врач Кондаков, бывший заключенный, отсидевший в этом лагере 10 лет. Он внимательно меня прослушал, выстукивал, покачивая головой, почти не говорил. А через день или два отправил меня во вторую половину терапевтического корпуса, где помещалось туберкулезное отделение. Там

меня и встретил прибывший вслед за нами из Бийска врач Лысак. Он удивился, увидев меня.

— А я, когда отправлял тебя в этап, — сказал он, — думал, что ты дорогой...

Он вовремя спохватился, но я догадался, что он хотел сказать.

Туберкулезное отделение состояло из двух палат, восьмой и девятой. Из восьмой попадали в стационар, на дальнейшую поправку, или в девятую палату. Из девятой выход оставался один — в выкрашенном суриком ящике с крышкой на телеге за зону, через проходную, где вахтер, отбросив крышку, бил покойника молотком по голове, чтобы не произошло ошибки — не вывезли бы из лагеря живого.

Меня поместили в восьмую палату.

Прошло двадцать месяцев моего заключения. Впереди оставалось еще сто.



## **А. Е. Кропочкин**

### **Воспоминания бывшего каторжника СЛ-208**

*22 февраля 1947 года за мной захлопнулась железная дверь в одном из подвалов внутренней тюрьмы Томского МГБ.*

*Сейчас, спустя много лет, когда я перебираю в памяти события той страшной поры, кажутся невероятными, неправдоподобными духовный террор на допросах, пытки сном, голодом, карцером. Весь порядок, система обработки человека на следствии почти всегда давали палачам нужный результат: человек в полубредовом состоянии подписывал то, что нужно было следователю. Подписал и я.*

*Дальше, на протяжении почти девяти лет после суда, — череда пересылок, тюрем, лагерей, этапов.*

*Последним, шестым этапом на моем пути был этап на меднорудные шахты Джезказгана. Я как «руководитель» контрреволюционной группы был удостоен «честь» работать в забое. Те, кто умирал там, на медных рудниках, просили своих товарищей, кому суждено будет остаться в живых и выйти на свободу, рассказать людям всю страшную правду об этих лагерях.*

*Я, один из выживших, выполняю просьбу моего товарища, Александра Александровского, с которым разделил последние четыре года заключения и которому не суждено было выйти на волю. Джезказгану предшествовали пять этапов, из которых первым был этап в Асино.*

## **Глава 1**

### **Этап в Асино**

Нас в камере пять человек: три студента Томского университета, тракторист из Кожевниковского района Васька и поп — отец Питирим. Все малосрочники, на пятерых 33 года заключения по статье 58, пункты 10 и 11. Отец Питирим, где-то молясь за русский народ во славу русского оружия, победившего врага, допустил какую-то ошибку, — 10 лет.

А вот Васькина история несколько отлична ото всего, что пришлось потом увидеть и услышать. Мальчишкой в деревне по просьбе бабушки Ермачихи он на дверь правления колхоза мякишем хлеба приклеил тетрадный листок бумаги, где было написано, как узнал позже на следствии, что советская власть от антихриста, поскольку разрушила церковь, а колхоз — это тоже не от Бога.

Получил за это задание горсть леденцов и тут же забыл об этом. Было ему в ту пору восемь лет. В 1947 году, когда ему исполнилось семнадцать и он был в колхозе лучшим трактористом, закончив четыре класса сельской школы, и когда давно умерла бабка Ермачиха, органы государственной безопасности предъявили ему обвинение по статье 58, пункт 10, в распространении листовки с пропагандистской целью, направленной на подрыв колхозного строя и социализма. Получил Васька за свои деяния срок 10 лет.

Итак, мы в этапной камере ожидаем отправки в лагерь. Рассказаны и пересказаны не один уже раз друг другу подробности ареста, допросов, сообщены характеристики следователей.

При обходе тюрьмы начальником попросили:

— Почитать бы что-нибудь, гражданин начальник.

И, к нашему удивлению, утром следующего дня вместе с баландой мы получили зачитанный до дыр, с размочаленными страницами толстый том — «Собор Парижской Богоматери» Гюго. Читали мы по очереди, поп и Васька были малограмотными. Отец Питирим даже прослезился и сказал по прочтении: «Царство им небесное» — это Эсмеральде и Квазимодо, — хотя вначале не хотел слушать чтение еретической книги.

Последние числа августа 1947 года. После суда прошло уже около месяца. В один из дней, сразу после завтрака, распахнулась дверь камеры. Вошли начальник тюрьмы и с ним человек в гражданском. Команда — собраться с вещами. Нас, троих студентов, вывели из корпуса. Отец Питирим перекрестил нас, у Васьки на глазах были слезы.

— Фамилия, имя, отчество, год рождения, статья, срок?

Теперь эти шесть вопросов будут повторяться много-много раз на этапах, пересылках, в камерах — при выводе и водворении в оную.

— Руки назад, не разговаривать, по сторонам не смотреть, не оглядываться. Марш!

Эти пять команд теперь будут сопровождать нас до конца срока.

Глухой тюремный двор старой пересыльной томской тюрьмы. У ворот — «воронок». Неуверенно шагаем по булыжному двору, ноги как ватные. По-летнему светит солнце, кружится голова от свежего воздуха, на лицах — улыбки. Каким же светлым кажется день после полумрака и спертого воздуха камеры! Всего двадцать-тридцать шагов, и зарешеченная дверь «воронка» захлопнулась за нами.

Минут десять-пятнадцать езды, и мы на вокзале. Подъехали к самому отходу поезда. Когда нас затолкнули в тюремный вагон, там было уже человек пятнадцать-двадцать. Тихо переговариваемся. И один

вопрос: куда повезут? Кто-то предположил — как потом оказалось, правильно — в Асино (поселок на берегу Чулыма, крупная перевалка леса, деревообделочный комбинат, шпалозавод).

Вахта лагеря.

— Фамилия, имя, отчество, статья, срок?..

И вот мы на территории лагеря. Оглядываемся по сторонам. Первое, что бросилось в глаза, — это деловито снующие люди, ряды приземистых бараков, окна без решеток. Кто-то кричал: «Нарядчика на вахту!» Как из-под земли перед нами выросла фигура высокого человека с доской под мышкой и карандашом за ухом.

— Разведи по бригадам, — приказал ему человек в форме лейтенанта и, повернувшись, ушел на вахту, а мы за нарядчиком пошли к баракам. Навстречу нам по дощатому тротуару шли две женщины, одна из которых показалась мне знакомой. Но этого не может быть... Я не верил своим глазам... Да, это она, профессор истории Томского университета Фаина Ароновна Хейфиц. Прошлый год она попрощалась с нами, уезжая в Москву (там печатался ее учебник новой истории в соавторстве с профессором Московского университета — для окончательной редакции перед сдачей в печать). И вот вместо Москвы — Асино: 10 лет по статье 58, пункт 10. Мы не стали спрашивать за что. Все за то же — антисоветская агитация, а уж у профессора, конечно, больше возможностей для этого, чем у студента.

Наутро первый выход на работу. Шпалорезка. Нужно успеть за машиной сбросить обработанную шпалу с эстакады вниз по двум наклонным доскам, где ее подхватывали два человека и укладывали в штабеля.

Со стороны эта работа казалась легкой, но часа через два я почувствовал боль в руках, потом начало рябить в глазах, подкашивались ноги. Но в бешеном вращении визжат пилы, шпала за шпалой летят вниз. Казалось, вот спущу еще одну — и упаду под

надвигающийся на меня брус, но... гудок на обед. Затихли визг, грохот, все остановилось. Со всех концов рабочей зоны потянулись люди к навесу, куда подвезли два котла с пищей. Бланду разливали в котелки, какие-то банки, черепки. Я не имел посуды и стоял в сторонке, не зная, что предпринять.

Уже кончали раздавать обед, когда ко мне подошел совсем еще мальчишка, запорошенный опилками, и молча протянул жестяной котелок.

— Оставишь, — сказал он коротко и отошел.

В этот ржавый котелок повар налил бланду и туда же бросил черпачок каши. Хлеб почему-то все съедали отдельно. Выпил я свою порцию через край, а кашу выбрал со дна корочкой хлеба, и тут же ко мне подошел этот мальчишка, взял у меня из рук котелок, заглянул в него, и только тогда до меня дошел смысл сказанного им «оставишь». За услугу нужно было расплачиваться.

— Жмот, — сказал он, забирая котелок.

Так я получил первый урок лагерного закона: за все платить — окурком, пайкой, порцией бланды. Мне показали, где можно приобрести банку нужной величины для обедов в рабочей зоне. В лагерь их вносить не разрешали, а прятали каждый свою здесь же: кто закапывал в опилки, кто засовывал под бревно или щепки.

Как доработал до конца смены, я помню плохо, только увидел, что суставы в плечах и локтях вздулись до таких размеров, что было страшно смотреть, и на следующий день в лагерьном лазарете я получил освобождение от работы.

## Глава 2

### Этап в Горевку

Недели через две человек сто не вывели на работу. Пронесся слух: собирают на этап. Потом уже, когда пришлось побывать не на одном этапе, знал, как взбудоражен перед этапом бывает лагерь. Тревожит неизвестность: куда? Будет там лучше или хуже? А если лесоповал, а если шахта? В разговорах перебирали все возможные и невозможные варианты, но никогда не угадывали истины.

Прежде всего все узнали, что отставили от работы малосрочников со сроками 10 лет и меньше. Высказывались даже предположения — на расконвойку. А с моим сроком в 5 лет — наверняка.

Как бы там ни было, к вечеру всех сфотографировали анфас, профиль, взяли отпечатки пальцев, сверили по формулярам, выдали бушлаты и ботинки тем, у кого они были очень плохими (это значит — подошва ботинок подвязана куском веревки или проволоки, а бушлат или телогрейка представляет собой лохмотья).

Построили по пять, сосчитали сперва в лагере, потом еще раз за воротами, и мы в сопровождении конвоиров и собак двинулись на станцию железной дороги. Там нас передали конвою сопровождения этапа. Снова сверка, снова счет — и в вагоны. Стояли вплотную друг к другу.

— Неужели так, стоя, и поедем? — недоумевали новички на этапе.

— Нет, нас разведут по двухместным купе, — невесело шутили другие.

К вечеру мы приехали на станцию Анжерская. Первые числа ноября. Снова проверка, пересчет. Нас

оказалось девяносто человек (восемнадцать пятерок), и вот, подгоняемая конвоирами и собаками, колонна растянулась по дороге. Потеряв строй, с трудом вытаскивая ноги из грязи, перемешанной со снегом, мы медленно двигались по таежной дороге на юг.

Дует холодный порывистый ветер, слепит глаза мокрый снег. На нас промокшие насквозь бушлаты.

— Подтянись! Подтянись! — слышны крики конвоиров.

В хриплом лае захлебываются собаки, рвутся с поводков. Как в полусне бредем через метель, лай, окрики. Затихают уставшие собаки, уставшие конвоиры уже не подталкивают уставших людей. Лес плотной черной стеной обступает с обеих сторон. Идем...

Стало совсем темно, когда в этой таежной глуши внезапно открылись огоньки в окнах домов. Лесной поселок, скорее всего леспромхоз. Ночью по тайге конвой не поведет — значит, отдых. Скорее, скорее в тепло, хотя бы обсушиться, а может быть, получить пайку. Смертельная усталость притупила чувство голода, но колонну остановили. Стоим и ждем.

Минут через пятнадцать-двадцать подъехали сани — тощие клячи еле тащили их. На санях лежали люди. Это отставшие, истощенные (доходяги). Конвоир, сопровождавший сани, стал стаскивать с них людей, чтобы они встали в строй. Двое, еле переставляя ноги, встали в строй. Двое других продолжали лежать в санях. Рассвирепевший конвоир бегал вокруг саней, стараясь криком, угрозами поднять людей. И когда убедился, что криком не поднять, он стал прикладом автомата бить лежавших и вдруг, как будто что-то сообразив, отскочил от саней и крикнул, обращаясь к толпе:

— Доктор есть?! Ну-ка, посмотри... Понравилось ехать, притворились, контрики?

Из толпы вышел коренастый чернобородый человек, как потом оказалось, врач одной из киевских больниц. Он потом будет врачом медпункта в лагере.

Чернобородый подошел к лежащим и стал щупать пульс.

— Они мертвы, — обращаясь не к конвоиру, а к нам, сказал он. Хотя это ясно было уже тогда, когда конвоир бил прикладом автомата по неподвижным телам.

— Приехали, — сказал кто-то негромко, но это в гробовой тишине услышали все. Даже собаки и те перестали выть и рычать.

Крепчал мороз, небо очистилось от туч, и на нем высыпали яркие звезды. Мы стояли, не зная, что будет дальше. Шепотом о чем-то совещались конвоиры, и потом команда:

— Разберись по пятеркам!

В темноте мы долго не могли разобраться и встать как следует. Снова крики, ругань, лай собак, а мы старались втиснуться в середину пятерки, чтобы не быть с краю или в последней пятерке, то есть ближе к конвоиру или к клыкам собак. И стало ясно, что построить нас невозможно. Два конвоира, отдав своим товарищам автоматы, начали выхватывать из толпы людей и ударами в затылок по пятеркам заводить их в какой-то сруб без крыши, окон и дверей. Таким образом, через полчаса суматохи и неразберихи мы были сосчитаны и водворены в этот загон. Как в недостроенном домике могло поместиться девяносто человек, непонятно. Теперь стало очевидно только то, что нам предстоит провести ночь на морозе стоя. Приказано было не шуметь. Люди переговаривались вполголоса. Начали строить разные предположения, догадки.

— Загнали сюда, чтобы всех заморозить.

— Не всех. Произойдет отбор. Естественный.

— Доходяги в лагере не нужны.



— Лучше подохнуть, чем так...

— Нас осталось только облить водой, и будем все герои, как генерал Карбышев.

— Так то ж немцы...

— А здесь свои хуже.

— Пусть дают пайку. Давайте требовать.

И вот сперва неуверенные голоса, потом все громче и громче:

— Пайку! Пайку!

Потом все, поднявшись в каком-то порыве отчаяния, завопили:

— Пайку!

Минуту-другую прислушивались, и снова:

— Пайку!

Треск автоматных очередей с двух сторон ударил по верху сруба, на голову посыпались щепки, и все затихло. И вдруг среди этой тишины взвился высокий, почти до визга, голос:

— Стреляйте, суки, все равно к утру все будем мертвыми!

И снова в девяносто глоток:

— Пайку!

Снова прислушались.

В одну из таких минут, когда мы затихли, слышно было, как кто-то подошел к срубу.

— Слушай, контра! На пять человек буханка, делите сами, да без шума!

И вслед за этим предупреждением в сруб нам на головы полетели буханки хлеба. Тут же началась молчаливая свалка. Шарили под ногами, кто-то успел схватить буханку с плеч соседа. Но вот среди шевелящейся массы прогудел бас:

— Весь хлеб — на середину. Если хоть одна сука откусит от булки, порву пасть. Освободите круг!

И люди сделали невозможное — еще потеснились, и в центре образовался круг диаметром в метр. Со всех

концов бережно передавали друг другу булки и складывали их прямо на сырые щепки, на землю. Все стали считать. Должно было быть восемнадцать булок, насчитали семнадцать. Тот же голос:

— Сейчас устроим шмон. Найдем заначку — прощайся с жизнью.

Кто-то предложил поискать под ногами, и через минуту, откуда-то из угла, из темноты:

— Есть!

Передали в кучу восемнадцатую булку.

Среди сырых щепок нашлось несколько сухих, и при чадящем, скудном свете начали разламывать булки на пайки по 200 граммов каждому. Можно было не проверять. На самых точных весах ошибка могла быть не более 5–6 граммов.

Кто не раз бывал на этапах, тот знает, как это делается, с какой точностью на глаз делилась булка без ножа. Находилась крепкая нитка или шнурок, и булка разрезалась точно на пять равных паек. Когда раздавались пайки в столовой или на улице, там становились в затылок один за другим — подходи, получай. И горе было тому, кто становился в очередь во второй раз — *закосить*<sup>[27]</sup> вторую пайку. Отбирали полученную и били до тех пор, пока не вмешивался надзиратель или конвой, а они в таких случаях не спешили.

Но как раздать хлеб здесь, в темноте, в такой скученности, что булке упасть было невозможно на землю? Наконец из многих предложений было принято одно: выстроиться лучами по десять человек лицом к центру, где светилась лучина и находился хлеб. Это построение девяноста человек заняло у нас не менее часа. Наконец начали раздачу. Пайка выдавалась первому из десятки, он ее передавал второму, второй — третьему, и так до десятого. Десятый говорил: «Есть» —

это значит, пайка дошла, и так до первого. Снова первый передавал второму, второй — третьему, третий — четвертому, и возглас: «Десятый — есть!»

По 200 граммов полусырого хлеба было роздано каждому благодаря вмешательству, видно, опытного человека; этот человек вызывал невольное уважение. Высокий, косая сажень в плечах, в брезентовом дождевике с башлыком, надвинутом на форменную фуражку капитана речника. Но голос! Такого низкого баса мне не довелось слышать ни до, ни после лагеря. Потом он у нас в лагере был бригадиром плотницкой бригады, но об этом позже. С пайками управились в минуту.

К огню вышел тот, чернобородый, что называл себя врачом, когда осматривал умерших товарищей:

— Слушайте все, кто хочет быть живыми. Не засыпайте! Сон здесь, на холоде, — это смерть. Передвигайтесь помаленьку, жмитесь друг к другу, но не засыпайте!

## Глава 3

### Сон

Как скоротечны дни! Тихое летнее утро. Я иду по сосновому бору. Вверху бездонное голубое небо. Душистая свежесть берез и сосен.

Среди темно-зеленой травы, покрытой утренней росой, крупные сочные ягоды земляники. Я боюсь наступить на ягоды, обхожу земляничную поляну стороной.

Мне сильно хочется спать. Ложусь под сосной. На листьях и хвое — не роса, а холодный иней, и кто-то невидимый шепчет мне: «Не надо спать, не надо спать!» Борюсь со сном и... просыпаюсь от холода, сковавшего все тело.

И снова страшная явь... В каком-то полубреду-полусне шевелилась живая масса людей, коротая страшную, кошмарную ночь. Холод все сильнее и сильнее сковывал тело. Шевелиться не хотелось — не было сил, не было сил и стоять на ногах, и мы начали приседать на корточки, а потом все-таки сон валил нас друг на друга, и удавалось вздремнуть двадцать-тридцать минут.

Чуть забрезжил рассвет, команда:

— Выходи строиться!

Разминая затекшие руки и ноги, мы стали выползать из сруба. И снова:

— Разберись по пятеркам! Первая пятерка, четыре шага вперед! Вторая, третья, четвертая... восемнадцатая!

Восемнадцатой пятерки не оказалось. Вчера в ней было три человека, сегодня ни одного. Конвоиры бросились в сруб. Матерщина, удары.

Одного за другим волоком вытащили трех человек. Неестественно скрюченные тела говорили о том, что они уснули навек. Собаки было бросились на них, но сразу отступили, рыча, поджав хвосты. Теперь на санях с умершими было уже пятеро. Снова крики:

— Подтянись!

Лай собак. Скоро лес стал как будто бы реже, у дороги сложены штабеля леса. Теперь мы стали догадываться, что нас везут на лесоповал.

Вечером подошли к лагерю. Зона огорожена забором из заостренных сверху бревен, плотно пригнанных друг к другу, тяжелые ворота из горбыля, вахта — домик с двумя маленькими оконцами. Нас отвели немного в сторону от вахты, так как нужно было пропустить в зону пришедшую с работы бригаду. Изможденные, черные от копоти лица, поникшие головы. Позже мы поняли, почему у всех лица были черными. На лесосеке каждый старался, чтобы обогреться, быть поближе к костру. Умыться снегом не хотелось, а воды и умывальников в лагере не было.

И вот мы в зоне. Не успели оглядеться, как надзиратель скомандовал:

— В барак марш!

Эта команда была не понята нами, так как никаких барачков мы не увидели. Стояли, переглядывались.

— Что, особого предложения ждете? — зарычал надзиратель.

Только теперь мы различили перед собой черную дыру со ступеньками, уходящими вниз. Ощупью спускаемся на пять ступенек и открываем дверь. Первый, кто вошел в барак, крикнул:

— Братцы, да это же блиндаж!

И тогда, как по команде, давя друг друга, мы бросаемся на штурм дверей. Давка, мат... Раз блиндаж — значит, нары, и каждый думает занять место

подальше от входа, от параши и, если посчастливится, занять верхнее место — значит, спать в тепле.

Землянка, в которую нас загнали, была довольно вместительной, темной и сырой. В два яруса нары из нетесаного горбыля, маленькие оконца на уровне земли, почти не пропускающие света. В конце нары, ближе к выходу, печь — бочка из-под солярки. Печка раскалена докрасна, но воздух в землянке сырой, настоящий на запахе свежей земли и хвои. От горящих поленьев по стенам мечутся сполохи света, выхватывая из темноты лица людей.

После шума и перебранки за места на нарах наступает тишина. Кто-то роется в своем мешке, кто-то, сняв обувь, растирает ноги. Тихий говор о том, что землянка похожа на братскую могилу, что, суки, закосили ужин. Нет сил просить или требовать законную пайку. Скоро говор стихает совсем; смертельно уставшие, голодные люди погружаются в тяжелый, наполненный храпом, кашлем, невнятным бормотанием сон. В печи тлеют перегоревшие угли, затухают совсем.

Никто не мог понять, что уже прошла ночь, когда крепкий сон измученных людей прервался криком:

— Подъем!

Нехотя поднимаются люди, натягивают на себя одежду.

Следующая команда:

— Выходи строиться!

Никто не торопится выйти первым, так как первому на морозе придется ждать выхода всех остальных.

— Выходи без последнего! — кричит нарядчик.

Это значит, что последний выходящий из барака получит удар палкой. Построили нас у землянки. Подошел одетый в белый полушубок, в погонах лейтенанта, коренастый, с монгольским типом лица человек.

— Ну что, контрики, отдохнули? — В ответ угрюмое молчание. — Работать будете в зоне. К запретке ближе двадцати метров не подходить, часовой стреляет без предупреждения. Топоры будут выдаваться на вахте под личную расписку, потеря топора или утаивание считается подготовкой к покушению на охрану лагеря. Срок — пятнадцать лет. Ясно? Вопросы есть?

— Почему не выдали вчерашнюю пайку?

— Об этом спросите у конвоя, который привел вас сюда, — с еле заметной ухмылкой произнес начальник лагеря. — Ночью из барака не выходить, жалобы подавать лично мне через бригадира. В остальном: закон здесь — тайга, прокурор — медведь, — повторил он давно известную всем экам присказу.

По тому, как говорил с нами молодой начальник, было видно, что он наслаждался неограниченной властью над бесправными, голодными людьми.

Наша бригада с 58-й статьей строила барак.

Как-то, ближе к весне, нашу стройку посетило начальство из Сиблага.

— Начальство лагеря жалуется, что плохо работаем, — начал один из проверяющих начальников. — Выявим саботажников, отправим в штрафной лагерь.

— Хуже не будет, — тихо сказал кто-то.

— Кто сказал? Два шага вперед!

И, чего мы не ожидали, из строя вышел бригадир — тот капитан-речник, который на этапе делил хлеб, который силой и матом поднимал с нар обессиленных работяг: один раз не поднявшийся с нар человек не мог встать на ноги уже никогда. Он — бригадир, и мы знали об этом, но не каждый мог преодолеть в себе навалившуюся тяжесть во всем теле, и особенно в ногах. В первую очередь отказывали ноги. Каждое утро нужно было преодолеть пять ступенек из землянки, и

мы, подталкивая друг друга, с каждым днем все труднее и труднее преодолевали их.

— Я сказал, гражданин начальник. И скажу еще, что нам по три дня не выдают хлеба, заели вши, на сруб подсаживаем друг друга, норму мы не выполняем потому, что доходим, блатные отбирают пайку...

Мы стояли опустив головы, и воцарилась такая гнетущая тишина вокруг, что слышно было дыхание людей, грязных, оборванных, с изможденными лицами, жавшихся друг к другу. Пауза затягивалась.

— Разберемся, — коротко, но как-то не по-начальнически бросил проверяющий, пристально смотревший на тянувшегося перед ним начальника лагеря, который казался нам теперь таким малозначительным и жалким.

Напрасно мы ждали каких-то скорых изменений к лучшему после этого посещения начальства. Все оставалось по-прежнему.

Весна в тайгу приходит позже, но апрель принес тепло и яркие солнечные дни. Мы как бы узнавали заново друг друга. В зоне разрешили разжечь костер для прожарки белья. Раздевались у костров, стараясь как можно ближе поднести к огню то, что называлось некогда бельем. Со стороны это было похоже на какой-то танец скелетов, обтянутых серой гусиной кожей. Затея с прожаркой кончилась тем, что белье стало еще черней от копоти да прибавилось прожженных дыр, а насекомые как были в складках белья, так и остались.

Потом наиболее изобретательные нагревали два кирпича и старались, как утюгом, проглаживать ими складки белья и, тоже без успеха, с остервенением били горячим кирпичом по белью, и там, где ударяли, проступали кровавые точки раздавленных насекомых.

К началу лета бригада уменьшилась наполовину, а барак, который мы строили, был готов меньше чем наполовину. Недалеко за зоной еще до зимы был вырыт



ров, теперь зимой не нужно было в мерзлой земле рыть могилы для каждого умершего отдельно. Трупы сбрасывали в ров, разравнивали землю, закидывали травой и мхом.

Вести с воли не доходили в эту таежную глухомань — так же, как нельзя было отсюда докричаться до родных и близких людей.

Подъем, работа, отбой — это бесконечное однообразие, иссушающее душу и тело, превращающее человека в полуживотное, один раз было для меня нарушено вызовом на вахту. Вызов на вахту в лагере для зэка либо беда, либо радость. Радостью может быть свидание, освобождение, все остальное если не беда, то и не радость.

Переступив порог вахты, я сразу же увидел сестру Аню. Она сидела на скамейке в углу, нас разделяла невысокая перегородка. Родное, милое лицо. Но почему она рассеянным взглядом скользит мимо моего лица, смотрит на надзирателя, который привел меня? Да она не узнает меня, хотя не прошло еще и года, как мы расстались.

Как-то весной, после дождя, около барака я склонился над лужей, чтобы умыться, и увидел, как в зеркале, отражение своего лица. На меня глядел незнакомый мне человек, обросший жесткой щетиной, с черепом, обтянутым грязной кожей, и с провалившимися глазами. Я тогда еще подумал: «Такого меня и родная мама не узнала бы!»

И вот сбылось мое предположение. Так и стояли мы друг против друга, пока я не сказал:

— Здравствуй, Аня!

В глазах метнулся страх и изумление одновременно. Расширенными глазами смотрела она на меня, еще не веря, что перед ней ее родной брат. Из всего короткого бессвязного разговора тогда я запомнил только один ее вопрос:

— За что они тебя так?..

Да, спустя много лет после того, как меня лишили свободы, после того, как я вновь обрел относительную свободу, я снова задал себе этот вопрос: за что? И сам ответил на него словами одного типа, который в разговоре со мной о репрессиях сказал мне:

— Зря не сажали.

А ведь и в самом деле, не сажали. Стоит вспомнить, покопаться в памяти, а если забыл, то тебе напоминали следователи на допросах: где, когда, в присутствии кого были сказаны фраза, слово — хоть одно слово, по которому можно заподозрить тебя в нелояльности, непочтении к строю, «вождю» или к своему начальнику, — этого было достаточно, чтобы потом раскрутить на всю катушку дело об антисоветской деятельности. «Был бы человек, а «дело» будет» — так шутили в то время следователи.

В наши глупые пионерско-комсомольские мозги, в наше сознание с раннего детства вбивали, что свобода слова, свобода печати обеспечены сталинской конституцией, и мы верили в это, как и в то, что живем в самой счастливой и свободной стране, «...где так вольно дышит человек». Мы верили, не ведая, что под свободой слова и печати подразумевается прославление произвола, лицемерия, вселенской лжи, доносов и прочей атрибутики, связанной с движением к «светлому будущему».

А если ты не прославлял, добровольно не отдавал себя во власть этого огромного, многоглазого, с длинными щупальцами чудовища, тогда оно хватало и пожирало тебя и твоих близких.

Чудовищем этим был ГУЛАГ.

И сейчас, через много лет, не могу не вспомнить слова начальника Томского МГБ подполковника Волкова, коим я был удостоен вызовом на беседу. Тот начал стелить издалека:

— Вот, парень, ты, по дневникам, да и по повести, которую я прочитал с большим интересом, боевой и неглупый, да и друзья твои университетские будут говорить, что не за что было тебя забирать, но сейчас, к концу следствия, ты, наверное, понял, каким ты должен был быть, чтобы называться нашим, советским человеком. Твой арест должен послужить предупреждением для других студентов, что на страже идеологии стоят не только комсомольская и партийная организации, но и чекисты. Может быть, твой арест породит еще несколько недовольных строем, властью людей, и все же не посадить тебя мы не могли. От таких, как ты, завтра можно ожидать не только разговоров, но и действий. Всякую болезнь, как известно, вылечить можно на ранней стадии заболевания.

Вся эта проповедь была сказана ровным, спокойным голосом, и неискушенному человеку могло показаться, что, в самом деле, так оно и есть. Спасибо им, диагностам, захватившим болезнь на ранней стадии ее развития.

Говорить с сестрой мне не дали. Перетрясли сумку со снедью. Надзиратель с каким-то остервенением крошил каждую лепешку, дважды пересыпал махорку и, наконец, передал мне сумку с продуктами. Я был первым, кто получил здесь, в этой глухомани, посылку.

Посылку в барак принес с вахты бригадир. Лагерная шпана не посмела напасть на него и отобрать.

До этого в лагере произошел такой случай. Трое урок пришли к нам в барак разжиться махоркой. Закурить им не дали, но, когда они потребовали поделиться махоркой, бригадир схватил топор и гнал их до самой вахты. С тех пор в нашу бригаду никто из них не навещался.

Лето подходило к концу. Красивым бывает начало осени в тайге. Краски от темно-зеленого до оранжево-

красного расцвелили лес. Теплое, ласковое солнце грело землю, исчез гнус, страдания от которого были не меньшими, чем от голода. Страшно было подумать о том, что впереди ненастье, дождь, снег, холод. Снова темнота подземного барака, голод. В бригаде осталось меньше половины, да и те, оставшиеся в живых, еле-еле забирались на сруб, тюкали топорами, сберегая силы, чтобы добрести до барака после съёма [\[28\]](#).

В один из таких погожих дней меня вызвали на вахту. За маленьким столиком сидел начальник лагеря, перед ним — тощая папка; это мой формуляр. Справился о моих данных: фамилия, имя, отчество, год рождения, статья, срок, время ареста, каким судом осужден. На все эти вопросы нужно отвечать быстро и четко.

— Через десять минут на вахту с вещами, — сказал начальник, закрывая папку. — Топор сдашь надзирателю, — добавил он.

Все вещи, которые я имел, были на мне, так что сдать нужно было только один топор.

Радость, надежда охватили меня — ведь говорили знатоки, которым я рассказывал о своем деле, что после жалобы Сталину меня, фронтовика, не бывшего в плену, должны освободить.

В жалобе я писал: «Дорогой наш полководец, мы, твои солдаты, верой и правдой служившие тебе и Родине, прошедшие боевой путь...» и т. д. И самым сильным аргументом в жалобе я считал, что у меня имеется грамота с благодарностями за его подписью, что мы спасли его и его министров «от гитлеровской петли» (буквально), а сейчас органы МГБ учинили надо мной произвол и расправу. «...Дорогой вождь, помоги нам, твоим солдатам, восстановить справедливость».

Теплый сентябрьский день. Дорога от лагеря идет через сжатые поля с березовыми колками, скирдами

сена и соломы, еще не убранными с полей. Вот она, свобода, рядом, хотя и предупрежден конвоиром:

— Шаг влево, шаг вправо считаю побегом, оружие применяю без предупреждения.

Но он, наш конвоир, хороший, добрый парень, он ведет меня на освобождение.

Рядом со мной шагает девушка. На вид ей восемнадцать — двадцать лет. Разговаривать в строю не разрешается. Мы смотрим друг на друга, улыбаемся. Откуда она и почему идет вместе со мной? В округе женских лагерей нет. Может быть, она арестована в Горевке? Тогда почему на ней лагерные ботинки и платье? Вздернутый носик, веселый, озорной взгляд черных глаз проникает в душу. Взглянув на нее, самому делается беспричинно весело и легко. Я смотрю на нее и думаю: неужели конвоир стал бы стрелять в нее, если бы она сделала шаг в сторону?

Попробую задать ей один вопрос — как она оказалась в Горевке, и если конвоир сразу же не оборвет наш разговор, то будем идти и разговаривать.

Я задал ей этот вопрос. Конвоир промолчал. Значит, можно разговаривать.

Галя — так звали девушку — родом из Западной Украины. Осуждена на 5 лет. Отца с матерью арестовали раньше, жила с теткой в этой же деревне. Ее «дело» состояло в том, что она однажды вечером вынесла напиться воды трем хлопцам. Напоила — и забыла. Прошло два года. Когда ей исполнилось восемнадцать лет, в день рождения, за ней пришли. На допросах старались установить связи с бандеровцами, обещали: если она укажет, опознает этих парней, то ее отпустят.

На очных ставках через два года она не могла никого опознать. В конце концов, убедившись, что она в самом деле ничего не знает, в обвинительном заключении просто написали: за оказание помощи

бандеровцам. Ну, а потом, как обычно, этапы, пересыльные тюрьмы...

Из женского лагеря в Асино Томской области она попала в Горевку на расконвойку. Была на побегушках у начальника лагеря, у кума мыла полы в конторе, и вот — этап в неизвестность.

— Тебя, может быть, и отпустят, — сказала она, — а нас, бандеровцев, ни за что.

Я как мог успокаивал ее, говорил, что с расконвойки берут только на освобождение, а самого червь сомнения где-то внутри точил и точил: что завтра? Теперь же хотелось, чтобы эта дорога среди полей и перелесков продолжалась как можно дольше, — так легко и радостно было на душе, ведь я вырвался из этого ада, где медленно, но верно угасала жизнь.

К вечеру мы пришли на станцию Яшкино. На ночлег остановились в каком-то ветхом пристанционном домишке. Судя по тому, как конвоир разговаривал с хозяйкой, он здесь не впервые. Постелив под голову бушлат, я не помнил, как уснул. Проснулся внезапно, не то от грохота, не от крика, и в следующую секунду в комнатку, где я спал, вбежала Галя.

— Заступись... — прошептала она.

Конвоир, по всей видимости, не ожидал такого отпора от девчонки. Он рисковал получить статью не за изнасилование, а за связь с заключенной — и отступился. Так мы сидели, прижавшись друг к другу, и решили: если будет выводить, то только обоих. Остаток ночи прошел спокойно, хотя мы не сомкнули глаз. Этот конвоир не знал западных украинок, для которых бесчестье все равно что смерть. Только по любви и по закону она могла пойти на связь с мужчиной. Обменялись адресами. Она попросила, если у меня будет возможность, написать ее тетке — когда и где я ее видел в последний раз.

Нас с ней перевезли в пересыльный лагерь на станции Яя. Здесь мы с Галей расстались.

— До свидания, — чуть слышно произнесла она.

Таких печальных глаз, наполненных слезами, я больше не видел никогда в жизни... За нею закрылись ворота женской тюрьмы, а меня почему-то отправили на пересылку в Новосибирск.

Дальнейшие события, круто повернувшие мою лагерную жизнь, не позволили выполнить ее просьбу, а потом стерся в памяти и адрес.

Из вагона нас выгрузили в тупике между старой водокачкой и льдопунктом. Отсюда начиналась улица 1905 года, на которой находилась пересыльная тюрьма. Судьбе было угодно устроить так, что мне пришлось в 30-х годах жить в угловом доме на стыке улицы Салтыкова-Щедрина и улицы 1905 года.

В те страшные тридцатые для жителей этой улицы стало уже привычным передвижение, почти ежедневное, этапов серединой улицы, а встречные люди, повозки жмутся к тротуару. Группа людей, со всех сторон стиснутая конвоем с собаками, идет, провожаемая взглядами, в которых и сострадание, и любопытство, и страх. Кто эти люди, за что арестованы, какое преступление совершили они? Так думал и я тогда, когда мальчишкой наблюдал за этими проходящими колоннами.

Как только я переступил порог пересылки, все взоры обратились ко мне. Первый вопрос:

— Давно с воли?

И когда узнали, что год с лишним, интерес к моей персоне сразу пропал.

Окинул взглядом людей, и невольно на ум пришли слова поэта: «Какая смесь одежд и лиц...» Лучше про пересылку не скажешь. Здесь люди сортировались, пересылались к указанному месту, на очную ставку, на допрос, для дачи показаний в суде по делу тех,

кто из твоих знакомых сел позже тебя. Кто-то отсюда поедет к постоянному месту жительства — в лагерь. Постоянная смена лиц...

А пока ожидание и неизвестность, неизвестность и ожидание. Между нарами и противоположной стеной на всю длину барака кружат и кружат, заложив руки за спину, люди, что-то обсуждая, о чем-то споря. Здесь мне убедительно объяснили, что еду я из лагеря не на освобождение, а за «довеском», так как якобы Генеральный прокурор всем «пятилетникам» опротестовал приговоры областных судов как необоснованно мягкие, и что у кого был «пятак» — будет восемь или десять.

«Абсурд, — думал я, — как можно добавлять всем, независимо от степени вины?»

Святая наивность. Можно! Через десять дней я убедился в этом. В том же Томском областном суде, с портретом Сталина во весь рост за спинами судьи и двух заседателей. Прокурор, защитник, секретарь — полная картина советского, «самого гуманного и справедливого», правосудия. Вопросы суда, ответы подсудимых... Суд удаляется на совещание. Приговор:

— Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики Томский областной суд, руководствуясь статьей пятьдесят восемь, пункты десять и одиннадцать, УК, приговорил Кропочкина Александра Евдокимовича к десяти годам лишения свободы в ИТЛ.

В ответ я улыбнулся прокурору.

— Чему вы обрадовались, подсудимый?

— Радости мало, но смешно то, что у вас и защитник от начала до конца вместо защитительной речи произносит обвинительную.

Теперь, как мне показалось, самодовольно улыбнулся прокурор.



И еще больше всего мы боялись, что дело из суда будет передано на следствие в МГБ. Это уже страшнее любого приговора. И когда меня представили как руководителя, главаря несуществующей преступной контрреволюционной организации, ставившей своей конечной целью свержение существующего строя, я не возражал и не доказывал абсурдность этого заключения.

Как это я пытался доказать следователю, что три студента-фронтовика не могли свергнуть существующий строй, который они вчера защищали с оружием в руках и который не могла свергнуть оснащенная, вооруженная до зубов германская армия? Этот довод я считал сильным, он должен был опровергнуть предъявленное обвинение. Но запущенная адская машина следствия перемалывала все эти доводы и, не останавливаясь, выдавала продукцию для ГУЛага. И нет дела ей до наших аргументов, доводов и доказательств.

## **Глава 4**

### **Этап на Байконур**

Конец февраля месяца 1949 года. Прошло уже два года следственных тюрем, лагерей, пересылок, и вот состав из товарных вагонов с решетками на оконцах мчит нас куда-то. Хотя бы увидеть название одной станции, и станет ясно, куда едем.

И первой станцией, которую мы увидели, был Барабинск. Едем на запад. Дальше начались гадания... Куда??? Если Северный Урал — плохо...

И никто в вагоне не мог догадаться куда до тех пор, пока не приехали на станцию Петропавловск. Здесь мы повернули на юг от Транссибирской магистрали.

Было высказано предположение: на угольные шахты в Караганду. Но когда приехали в Караганду и нас не высадили, тогда все потерялись в догадках — никто из нас не знал, что есть на земле Байконур, рабочий поселок, Джезказган, Кенгир, Карсак-пай, Балхаш, где безраздельно господствовал Степлаг с центром в Караганде...

Выгрузились на станции Новорудная. Конец февраля. Заметно теплее, чем у нас в Новосибирске. Солнечно. Чистое голубое небо и степь без конца и края на все четыре стороны. После недели, проведенной в вагоне, закружилась голова.

Построение.

— Первая пятерка, пять шагов вперед, вторая, третья... Не оглядываться, не разговаривать!

Мы проходим метров двести-триста и грузимся в вагоны узкоколейки. Вагоны приспособлены для перевозки зэков. Я до тех пор не видел вагонов узкоколейки, и все это кажется игрушечным,

неправдоподобным, маленьким. Отсчитали десять пятерок.

— Куда? — Этот короткий вопрос почти шепотом задаем железнодорожнику — осмотрщику вагонов.

Он так же коротко и негромко ответил:

— Байконур.

Оказалось, что это рабочий поселок в девяноста километрах на запад от Джезказгана.

Формальности с отправкой этапа задержали нас почти до вечера. Ясный, сравнительно теплый день сменился порывистым ветром, полетели хлопья снега. Короткий гудок паровоза, и вагоны, подрагивая, застучали на стыках, увозя нас в неизвестность. Не знаю, сколько мы проехали, поезд сперва замедлил ход и еле тащился, потом остановился совсем. За окном бушевала вьюга. Свист, вой ветра слились в какой-то адский рев. Казалось, что эти игрушечные вагончики вместе с нами унесет в степь.

Мы сидели, плотно прижавшись друг к другу. Вагон продувался насквозь. Опустилась ночь. Но прежде чем наступила ночь, в вагоне стало совсем темно от того, что сугроб снега закрыл окна. В вагоне потеплело. В кромешной темноте и грохоте мы потеряли счет времени. На крыше вагона слышался топот ног и еле слышный голос:

— Откройте вентиляцию!

А кто знал, где она находится, эта вентиляция, и что нужно открывать? Духота становилась невыносимой. Люди шарили по стенам, по потолку вагона и не находили того, что можно было бы открыть. Мы были заживо погребены в этих коробках под сугробами снега. Запахло мочой и испражнениями. В этих вагонах не предусмотрен туалет или параша. Это еще больше усугубило и без того критическое положение. Люди падали в обморок. Выбили через решетку оконце. Но это не помогло. За окном плотно спрессованный снег не дал

возможности проникнуть свежему воздуху в вагон, ставший для нас газовой камерой.

Истошно кричали, били в стены вагона кулаками, ногами, прислушивались, но в ответ — гробовая тишина, и теперь слышалось только прерывистое, хриплое дыхание обреченных людей.

— Спишут нас, братцы, за счет стихийного бедствия, — проговорил кто-то.

— Заткнись, будем сидеть молча, так и спишут.

— Давайте ломать вагон.

— Чем?

— Руками!

Я чувствовал, как начинала кружиться голова, стали путаться мысли, и вдруг меня осенило. Вспомнил, как мы, трое комсомольцев, в 1938 году по набору обкома комсомола ехали на поезде, который в народе называли «Максимкой». От Новосибирска до Владивостока восемь — десять суток тащился товарно-пассажирский поезд. В этом поезде была половина товарных, телячьих, половина пассажирских вагонов. Мы ехали в пассажирском вагоне на общих нарах без постели. И вот когда было жарко, я находил над собой в потолке вагона маленькую металлическую шишечку на диске и поворачивал диск с окошечками, которые устанавливал против таких же окошечек в потолке вагона. На ходу поезда в этих окошечках свистел вытягиваемый из вагона воздух. Этот рычажок нужно искать посередине вагона.

Я долго шарил руками по потолку вагона, нашел злополучный рычажок и стал поворачивать его в разные стороны. Диск не поворачивался — наверное, приржавел. Я снял с ноги ботинок и начал бить по диску каблуком. Снова пробовал повернуть — диск не поддавался.

— Нужно ударить ногой, — посоветовал кто-то.

— А что, можно и ногой.

Мы, четыре человека, подняли пятого. Он лежал у нас на руках на спине и бил ногой в то место, куда мы направили его ногу. После третьего-четвертого удара с потолка посыпались проржавевшие куски жести, и нога застряла в отверстии вентиляции. Из этого отверстия чуть-чуть потянуло холодом. Конвой, очевидно, освободил от снега вентиляционные грибки на крыше вагона. Они тоже отвечали за то, чтобы довести нас до места живыми. И их могли наказать — не за наши загубленные жизни, нет! В этом мы все были убеждены. Могли наказать только за то, что не была доставлена ко времени рабочая сила.

К этому отверстию в крыше вагона, откуда струился свежий воздух, подносили по очереди упавших в обморок людей. И как только человек открывал глаза, подносили другого.

Мы потеряли счет времени. По предположениям, должно было быть утро. Людей охватило какое-то оцепенение, и непонятно было, то ли они спят, сидя на корточках, то ли мертвы. Нет. Если прислушаться, можно услышать еле слышное дыхание, слабые стоны, бормотание. Погребенные были живы. Но вот снаружи вроде слышались голоса, еле различимые, однако обостренный слух улавливал их, и ошибки быть не могло. Потом стали скрести по стене вагона с той стороны, где были окна. Обозначился тусклый квадрат зарешеченного окошка, и вслед за этим (удары, треск отдираемой решетки) от удара прикладом автомата рама, со звоном разбитого стекла, упала на нас. К окну приблизилось лицо конвоира.

— Всем сидеть на полу. В окно не высовываться. Стреляем без предупреждения.

— Пить! Пить! — понеслось из вагона.

— Молчать! — рявкнул конвоир. — А то сейчас напою!

— Пить!..

Минут через пятнадцать-двадцать в окошко просунули кусок слежавшегося снега, потом другой. Оттесняя друг друга, люди набросились на снег и не столько разобрали руками, сколько растоптали его ногами.

— Что, фашист, жить захотел? — это проговорил казах в лисьем малахее, загородивший все окно улыбающейся физиономией. Значит, откапывало поезд местное население — казахи.

Утолив жажду, люди опять заговорили. Посыпались предположения: сколько времени нужно, чтобы откопать весь состав, сколько времени нужно, чтобы расчистить путь, и куда повезут — вперед или назад? А время между тем шло, за стенами вагонов слышались крики, мат, рев верблюдов.

Буран, по-видимому, утих, так как траншея, пробитая к окну за день, не была занесена снегом.

Во второй половине дня в это же окно нам забросили соленой рыбы и по кусочку хлеба.

И снова крики:

— Пить!..

Опять несколько кусков снега в окно и снова тишина.

Спустя какое-то время команда:

— По пять человек на opravку выходи!

Под дулами автоматов через открытый тамбур спускались на землю у самого вагона и обратно.

— Следующая пятерка! Выходи...

Состав был откопан на всю длину. День клонился к вечеру. Неужели впереди еще одна кошмарная ночь? Где-то в полночь еле уловимый толчок вагона и следом скрежет и визг колес по заснеженным рельсам. Кажется, поехали. В какую сторону — не все ли равно? За ночь еще не раз наш поезд останавливался, сдавал назад и снова полз вперед.

Да, теперь сомнений не было, мы вернулись на Новорудную, на ту станцию, с которой мы двое с лишним суток назад выехали в Байконур.

*Справка: Поселок Байконур, давший название космодрому, на самом деле находится в 400 км от самого космодрома, у железнодорожной станции Тюра-Там.*

Позже, в Джезказгане, мы встретили людей, побывавших в Байконуре. Там был небольшой лагпункт Степлага — п/я 392/7. Когда-то здесь было открыто месторождение каменного угля с толщиной пласта 60–100 сантиметров на глубине 100 метров от поверхности. Использовать технику при такой толщине пласта невозможно, а вот обушок и санки в виде деревянного корыта с лямкой были самыми подходящими.

Каторжный труд саночников на шахтах в царской России в литературе отражен достаточно хорошо, но таким способом в XX веке ни в Донбассе, ни в Воркуте, ни в других местах уголь уже не добывали. Забойщик долбил кайлом, нагружал корыто углем, и саночник на коленях тащил к стволу добычу. Только у ствола можно было распрямиться и стать во весь рост, высыпать уголь в бадью — и снова на коленях ползком до забоя.

Наколенники и рукавицы после пяти-шести смен превращались в лохмотья, а выдавались они сроком на один месяц. Тогда на колени привязывались куски старых, полусгнивших телогреек, которые для этой цели лежали в куче у шахты. Редкий день проходил без того, чтобы на поверхность не выволакивали труп. Умирали, сходили с ума из-за того, что человек, работая в полумраке забоя, все время чувствовал страх быть раздавленным, похороненным заживо, а обвалы были обычным явлением. Эти ежедневные спуски в шахту, как в могилу, доводили людей до отупения,

безразличия ко всему окружающему и к своей судьбе. Потом человек «доходил», потом лазарет и... «деревянный бушлат».

Ночами в бараке слышались стоны, нечеловеческие крики «спасите!». Это новички привыкали к новым условиям работы, это подземный кошмар первых дней работы приходил к людям в страшных снах.

План добычи угля эти подземные кроты должны были выдавать ежедневно. И выдавали — ценой собственных жизней.

Стихия прервала наш путь на Байконур, и не все ли равно, куда нас бросят завтра. А сегодня мы хотим есть и спать после двухсуточного снежного плена.



## Глава 5

### Этап на Джезказган

#### *Каторжный лагерь Джезказган (медный котел)*

После неудачного этапа на Байконур нас возвратили на станцию Новорудная, и вот случилось то, чего боялись все эки, которых привозили в Степлаг: боялись медных рудников Джезказгана.

У А. И. Солженицына в третьем томе «Архипелага ГУЛАГ» есть описание, как эки, среди которых был и он, молили Бога, чтобы не попасть в Джезказган, когда их привезли в Степлаг. «Это была та джезказганская медь, добывание которой ничьи легкие не выдерживали больше четырех месяцев», — пишет Солженицын.

От станции до лагеря — три-четыре километра. Идем в колонне пятерками, взявшись под руки, по талому снегу, перемешанному с песком. В высоком голубом небе слышны трели жаворонков; даже собаки и те сегодня не рвутся с поводков, как обычно, когда сопровождают нас на этапах.

Справа от меня — высокий, широкий в кости человек лет шестидесяти, со сморщенным лицом. Когда-то добротный синий костюм висит на нем. Он все тяжелее опирается на мою руку. Не глядя в мою сторону, шепчет:

— Не бросайте меня...

Теперь я понял, что рядом идет крайне истощенный человек, еле переставляющий ноги. Онемела правая рука, и я сам уже начинаю запинаться. Сосед слева смотрит на меня, я глазами показываю ему вправо, тот понимает, крепче прижимает мою руку, поддерживает меня. Так мы в тройной связке подходим к лагерю.

Колонну сажают на землю в стороне от ворот, не нарушая состава пятерки.

Как только мы сели, мой подопечный сразу же упал головой ко мне на колени.

Команда:

— Встать!

Встаем. Я пытаюсь поднять его, но мне не удается.

Конвоир замечает возню в колонне.

— А там что, особое приглашение нужно? — кричит он.

Отдает автомат конвоиру, подходит к нам.

— Он не может встать, — говорю я конвоиру.

— Ну ничего, здесь быстро вылечат.

Между тем с вахты пришли с носилками и унесли бедолагу в лагерь. Так состоялось мое знакомство с бывшим послом в Англии Майским. После лазарета он был заведующим лагерной пекарней, и мы с моим дружкой Володи Хоменко теперь имели возможность приходить после работы в шахте на пекарню — подносить, разгружать мешки с мукой и наедаться от пуза теплого хлеба с квасом. На первых порах этот дополнительный хлеб помог нам выжить после пересылок, этапов, тюрем, после непосильной работы в шахте. Но не прошло и года, как на Майского было совершено покушение и его убрали с лагпункта. Заведующим стал чечен и в подсобники стал брать своих.

Когда мы подошли к лагерю, то невольно сравнили эти мощные, выложенные из камня высокие стены с теми, что пришлось видеть до этого, — либо дощатые заборы, либо огороженные колючей проволокой, с вышками по углам деревянные бараки.

— Вот это капитально, — произнес кто-то.

С визгом и скрежетом раскрылись железные ворота, пятерку за пятеркой пропуская нас внутрь лагеря.

Утром кое-как натягиваем на себя шахтерскую робу. Чуни подвязываем на ногах обрывками веревок, проволоки.

Столовая. На завтрак — 300 граммов хлеба, миска баланды и несколько ложек овсяной каши. Стало страшно. Неужели с голодным брюхом идти в шахту? До этого я никогда в жизни не видел шахты вблизи, и эта неизвестность страшила. Шли по голой степи, окруженные автоматчиками с собаками. Трудно кому-либо из нас сделать шаг влево или шаг вправо и быть застреленным без предупреждения.

Небольшой шахтный двор.

— Садись!

Сели прямо в лужи талого снега. Разговаривать запрещено. Так хочется спросить, что будет дальше. Знали только то, что сказал бригадир перед разводом:

— Пайка зарыта на глубине сто пятьдесят метров, и, чтобы получить ее вечером, нужно дать план.

Потом это слово: «дали» или «не дали» план — уже воспринималось как понятие — будет вечером 300 или 600 граммов хлеба.

Где-то слышались глухие взрывы. Земля под нами вздрогнула. Что это? Минут через двадцать-тридцать из-под копра шахты с зажженными карбидками в таких же робах вышли три человека и скрылись за машинным отделением.

— К спуску приготовиться! Первая пятерка — марш! Вторая... третья.

Первая пятерка подошла под строения копра и через минуту как бы повалилась на землю. Тусклая лампочка, висящая где-то вверху, еле освещала четырехугольное отверстие, уходящее вниз, в темноту. Из этой ямы тянуло сырым теплом и дымом от взрывчатки.

Ноги нащупали внизу опору; это была лестница, стоящая почти вертикально. Одна ступенька, вторая,

третья... Скользко, сыро. Одна лестница кончилась. Площадка (полок) — и дальше опять дыра и следующая лестница. На пятой или шестой я сбился со счета. В четырехугольнике отверстия, где-то в бездне, светила лампочка. Тяжелое дыхание людей ниже меня и выше. Остановиться нельзя. Спускались с интервалом в тридцать секунд. Остановишься — тебе раздавят пальцы те, кто спускается следом за тобой. На площадке тоже нельзя остановиться передохнуть: удержишь спуск всей бригады, так как там двоим не разминуться. Вот дошли и до той лампочки, что светила где-то внизу, но вместо света от нее небольшое желтоватое пятно — таким густым и плотным был после взрывов (отпалки) дым.

Мы спускались как бы в стопятидесятиметровой дымовой трубе. Ствол шахты и ходок были естественной вентиляцией «Петро-2». Двадцать одна лестница по семь метров каждая преодолена, и мы ступили на каменную твердь. Здесь горело несколько более мощных ламп, однако все равно этот свет не мог рассеять дымной мглы.

Но вот спустился последний человек.

— Все? — спросил бригадир.

Ждем минуту-другую, никого нет: значит, все.

— Зарядить карбидки.

Толстостенный цилиндр с носиком, как у чайника, и отверстием в верхней крышке, куда насыпают карбид. Стоит смочить карбид водой, как начинает выделяться ацетилен. Поднесешь зажженную спичку к носику — вспыхивает голубовато-красное пламя.

И вот мы, длинной цепочкой растянувшись по штреку, освещая путь карбидками, идем в дымной мгле за бригадиром в забой.

Не знаю, какой из десяти кругов Дантова ада, где бредут грешники, напоминало мне это шествие. И даже подумалось, что это испытание специально устроено

для новичков, спустившихся в шахту. Тогда я еще не знал, что так было до меня, так будет после, — так было всегда, сколько существует эта шахта.

— Газвагон, — проговорил кто-то.

— Душегубка!

Людей душил кашель. Мы шли и шли, и казалось, этому пути не будет конца. Но, как потом выяснилось, забой от ствола шахты находился всего в трехстах метрах.

Нам казалось, что вот кончится этот штрек — и мы выйдем куда-то, где свет и свежий воздух. И мы вышли. Стены шторка вдруг как будто раздвинулись, но дым стал еще удушливее и плотнее.

— Садись! — скомандовал бригадир.

Работать было нельзя. Не было видно вытянутой руки.

Эта дымная мгла напомнила мне ноябрь 1942 года, Калининский участок фронта. Полк ночных бомбардировщиков вылетел на задание, и вот при хорошем прогнозе погоды внезапно надвинулся туман — такой плотной стеной, что ничего нельзя было различить. Тогда напрасно мы жгли костры, стреляли из ракетниц — самолеты, пришедшие с задания, не видя аэродрома, кружили над ним в надежде, что хоть где-нибудь появится окно и можно будет сориентироваться для посадки. Туман не проходил, горючее в машинах кончалось. И тогда летчики начали сажать машины где попало. Полк потерял восемь машин — это почти целая эскадрилья.

Особисты тогда хотели перед строем расстрелять двух девчонок с метеостанции (если ее можно было назвать станцией), где был один полевой телефон да указатель направления ветра. Им давали сводки погоды сверху, из дивизии, а командование полка получало эти сведения от них. Я не знаю, что остановило особистов, но этих девчонок-«ветродуев», как их в шутку называли

на аэродроме, не расстреляли, однако мы больше их не видели.

Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем мы начали различать силуэты людей, плотно сидевших на валунах и на куче, отбитой у целика руды.

Потом стал более четко проступать свет от электрической лампы, освещаая забой, похожий на грот высотой пять-шесть метров. Не верилось, что и норы под землей, и эти высокие забои в руде твердого гранита проделали вот эти люди, похожие на маленьких пещерных жителей в фибровых касках и рваных шахтерских робах.

Бригадир Лешка Лавриков, «контрик из бытовиков», как он нам отрекомендовался, изрек:

— Здесь я тебе и прокурор, и следователь, и судья. Не захочешь сдохнуть — будешь вкалывать, будет пайка. Да не вздумайте не послушать моего помощника: недосчитаетесь ребер, — поучал он нас.

Помощник его, Пашка, неопределенных лет человек, недомерок, был для нас действительно страшен и опасен. Никто не знал, когда и за что он мог напасть и безжалостно избить забурником. Жалоба начальству на произвол была равносильна смертному приговору самому себе. Пашка был из бандеровцев и так же, как и бригадир, имел срок 25 лет.

Бригадир распределил работы среди пополнения: откатчики, путейцы, обезопасчик, валунщик, бурильщик, помощник бурильщика, скреперист, крепильщик.

Многое стерлось в памяти, забылось, но этот первый день в шахте запомнился на всю жизнь.

— Будешь валунщиком, — сказал мне бригадир, подавая тяжелую кувалду на длинной ручке. — Разведу по работам всех и покажу, что и как делать.

В его мирном голосе мне показалась даже какая-то забота. Минут через пятнадцать он подошел снова ко

мне.

— Вот, смотри: такой валун не пройдет через колосники рудоспуска, значит, его нужно разбить. Разбивать нужно тоже с умом. Не бей кувалдой по ребрам, а бей по лбу. Это значит, что валун, если он лежит кверху углом или ребром, нужно повернуть вверх плоскостью и ударить вот так.

Полупудовая кувалда, описав над головой дугу, как мне показалось, не так уж сильно ударила по валуну. Валун как будто бы остался на месте целым, но, пошевелив его ногой, я увидел, что он весь разбит на остроугольные куски.

— Теперь давай пробуй ты.

Я выбрал валун поменьше, прицелился, держа кувалду на уровне груди, и ударил. Брызнули в сторону мелкие осколки, валун остался целым. Ударил еще раз — результат тот же. Я поворачивал валун и бил, бил. Пот и слезы застилали глаза, и скоро я, обессиленный и мокрый от пота, опустился рядом с этим проклятым валуном, теперь уже круглым.

— Сила есть — ума не надо! Сноровки нет. Силы нет, а есть хочется, а пайка зарыта вот здесь, под валуном, и ее нужно добыть к концу смены, — приговаривал бригадир, стоя надо мной. — Бери кувалду! — резким криком скомандовал он. — Дурень, вместе с кувалдой опускай руки и корпус, не задерживай кувалду в воздухе.

В этот удар я, кажется, вложил всего себя, и — чудо! Я еще не увидел, а почувствовал, что валун расколот. Итак, усвоив нехитрую науку, я колот и колот валуны. Колот до тех пор, пока не потемнело в глазах. Последнее, что мелькнуло в сознании перед тем, как я упал среди валунов, — нужно было... с отдыхом! Очнулся весь мокрый. Кто-то принес в каске воды и вылил на меня. Через пелену тумана проступали стены

забоя, свет ламп, копошащиеся люди, занятые каждый своим делом.

— Ну что, освоил науку? Отдохни. Скоро съём.

Я хотел подняться с земли, но страшная боль в пояснице, в суставах, руках посадила меня снова на землю. Длинный звонок — конец работы. Плохо помню, как дошел до ствола. Видно было по всему, что мне походу не подняться. Не преодолеть двадцать одну лестницу, стоящую почти вертикально. Бригадир послал помощника, чтобы тот спросил разрешение конвоя выехать по клету с больным. Так я единственный раз, первый и последний, поднялся из шахты в клету.

Всякий раз, кончая смену, каждый из нас со страхом думал, хватит или нет сил подняться на поверхность, преодолеть сто сорок метров по мокрым, скользким лестницам. Двадцать одна лестница по семь метров каждая.

Наконец все на поверхности. Те, кто вышел раньше, ложатся на землю — это отдых перед переходом в лагерь.

— По пятеркам разберись!.. Марш!

Я в середине пятерки, взят под руки, шагаю как в полусне. Ворота, лай собак, шмон...

От вахты иду в санчасть.

— Раздевайся.

Хочу снять робу, но рук согнуть не могу. Не могу расстегнуть пуговицы на куртке.

— Не темни. Раздевайся.

Врач-грузин свирепеет. Срывает с меня куртку, бушлат, мнет суставы, с силой сгибает и разгибает руку; кричу от боли, и опять темно в глазах. Подносит к носу ватку с нашатырным спиртом. Растирает виски. Я смотрю на свои руки, и мне кажется, что это сон. Суставы в локтях распухли до такой степени, что



кажутся неправдоподобными. Это было во второй раз после Асино.

— Иди!

Накидывает мне на плечи бушлат, куртку. Врач. Так закончился мой первый день работы в шахте «Петро-2». Это был день, когда я дрогнул и испугался. Испугался того, что заболею и не смогу работать. Болезнь в лагере — это прощание с жизнью. «Доходяга», «фитиль», «деревянный бушлат» в конце концов неизбежен. Это не для меня. Тогда выход один: несколько шагов в сторону из строя, и конец. Шаг влево, шаг вправо — это не простая угроза конвоя.

Это был февраль 1949 года.

Впереди еще долгих шесть лет в каторжном лагере, именуемом п/я 392/1.

### ***Каторга***

Осенью 1950 года произошло событие на первый взгляд малозначительное, но повлекшее за собой другие, которые мы не могли даже предположить.

Как-то, когда мы пришли с работы, после ужина, бригадир принес лоскуты белой бязи с написанными на них номерами и список бригады. Против фамилии каждого из нас стоял номер. Мы выходили из строя и получали под расписку четыре таких лоскута, становились в строй, недоуменно рассматривая эти номера.

— Все получили? — спросил бригадир.

— Все.

— А теперь смотрите, где и как их пришить.

И он показал нам телогрейку и ватные брюки, где были нашиты номера. Для этого нужно было на спине, на груди слева, на рукаве телогрейки и на штанине выше колена вырезать по размеру отверстие и вшить

номер. Эту работу мы выполняли до отбоя, занимая друг у друга иголки, нитки. Бригадир торопил. На развод все должны были выйти уже занумерованными.

Итак, с этого дня я стал человеком СЛ-208. Стали гадать, что обозначали буквы «СЛ» — «спецлагерь»? Так у других были все буквы алфавита от «А» до «Я». Номер мог быть номером уголовного «дела». А, черт с ним, не все ли равно?

Утром вышли на развод. Кроме конвоя и надзирателей на разводе были начальник лагеря, начальник режима, начальник КВЧ, опер и еще кто-то. Придирчиво осматривали каждого. Пробовали, прочно ли вшит номер. Двоим из нашей бригады повезло — вернули в зону. Начальник режима без труда оторвал слабо пришитые номера. Довольно ухмылялись конвоиры, надзиратели. В присутствии начальства казалось, что даже собаки, окружавшие колонну, были злее обычного.

Ко всем заботам нашим прибавилась забота содержать в порядке номера, то есть чтобы они всегда были хорошо видны и различимы. Один раз в две недели бригадир приносил баночку с черной краской, и художник из КВЧ подновлял номера.

Мы уже без труда определяли придурков и вообще лагерную аристократию — по тому признаку, что номера на их одежде были чистыми, четко выделялись на бушлатах, а у работяг через месяц с трудом можно было различить вшитую тряпку с номером. Через какое-то время уже перестали сажать в БУР за нарушение формы одежды тех, кто работал в шахте, — сохранить номера чистыми после одной смены не было возможности.

После нашивания номеров мы ждали дальнейшего ужесточения режима, и это ожидание не замедлило подтвердиться. Внезапные ночные шмоны-обыски стали обычным явлением и участились. Если ты по

забывчивости не откликнулся на вызов надзирателя, назвавшего твой номер, тогда надзиратель имел право в наручниках увести тебя на вахту и там выяснить, почему ты не отозвался на вызов. После такой профилактики номер запоминался на всю жизнь.

Теперь надзиратели ходили по зоне, поигрывая блестящими браслетами с цепочкой. Кто говорил, что эти наручники с трещоткой подарили американцы, а кто был в плену у немцев, уверял, что это немецкое изделие.

В бараках курить запрещали, но после того как барак закрывали на замок, в полумраке можно было там и сям видеть тлеющие огоньки сигарок. Барак наполнялся табачным дымом.

И в этот вечер так же надзиратель, погремев задвижкой и замком, закрыл дверь. Так же задымили сигарки. Как надзиратель оказался в бараке — никто не заметил. Зажегся свет.

— Кто курит?! — рявкнул надзиратель.

В таких случаях нужно не только не поднимать головы, но даже не шевелиться, замереть... спать.

Я, по всей видимости, только что задремал и при окрике надзирателя машинально поднял голову — спал я на верхней вагонке. И в тот же миг с меня сорвано одеяло, а сам я сдернут на пол.

— Пошли...

— Я не курил, у меня нет махорки, — стал я объяснять казаху-надзирателю.

— Сейчас узнаем, курил или нет.

В тамбуре барака между входной дверью с улицы и дверью, ведущей в барак, слева каморка для надзирателей. Две табуретки, стол, маленькое зарешеченное окошко.

— Руки на стол!

Я стоял в нижнем белье, руки за спиной, как и положено, когда тебя ведет надзиратель...

— Ты глухой?!

— Я не курил...

И в следующую секунду я получил оглушительный удар кулаком в левый висок. Очнулся сидящим на табуретке в наручниках. Ко мне пододвинули второй табурет, положили на него руки и нажали коленом на браслеты — сперва на один, потом на другой. Скоро я перестал чувствовать боль, из-под браслетов сочились капельки крови, и они почти уже скрылись в сине-багровой опухоли вокруг них.

Сколько продолжалась эта экзекуция, не помню, только вскрикнул от невыносимой боли, когда наручники снимали, — как будто бы вместе с ними отдирали от рук кожу.

Втолкнули в барак и закрыли дверь.

— Что, больно? — спросил меня дневальный, добрый чех Киричек Василий Васильевич. Длинный, сухощавый, как жердь, он чудом выжил, проработав в шахте всего три месяца. Попал в лазарет и после к нам в барак дневальным.

— На, смочи тряпку мочой и прикладывай — пройдет.

Только к утру забылся немного от потрясения и боли, как раздалась команда:

— Подъем!

Руки в запястьях не сгибались. С помощью моего дружка Володи Хоменко натянул робу и вышел на развод. Бригадир Лешка Лавриков, этот безжалостный садист и бандит, для которого ежедневный план шахты был важнее, чем смерть любого из нас, и то, посмотрев на руки, сказал:

— Выходи на работу и там в забое просидишь смену, а останешься в бараке, значит, будешь в БУРе отдыхать.

Так единственный раз за весь срок я, выйдя на работу, не работал. Ребята, скинув бушлаты, отдали их мне. Я их постелил под себя и, укрывшись, уснул.

Постоянная температура в забое и зимой и летом — плюс четыре градуса при большой влажности не самое подходящее место для сна, но я уснул, согревшись под бушлатами, под грохот загружаемых вагонеток.

Закончилась смена. Предстояло еще одно страшное испытание — подняться на поверхность. Нужно было преодолеть проклятые лестницы. Лестницы в ходке поставлены почти вертикально, каждая из них крепилась к полку размером метр на метр с отверстием, чтобы можно было подняться к следующей лестнице, то есть каждый полук был основанием следующей лестницы. Сигнал о конце работы подавался из машинного отделения долгим звонком. Я знал, что мне, с опухшими руками и негнущимися пальцами, не преодолеть и двух лестниц.

Бригадир спросил меня, смогу ли я выйти на поверхность.

— Мне нужен минимум час, чтобы преодолеть все лестницы, — ответил я ему.

Время для съема мы научились определять без часов с точностью до пяти — восьми минут. И вот примерно за час до конца смены я начал подъем. Ребята напутствовали:

— Обнимай лестницу согнутыми у локтя руками, в лазу опирайся тоже локтями и на каждом полке отдыхай сидя.

Плохо помнил, как с помощью ребят, обливаясь потом, преодолел последние марши лестниц. Как во сне дошел до лагеря. Потом они мне рассказывали, что, поднимаясь, нашли меня на двадцатой лестнице, лежащим на полке, на какое-то время потерявшим сознание.

Так шел за годом год, без особых событий, если не считать прихода очередного этапа или этапа из лагеря, этапы доходяг в Спасск под Караганду. Этот лагерь у

нас звали «всесоюзной инвалидкой». Из него этапов и переездов для тех, кто попал туда, уже не было...

1949–1951 годы. За это время дважды, почти полностью, сменились люди. Память сохранила всего несколько имен: Иван Цилярчук, Владимир Хоменко, Вл. Григолавичюс, бригадир Лешка Лавриков и два-три человека, фамилии которых время стерло из памяти; они, как и я, выжили каким-то чудом. Остальные — по конвейеру: лазарет, этап, Спасск — и там находили свое последнее пристанище. Силикоз — вещь серьезная: «от лат. *silex*... кремь — профессиональная болезнь, вызываемая длительным вдыханием пыли, содержащей свободную двуокись кремния... что вызывает глубокие расстройства жизненных функций организма...» (БСЭ, 1956, т. 39, с. 30).

В один из дней, когда мы пришли на смену, бригадир велел мне остаться на поверхности.

— Пойдешь на верхнюю откатку. Работа нехитрая, но требует силы, и силы должно хватать от начала до конца смены.

Работа такая: из поднятой клетки нужно было выкатить на плиту вагонетку с рудой, в клетку затолкнуть пустую и отправить в шахту. За то время, пока пустая вагонетка шла вниз, мы разворачивали вагонетку с рудой, закатывали ее на рельсы и катили в отвал. В то время когда я подгонял пустую вагонетку к стволу, подходила к клетке груженная; выкатывали груженую, закатывали пустую — и так всю смену. Если приходила вагонетка с породой, тогда нужно было развернуть ее на рельсы породного ствола, зацепить трос лебедки за крюк вагонетки и включить лебедку — и вагонетка ползла на вершину отвала. Там кузов вагонетки опрокидывался, а пустая вагонетка спускалась на площадку.

Иногда вагонетка, ударившись об ограничитель, срывалась с крюка, и тогда хорошо, если она успевала

опрокинуться: пустая, с грохотом и лязгом она неслась вниз и улетала куда-то в отвал, а вот если она, сорвавшись, летела с грузом, тогда и часовой покидал свою будку, снимал автомат, что-то кричал нам, а мы сами прятались за надстройки ствола. В самом низу отвала вагонетка обязательно опрокидывалась, и куски породы со свистом разлетались в разные стороны. Подъем стопорился. Звонки из шахты, звонки из машинного отделения. Опускаем пустую клеть.

И снова: подъем — спуск, подъем — спуск... И вот он, долгожданный съём. Наваливается смертельная усталость, плывут перед глазами круги, не чувствуешь ни рук ни ног...

Завтра, и послезавтра, и через месяц — все то же. Летом нещадно палит солнце, зимой в буранный с морозом день на эстакаде не укроешься, не спрячешься. И бывало, стоит по какой-либо причине остановиться подъему, тогда вообще беда. Мой предшественник на верхней откатке обморозился, попал в лазарет и ушел на этап уже доходягой. На верхнюю откатку брали только тех, кто отсидел половину срока.

Так прошли 1951-1952 годы. В 1953-м произошло сразу два события. Первое — то, что меня перевели работать в механические мастерские при шахте, и второе, радостное, не менее радостное, чем конец войне, — пришел конец тирану — Иосифу Кровавому (так между собой окрестили мы «отца всех народов»).

Трудно описать, что творилось в лагере. Не было человека, даже среди двадцатипятилетников, в ком бы не воскресла надежда на скорые перемены в нашей жизни.

Это было в марте 1953 года.

## **Глава 6**

# **Восстание в Кенгире. Забастовка в Джезказгане**

Но прежде чем произошли какие-то изменения, в конце мая — начале июня 1954 года нам суждено было пережить немало горьких, а порой и трагических дней и месяцев.

Теперь в лагерь стали привозить кинофильмы. На час-полтора мы забывались, созерцая такие далекие от нас свободу и жизнь.

В один из воскресных вечеров, как только погас экран, на балкончике столовой из кинобудки появился человек и громко объявил, что завтра на работу не выходим и что те, кто сделает шаг к вахте, будут уничтожены. Кенгир не работает уже месяц, и мы должны поддержать наших товарищей.

Общий смысл был понят всеми, хотя язык выступающего был какой-то тарабарщиной из смеси украинского, белорусского и молдавского. Было ясно, что забастовку затеяли «западники», «бандеровцы» — так мы их называли, русские. Они называли нас «москалями», «красными». Можно написать целое исследование по поводу этого на первый взгляд странного явления: у нас, повязанных одной страшной бедой, загнанных в нечеловеческие условия, каждый прожитый день не только был наполнен изнурительным трудом, борьбой за кусок хлеба, но был также днем непримиримой озлобленности, вражды между «москалями» и «западниками». И теперь, после этого призыва к забастовке, наступило какое-то оцепенение, и первая мысль: «Чем все это кончится?»



Им, с двадцатипятилетними сроками, терять было нечего, а мы, многие «москальи», отбыли кто половину из десяти, кто заканчивал срок. И теперь мы должны стать если не соучастниками забастовки, то заложниками. После так оно и получилось.

Утро. Лагерь точно вымер, ни души. Ни надзирателей, ни начальства. Кто-то из надзирателей был вчера в кино и сообщил начальству о забастовке.

В столовую потянулись по расписанию. Те, кто выходят на развод первыми, первыми завтракают. Помню, в то утро за многие годы я впервые без аппетита, как-то вяло выпил свою порцию баланды, съел хлеб. Все притихли. Ни суеты, обычной при раздаче, ни мата. Наш барак был самым ближним к вахте и угловой вышке. Бросив взгляд на вышку, я увидел, что кроме обычного часового с автоматом был еще и второй — с «дегтярем»<sup>[29]</sup>, поставленным на бортик вышки. Выставлены часовые и на промежуточных вышках — там, где обычно часовые выставлялись на ночь. Значит, меры уже приняты...

На другой день особых событий не произошло, если не считать того, что перекрыли воду, поступающую в бассейн для нужд лагеря. К счастью, бассейн был заполнен накануне доверху, и при экономном расходовании воды могло хватить на четыре-пять дней. И сразу же поступил приказ давать воду только в столовую. В этот же день на вахте приоткрылись ворота, и на линейку втолкнули тележку с ящиками соленой рыбы: Балхаш кормил все лагеря Степлага сазаном. Нам из этой рыбы в основном варили нечто похожее на уху, в которой разварены были даже кости.

К этим ящикам с соленой рыбой никто не притронулся. Так они и стояли на линейке до конца забастовки. На третий день, где-то после обеда, из мощных динамиков, установленных на вышках, начали

передавать концерт. Вот этому мы удивились больше всего. После долгих лет молчания и каких-либо известий извне — и вдруг радио.

Широка страна моя родная,  
Много в ней лесов, полей и рек,  
Я другой такой страны не знаю,  
Где так вольно дышит человек...

Потом «Валенки» — исполнила Русланова, а потом тишина, и громкий твердый голос:

— Заключенные!..

Смысл выступления свелся к следующему: шахты — это наше общее достояние, это богатство Родины, и это богатство сейчас гибнет. Шахты заливают водой, выходит из строя оборудование. Выходите завтра на работу. Со следующей недели приехавшая из Москвы комиссия начнет пересмотр дел, реабилитацию, сокращение сроков. Забастовкой вы только усугубите свое положение.

И потом уж совсем необычные, забытые в официальных обращениях к нам слова:

— Товарищи, друзья... Еще немного терпения, и вы, многие, уже вольными гражданами страны будете трудиться на благо Родины, на этом же комбинате...

Как потом узнали, выступал директор комбината Ломако.

Ответные реплики на выступление:

— Волк в брянском лесу тебе товарищ. Сперва освободи, а потом поработаем, — и т. п.

Следующим событием в лагере было появление двух человек, которых надзиратели втолкнули в лагерь через ворота.

Это были люди из Кенгира. Их забросили к нам для того, чтобы они рассказали, чем закончилась забастовка

у них. Вывод был таким: если бы они не устроили беспорядков внутри лагеря, убийства «москалей», не разрушили стены между зонами, и в частности в женскую зону, то, может быть, лагерь не был бы подавлен оружием и танками. Наш руководитель забастовки предупредил рассказчиков, что, если они соврут хоть что-нибудь, он их повесит.

Через много лет, прочитав «Архипелаг ГУЛАГ», главы о Кенгирском восстании, заключаю, что рассказчики были близки к истине. После того как мы узнали о Кенгире, каждый прожитый день и особенно наступающая ночь были ожиданием расправы с нами, «красными». И вот, пройдя сквозь муки тюремного ада, допросов, голода, когда впереди уже забрезжил рассвет свободы, умереть под ножом или быть задушенным во время сна только потому, что ты русский, малосрочник? Это ожидание было выше всяких сил. Ведь если бы они захотели это сделать, то не помогли бы наши ночные дежурства в бараках и забаррикадированная дверь — они бы сожгли наш барак вместе с нами. А лагерь, притихший, настороженный, представлял пороховую бочку. Достаточно было случайной искры, и эта слепая, безрассудная стихия убийств, насилия захлестнула бы тысячи и так обреченных людей. Ожидание становилось невыносимым.

На другой день после прихода «послов» из Кенгира к нашему барaku подошли три человека. Один из них, маленького роста, невзрачный на вид человек, и был руководитель забастовки. Два его телохранителя, дюжие молодцы в кубанках и расшитых украинским орнаментом рубашках, спросили, кто из нас, русских, знает украинскую мову. Мои бригадники указали на меня. Я любил и люблю до сих пор украинский язык. В университете произошло близкое знакомство с белорусским и украинским языками — в течение одного

семестра, в основном по учебникам. А потом я слушал украинские песни.

Когда с Иваном Цилярчуком работали на шахте, мы разговаривали только на украинском языке. Его сперва забавлял мой выговор, а месяца через три мы с ним балакали на равных.

Я до сих пор не знаю, почему ему, этому малограмотному, жесткому человеку понадобился «москаль», балакающий на украинской мове. Ближайшим моим товарищем был украинец Володька Хоменко; позвали и его.

Начал предводитель с того, что сказал:

— Не мешало бы кое-кого повесить, да некогда, — и добавил, что сейчас нужно написать на бумаге то, что он будет говорить.

Его «адъютанты» положили мне на колени фанерную доску, с которой нарядчики выпроваживают бригады на работы, и развернутый тетрадный, в клеточку, листок бумаги.

Я очень жалею сейчас, что не имею копии этого примечательного в своем роде документа, переведенного с украинского на русский. Но смысл хорошо помню. В воззвании к лагерному населению было сказано, что сейчас нужно забыть все распри и вражду, соблюдать в лагере порядок и дисциплину и что, если мы повторим Кенгир, погибнем все. Володька Хоменко прочитал предводителю с украинского текст, и видно было, что тот остался доволен. Хоменко этот текст на таком же листе написал по-украински. Текст был размножен и вывешен в лагере. Такой поворот дела обрадовал нас, и появилась надежда на какой-то исход. А исход не замедлил.

На рассвете за зоной со всех сторон слышался гул работающих машин, и с какой же радостью я уловил запах солярки! Это танки. Мы, фронтовики, знаем и гул, и запах. Ошибки не было. Пусть теперь будет даже

ужасный конец, чем ужас без конца. Слышался лай собак, на вышках — пулеметы, направленные на бараки... С грохотом раскрываются железные ворота. В проеме ворот показалась группа в сопровождении танка, вышла на линейку у вахты, танк остановился в воротах. В мегафон команда:

— Бригадиры, ко мне, остальным оставаться на местах!

Озираясь, вышли бригадиры.

— Срок даю десять минут. Чтобы за это время бригады были выведены на линейку!

Повернулись и так же спокойно, как вошли в лагерь, вышли из него, оставив в проеме ворот Т-34.

Первой на разводе строилась наша бригада — шахтостроителей. Не успел бригадир договорить до конца, как мы, обгоняя друг друга, ринулись на линейку. Танк попятился назад, давая нам дорогу на выход. За зоной мы сразу попали в кольцо автоматчиков и собак. Откуда их столько?

Натянутые поводки, оскаленные морды, команды, грохот работающих танковых двигателей — так был на сей раз оформлен наш выход на работу. В это утро на каторжную работу в шахту мы шли избавленными от страха, неизвестности, ожидания.

## Глава 7

### Освобождение

К концу третьего дня шахта «Петро-2» выдавала план, все вошло в русло обычной лагерной жизни. Только теперь никто не требовал подновления, стали терпимее надзиратели, пошла почта из лагеря и в лагерь.

И что было самым главным и удивительным — нас не обманули на сей раз. В лагерь приехала комиссия по пересмотру дел. В кабинете начальника лагеря вел прием жалоб один из помощников Генерального прокурора Руденко, Вавилов. 28 июля от меня была принята жалоба с описанием «дела», приемами следствия Томского МГБ. Доброжелательное, открытое лицо, спокойный взгляд этого человека вселяли какую-то надежду, доверие. До сих пор помню его слова:

— Мы проверим ваше дело в Верховном Суде РСФСР, и, если подтвердится все, что вы написали в жалобе, месяца через три-четыре вы будете реабилитированы, а сейчас комиссией вы будете освобождены из-под стражи по сокращению срока до семи лет и будете работать на руднике и отмечаться в комендатуре. За побег — срок двадцать пять лет.

В ноябре месяце 1955 года в комендатуре комендант-казах зачитал документ о реабилитации. Еще через неделю в Кенгире, в поселковом Совете, получил все документы: в геолого-разведочной партии, где я работал этот год, выдали трудовую книжку с записью о том, что я работал в ШСУ<sup>[30]</sup> и в ГРП<sup>[31]</sup> все эти восемь лет и десять месяцев. А еще через месяц я был уже дома, в Новосибирске.

Нужно было начинать новую жизнь. Мне было тридцать шесть лет. Из них армией, фронтом и

заклЮчением вычеркнуто из жизни почти пятнадцать лет. Таким был мой университет, растянувшийся во времени и пространстве на долгие годы.

## Список сокращений

АК — административно-командный  
АТП — административно-технический персонал  
БУР — барак усиленного режима  
ГРП — геолого-разведочная партия  
ГУГБ — Главное Управление государственной безопасности  
ГУЛаг — Главное Управление Лагерьей  
ГУЛЖДС — Главное Управление лагерей железнодорожного строительства  
ДПЗ — дом предварительного заключения  
ЖЭС — железнодорожная передвижная электростанция  
ИТЛ — исправительно-трудовой лагерь  
КВЖД — Китайско-восточная железная дорога  
КВО — Культурно-воспитательный отдел  
КВЧ — Культурно-воспитательная часть  
КПЗ — камера предварительного заключения  
КРА — контрреволюционная агитация  
КРД — контрреволюционная деятельность  
КРТД — контрреволюционно-троцкистская деятельность  
ЛИТ — Управление по делам литературы и издательств  
МВД — Министерство внутренних дел  
МГБ — Министерство государственной безопасности  
МПС — Министерство путей сообщения  
МХЧ — Материально-хозяйственная часть  
КВО — Культурно-воспитательный отдел  
НКГБ — Народный комиссариат государственной безопасности  
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел  
НКПС — Народный комиссариат путей сообщения



НКЧМ — Народный комиссариат черной металлургии  
НЭП — новая экономическая политика  
ОЛП — отдельный лагерный пункт  
ОМЗ — Отдел мест заключения  
Оперчекотдел — Оперативно-чекистский отдел  
ОПП — оздоровительно-питательный пункт  
ПШ — подозрение в шпионаже  
ПРО — производственный отдел  
ПТЧ — Производственно-техническая часть  
РУР — рота усиленного режима  
СибВО — Сибирский военный округ  
СКЗ — спортивный клуб «Замоскворечье»  
СМЕРШ — «СМЕРТЬ Шпионам»  
СОЭ — социально опасный элемент  
УПК — Уголовно-процессуальный кодекс  
УК — Уголовный кодекс  
УРЧ — Учетно-распределительная часть  
ЦНОЛ — Центральная научно-опытная лаборатория  
ШИЗО — штрафной изолятор  
ШСУ — шахтостроительное управление  
ЭКО — Экономический отдел (НКВД)

---

<b>notes</b>
--------------

## Примечания

С. М. Кропотов дважды упоминается в кн. «М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников» (М., 1989, с. 264, 266). Однако сведений, подтверждающих родственные и дружеские отношения М. Ю. Лермонтова и С. М. Кропотова, указанный источник не содержит. — *Прим. ред.*

Обувь (блатн.). — Прим. ред.

Еда (блатн.). — Прим. ред.

В уважении (блатн.). — Прим. ред.

«Контрреволюционеры», т. е. ст. 58 УК. — *Прим. ред.*

Лица, бывшие под следствием и уже получившие срок. — *Прим. ред.*



Лица, находящиеся под следствием. — *Прим. ред.*

Оперуполномоченный НКВД. — *Прим. ред.*

Барак усиленного режима, внутрилагерная  
тюрьма. — *Прим. ред.*

Лица, осужденные по очередному указу. — *Прим. ред.*

Ныне Государственное ордена Трудового Красного Знамени училище циркового и эстрадного искусства. —  
*Прим. ред.*

Упражнения в акробатике. — *Прим. ред.*

Элемент прыжковой акробатики. — *Прим. ред.*

Заклученные узбекской национальности в основном сидели за растление малолетних. У них были традиции, существовавшие уже века, согласно которым мужчины женились на девочках десяти — тринадцати лет, а в 1934 г. вышел закон, по которому это каралось десятью годами заключения, а сокрытие сведений об этом — тремя годами. (Закон касался и гомосексуалистов. Когда закон вышел, я работал в Московском мюзик-холле, и, когда пришел однажды на репетицию, оказалось, что всех мужчин из балета забрали.) — *Прим. авт.*



Акробатический трюк: стойка на голове. — *Прим. ред.*

Полоса холста или другой ткани, которая подвешивается на штанге к верху сцены. — *Прим. ред.*

*Икарийские трюки* — разновидность акробатического жанра; в основе — подбрасывание партнеров ступнями ног. — *Прим. ред.*

Гимнаст или акробат, ловящий вольтижера или выполняющий с ним различные гимнастические упражнения. — *Прим. ред.*

Гимнаст, осуществляющий трюковые перелеты с трапеции на трапецию. — *Прим. ред.*

Уполномоченный Управления по делам литературы и издательств. — *Прим. ред.*

Так точно (*нем.*).

Сопровождающий (нем.). — Прим. ред.



Восточные рабочие (*нем.*). (Мирное население, угнанное немцами из СССР и других стран Восточной Европы; использовались для работы на полях и заводах.) — *Прим. ред.*

Бывший вор, который отступил от воровского закона и стал работать. *(блатн.). — Прим. ред.*

Искусственное вызывание симптомов болезни  
(блатн.). — Прим. ред.

Рубашка (блатн.). — Прим. ред.

Получить что-либо незаконно (*блат.*). — *Прим. ред.*

Съём — сигнал или приказ к окончанию работы. —  
*Прим. ред.*

Ручной пулемет конструктора А. В. Дегтярева. —  
*Прим. ред.*

Шахтостроительное управление.



Геолого-разведочная партия.